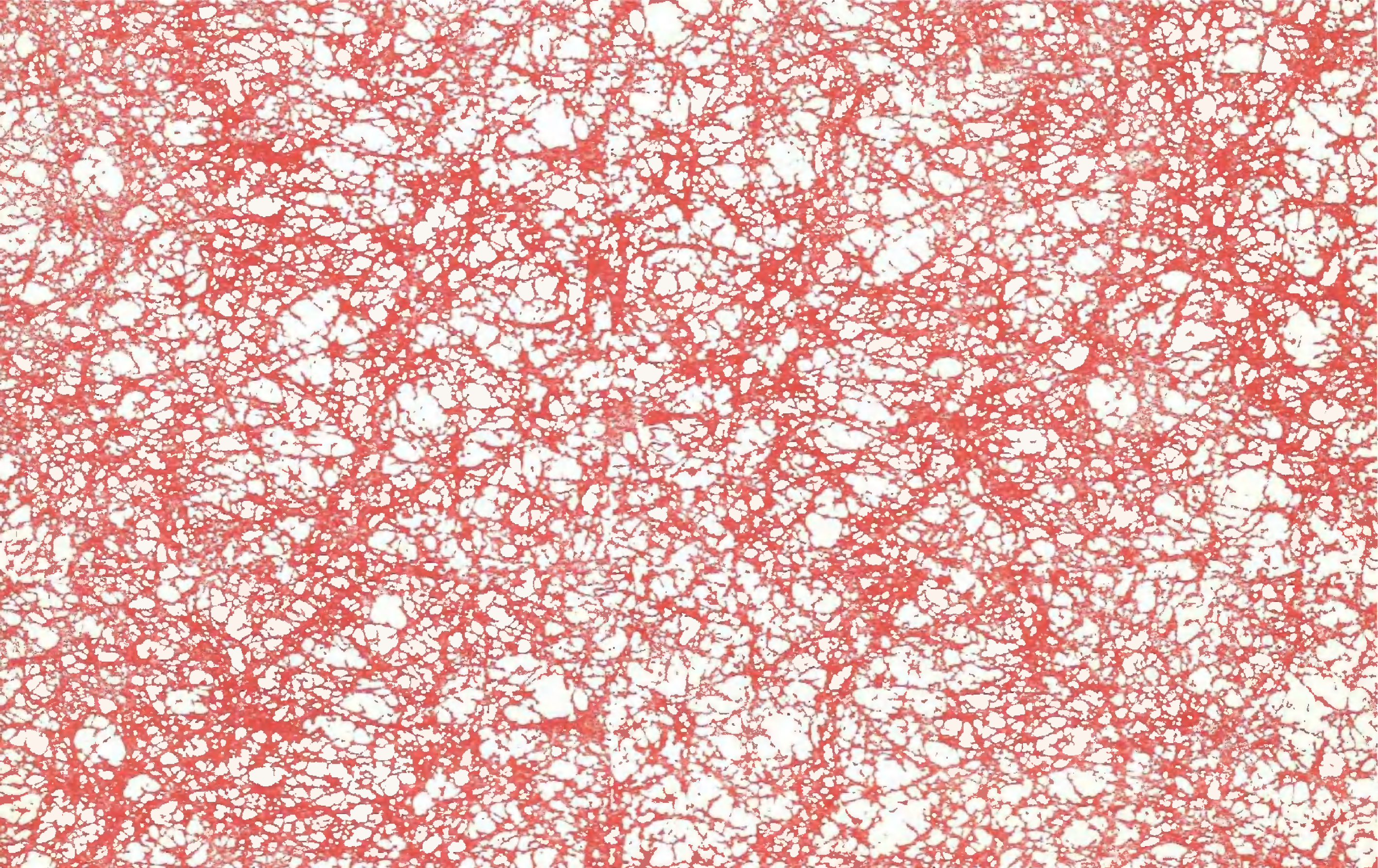
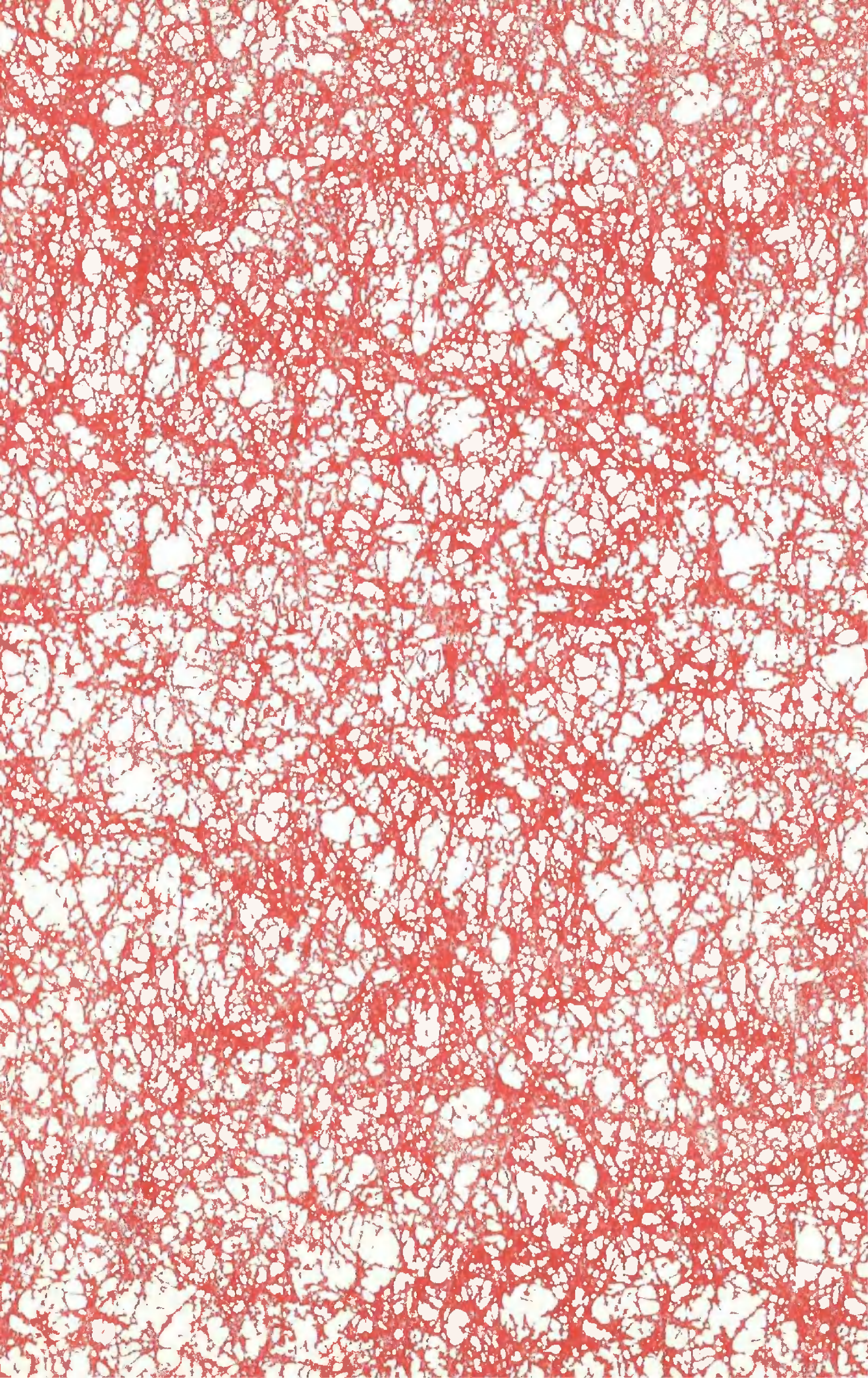
Г. Медынский

СТУПЕНИ ЖИЗНИ





Scan Kreyder - 11.07.2017
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ГРИГОРИЙ
МЕДЫНСКИЙ

СТУПЕНИ ЖИЗНИ

Лирико-публицистическое повествование

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1984

ББК84Р7

М 42 **Медынский Г. А.**

Ступени жизни.— М.: Известия, 1984.— 384 с., ил.

Имя Григория Медынского широко известно читателю, книги его давно знакомы, любимы и взрослыми и юными. Новая книга, своеобразная «автобиография духа», рассказывает о детстве автора, первых сомнениях в религии, спорах с отцом-священником, дальнейшем отходе от религии. О том, как воспринял писатель революцию, стал убежденным проводником идей и политики Советской власти, яростным поборником атеистического мировоззрения. Из этой книги читатель узнает, как родилась и крепла от произведения к произведению тема «трудной жизни» детей и подростков, почувствует горячую благодарность к автору за верность этой сложной теме, за честность и искренность подлинной исповеди о ступенях своей жизни.

Художник Е. ЧИРКОВ.

М $\frac{4702010200-054}{074(02)-84}$ 68-84 подписное

ББК 84 Р7
Р2

Г. Медынский

Года текут,
Года меняют лица,
Иной на них
Ложится свет.

Сергей Есенин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДРУЗА

Позвонил мне как-то один приятель и говорит:

— А ты читал статью Федора Абрамова в «Вопросах литературы»?

— Нет. А что?

— Ну как же?! Там о тебе одно словечко сказано.

— Только одно?

— Представь себе — только одно. Но зато какое!

— А в чем дело? — заинтересовался я.

— Слушай... Подожди, сейчас найду.

В трубку было слышно, как он шелестел листами бумаги и потом стал читать:

— «Я знал деревню военных лет и литературу о ней, в которой было немало розовой водицы. Пожалуй, только «Марью» Медынского можно поставить особняком...» Нет, ты чувствуешь? Не косяком, а особняком. А знаешь — это ведь не так плохо.

После этого я отыскал статью Абрамова и проверил: все было так, как прочитал мне приятель. И я подумал: уж если «Марья» удостоилась этого слова, то что же сказать о «Чести», о «Трудной книге», о «Путях и поисках»? Так что же, я вообще оказываюсь «особняком»? Что это — хорошо или плохо? И как это получилось? Почему?

Одним словом, я задумался о себе. Да и пора на подходе к восьмому десятку — самые мемуарные годы, законные. Но законных мемуаров у меня не получится: жизнь моя была несложная, может быть даже неинтересная, без особых происшествий, злоключений и подвигов. Внешняя жизнь... А внутренняя... Вот к внутренней жизни своей я и решил приглядеться — через нее прошла такая величественная и такая сложнейшая эпоха. Как

она прошла и как преломилась? Разве это не интересно? Даже самому себе теперь, на последних гранях жизни? А может быть, и не только себе. А потому это будут, видимо, не простые воспоминания и не простая автобиография, это будет нечто вроде автобиографии духа.

Я не хочу начинать с лирических воспоминаний о золотом детстве — это так заманчиво и так ненужно. Я иду от жизни, от тех проблем, которые заставляют порой идти «особняком», а иной раз точат душу и теперь. Я не фанфарон, я не бравирую ни этой тревогой, ни проблемами, я болею ими в глубине души, все время проверяю себя: так ли это? Правильно ли? И откуда, как это пошло? Где корни этих тревог и диссонансов? И в чем их суть? В каких гранях «той» эпохи и «той» среды, из которой я вышел и в которой родился в последний год очень уважаемого мною XIX века?

Нет, я не стыжусь своей среды, среды сельского духовенства, скорее стыжусь того, что то время, когда я входил в литературу (1929—1930 годы), заставило меня принять литературный псевдоним, и я уступил ему.

Но это не из страха и приспособленчества. Это было скорее проявление того социального отталкивания, которое проходило в те годы красной разделительной чертой через многие семьи, в разных формах и по разным поводам. Ленин прав, высказав где-то очень мудрую мысль: к социализму каждый идет своим путем. Для меня таким путем и была борьба с религией, как форма социального отталкивания от старого мира и мостик в раскрывающийся на моих глазах новый мир, такой непонятный сначала, но в то же время такой заманчивый и интересный. Сын священника — и, вероятно, именно поэтому — я стал ярым, бескомпромиссным атеистом, безбожником, даже богоборцем и остаюсь им до сих пор, и, вступая в литературу, я не захотел поэтому носить свою богомольщенскую фамилию — да! — и из Покровского стал Медынским, по душистому, ароматнейшему названию города Медыни, с которым связана была моя любовь и моя юность.

Но, отказавшись от фамилии, о чем ныне, кстати сказать, несколько сожалею, я, как мне теперь представляется, вынес из детства и из родительской, может быть не совсем обычной для своего круга, семьи что-то основополагающее, от чего не отказываюсь и теперь, на склоне лет.

Прежде всего интересным и своеобразным был, конечно, мой отец, Александр Феофилактович, никак не укладывающийся в тот средний и серый стандарт, к которому приучила нас средняя литература и который, пожалуй, действительно господствовал в жизни. Высокий, красивый, с прямым «греческим» носом и большим открытым лбом, он никак не походил на попика. Это был даже не поп, это был «батюшка», отец Александр, а для более близких «батя», а то и просто «Филатыч».

Но о нем дальше, а начать мне хочется с матери, Александры Яковлевны. Я ее меньше знал, она умерла, когда мне, ее первенцу, было одиннадцать лет, и, может, поэтому у меня осталось о ней более общее, зато очень цельное впечатление как об источнике тихого света, ласки, любви и заботливого внимания. На фотографии тех лет, когда родители только поженились, рядом с мужской красотою отца особенно выделялась женственная миловидность мамы: легкая полуулыбка, сохранившаяся и на ее последней фотографии, висевшей в нашем доме до самого конца его существования, приветливый, добрый взгляд и душевная теплота лица. От отца, не злого, но вспыльчивого, я два раза в своем детстве получил крепкие подзатыльники: один раз за какую-то шалость с огнем, другой — за непонятливость в учении, и тогда я от этого подзатыльника так ударился носом в книгу, что у меня пошла кровь. От матери память не сохранила мне ничего подобного — ни грубого слова и ни одного наказания.

И вот при всей мягкости ее образа, сложившегося в моем сознании, это была женщина, видимо, сильная и мужественная. Мне было, по моим расчетам, шесть-семь лет, когда она, хозяйка дома, мать уже четверых детей, оставила их на руках у отца и покинула нас на несколько месяцев.

Я помню это время, помню момент, когда отец зимним вечером сидел с нами, четырьмя ребятишками, возле топившейся печки, а потом полез закрывать трубу, и я помню, что мамы в это время не было и я знал, что она где-то далеко, но когда-нибудь приедет, обязательно приедет,— память ведь по каким-то своим законам сохраняет иногда на десятилетия самые сущие пустяки, которые на самом деле вовсе не пустяки.

Не было это пустяком и для нас. Мама действительно уезжала в Калугу на акушерские курсы. Две сестры ее и

брат, дядя Юра, о котором я дальше расскажу подробнее, были сельскими учителями, демократами, а она оказалась простой попадьей. Но душа у нее оставалась такой же демократической, видимо народнической, во всяком случае живой и благородной.

Память сохранила мне, например, такое впечатление, когда я, вбежав зачем-то в комнату мамы, остановился как вкопанный: она вместе с соседкой-учительницей читает книгу и обе плачут. Тогда я, конечно, ничего не понял — как можно плакать над книгой? — но вопрос запал в душу, и потом, по отдельным штрихам, словам, последующим разговорам, а может быть, по какой-то интуиции, я понял, что это были «Русские женщины» Некрасова.

И еще одно воспоминание: отец потерял голос. Для священника, молодого, голосистого, это жизненная катастрофа. Помню тревоги, грелки, горячее молоко и прочее домашнее лечение. И наконец он поехал в Москву, лечиться, а вернувшись, рассказывал маме о разрушениях на Пресне.

Так вот, видимо, под влиянием всего этого, в том числе и только что прогремевшей грозы 1905 года, мама не захотела быть обыкновенной сельской попадьей, обрастающей детьми и хозяйством, и нашла свою форму служения народу, свой жизненный путь и призвание. Вернулась она акушеркой, и с тех пор, до последнего года ее жизни, я помню это ее служение народу: родильных домов тогда не было, и вот ночь-полночь, в осеннюю слякоть и зимнюю стужу, возле нашего дома останавливается подвода, мама собирает свой инструментарий и едет куда-то принимать в мир нового человека для прохождения жизни. Вот почему ее образ остался во мне самым светлым, самым святым на всю мою жизнь. И дай бог, чтобы на свете было больше таких людей, как она, моя мама.

Только много позже мне стали известны некоторые детали и обстоятельства этой ее поездки в Калугу, нашедшие свое несомненное отражение в нравственной и идейной атмосфере нашей семьи того времени и, в какой-то степени, коснувшиеся и моего бытия. Это — ее близкое знакомство с многочисленной и очень демократической семьей интереснейшего человека, учителя железнодорожной школы Семена Макаровича Пшенай-Северина, с именем которого связано и развитие революционной

мысли в Калуге. Близость этого знакомства подтверждается тем, что семья эта приняла впоследствии самое непосредственное участие в похоронах мамы, которая, по стечению обстоятельств, умерла и была похоронена в Калуге, и именно в этой семье происходили ее так называемые поминки.

С отцом все было сложнее, хотя, может быть, и интересней. С ним связано больше лет жизни, больше возникавших в процессе этой жизни вопросов, осмысливаний и переживаний, больших и маленьких, и острых, доходивших до серьезных споров и даже ссор, и трагических, вплоть до его гибели в огне пожарища при уходе немцев в результате разгрома их под Москвой. Изгнанный в порядке классовой политики из своего дома, разбитый параличом, он жил в это время под присмотром чужой сердобольной женщины в маленькой, из шести домов, деревушке Утешево, прилепившейся на краю красивого оврага, и оттуда примерно в июле сорок первого, когда уже обозначились размеры народного бедствия, я получил от него последнее, писанное карандашом, письмо и до сих пор кляну себя за то, что в сутолоке военного времени не сумел уберечь его,— настолько чисто, без копоти, горел в нем непотухающий огонь русской души, оказавшейся снова перед лицом исторических испытаний. Он знал, что этих испытаний он не переживет, и потому письмо было прощальным, и с нами и с жизнью.

Я не могу восстановить его — не найду для этого ни слов, ни интонаций, а выдумывать не хочу, но в моем сердце осталось от него и живет, как образ, сложный сплав грусти и мудрости, осмысливания исторических судеб народа и веры в еще невидимое тогда, но обязательное его торжество.

Так глухой осенью, глядя на голые, точно проволоки, свисающие ветви берез, вдруг ясно представишь на них весеннюю зелень воскресающей жизни.

Я знаю, найдутся люди, у которых эти строки вызовут кривую усмешку, а может быть, и скрытое «ха-ха»! Ну что ж! «У злой Натальи все люди канальи». Бывают и такие. Бог с ними! А для меня это сущая правда, освященная его мученической смертью. При отступлении немцев от Москвы сюда, в эту тихую безобидную деревушку, пришла зондеркоманда и, один за другим, подожгла все шесть ее домиков. В огне отец смертельно обгорел и через два дня умер.

Женщины — а тогда ведь везде оставались только женщины — не позволили себе закопать его где-то рядом, за огородами, а везли на санках, на себе, два километра в село Пятница-Городня, чтобы похоронить на настоящем церковном кладбище, «по-христиански».

— Кого ж это вы везете? — спросили встретившие их наши солдаты.

— Нашего батюшку,— ответили они.

А может, и не зря приросло к нему это слово.

Это был умный человек, широких интересов, много знавший и разбиравшийся и в житейских, и в больших общественных проблемах. Как сейчас помню — начало лета 1914 года, мы по каким-то делам поехали с ним в Медынь, остановились, как всегда, на знакомом «Рябовском» подворье, и тут, прочитав купленную газету с сообщением о сараевском убийстве австрийского эрцгерцога, он сказал: «Война!» Война началась через две-три недели, и я удивился тогда и, по правде сказать, удивляюсь теперь этой политической прозорливости рядового сельского «бати». Хотя слово «рядовой» я, пожалуй, возьму в кавычки.

Представим себе уютное, как гнездышко, микроскопическое сельцо: церковь и кладбище возле нее. Церковка тоже малюсенькая, деревянная, тесом обшитая, голубой краской крашенная и очень старая, с худым куполом, в котором жили дикие пчелы, и мед оттуда просачивался внутрь церкви, что послужило поводом для моего первого рассказа «Мед».

Достопримечательностью церкви была икона святого Христофора с ослиной головой. Был этот Христофор, по преданию, необыкновенной красоты мужчиной и не знал поэтому никакого покоя от женщин. А душа его была устремлена к богу, и, чтобы избавиться от соблазнов, он взмолился всевышнему о помощи, и господь смилостивился — сменил ему человеческую голову на ослиную, и таким он красовался у нас в церкви на самом видном месте, и перед ним больше всего горело свечей, поставленных умиленными прихожанами.

Другой достопримечательностью церкви была сама Параскева-Пятница, великомученица, давшая название всему селу («Пятница-Городня») и почему-то широко известная по всей округе. Праздновалась эта Параскева, которой был посвящен и престол церкви, не в определенный день или число, а в десятую пятницу после пасхи, по

скользящей, как и сама пасха, шкале, и в этот день, который каждый год нужно было рассчитать и высчитать, к нам, в эту нашу микроскопическую Городню, стекались сотни людей со всей округи, иной раз за десятки верст. Почему — я не знаю, тогда этим не интересовался, а теперь уже трудно восстановить историю. Но в одном из номеров интереснейшего международного журнала «Курьер», издаваемого ЮНЕСКО, я нашел большую, во всю страницу, цветную фотографию иконы, относящейся к XV веку, с изображением этой самой Параскевы-Пятницы.

В комментариях сказано, что икона эта, размером 142×69 сантиметров, хранится в Галичском краевом музее, мало известна миру и «отражает дух русского народа», что она заменила древнеславянскую Ладу и является покровительницей женщин, домашнего очага и почему-то, сверх того, ярмарок.

В другом номере того же журнала было краткое упоминание о храме имени Параскевы-Пятницы где-то в Нубии. А потом я как-то читал, что церковь имени Параскевы-Пятницы есть и еще в каком-то селе на юге Украины.

Одним словом, видно, так повелось издавна, и наша городенская «десятая пятница», как она именовалась в народе, была пережитком какого-то древнего обрядового сходбища, вроде календарно близкого к этому дню Ивана Купалы. Это празднество было прочно вкраплено в будничную трудовую жизнь народа и продолжалось до самого конца, когда голубая городенская церквушка была сначала закрыта, а во время войны сломана и использована, старушка, на какие-то военные нужды. Теперь на этом месте буйная заросль молодого березняка, скрывающего в своих недрах остатки каменных ступеней бывшей церковной паперти.

К этому же дню в затерявшуюся среди лесов и оврагов Городню тоже со всей округи съезжались торговцы, разбивали свои палатки с разного рода сладостями, забавами, стеклянными бусами, дудками, куклами. Иногда даже приезжала карусель со своей хрипатой шарманкой, и начиналось гулянье.

Ах, барыня угорела,
Много сахару поела.
Барыня, барыня,
Сударыня барыня!

Ах, барыня с перебором,
Валяется под забором —
Вот и барыня!
Ну, сударыня!

Особенно запомнилась мне игра взрослых парней — рубить пряники. Покупали пряники, клали их на землю в ряд, по десятку, по два, и с расстояния в 10—15 шагов с особым искусством бросали топор так, чтобы он, перевернувшись в воздухе, попал лезвием в эту цель. Перерубленные пряники были добычей игрока и его триумфом.

Проходил этот шумный, праздничный день, и Городня превращалась опять в ту же забытую богом и всем миром точку в необозримом пространстве России — деревянная немудрая церквушка, кладбище, возле них, как говорилось тогда, «поповка» — наш дом, дьячков и сторожка, кругом — поле, за полем лес, могучий, сплошной, без единого просвета в мир, с трех сторон — сосна и ель, а с четвертой, с юга, за красивейшим, заросшим черемухой оврагом — богатое грибами разнолесье. А за всеми этими лесами, оврагами и бездорожьем — «приход», деревни, приписанные к этому, имени Параскевы-Пятницы, «престолу». Глушь!

И в этой глуши, у рядового сельского «бати», я, подрастая, читал Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», Гейне «Германия», Плеханова «К вопросу о монистическом взгляде на историю», Маркса «Революцию и контрреволюцию в Германии», горьковские сборники «Знание» и многое-многое другое. А вообще у моего бати была богатейшая, совсем не подходящая ни к его званию, ни к его занятию библиотека, вплоть до многотомных и ценных изданий — таких, как «Всемирная история», «Вселенная и человечество», «Человек и Земля» Элизе Реклю, «История Земли» Неймайера и так далее!

Я не буду утверждать, что все это он читал и прочитал, и глубоко уверен, что восьмитомной, кажется, «Всемирной истории», например, не коснулся, да и меня это скучнейшее изложение, если не перечисление событий, имен и дат, помню, не привлекло. Но в трехтомной «Истории русской культуры» Милюкова, которую я проштудировал с карандашом в руках, и в ряде других книг были и его пометки.

Выписывал он, кроме официального и обязательного по службе журнальчика «Церковные ведомости», пере-

довые для того времени газеты «Русские ведомости» или «Русское слово», марксистский по своему направлению журнал «Мир Божий» и народническое «Русское богатство».

В зале у нас стоял рояль, на котором начинала учить нас покойная мама, на рояле — граммофон, через никелированную глотку которого мы слушали Шаляпина, Собинова и чью-то речь над могилой погибшего одного из первых наших летчиков, кажется, Васильева: «Пусть будет земля тебе так легка, как была легка поднебесная высь». В семейном альбоме мы видели открытки с фотографиями лучших картин Третьяковской галереи, портреты Веры Холодной и Гельцер, знаменитой балерины того времени, в роли умирающего лебедя. И песни — «Вечерний звон», «Реве та стогне», «По диким степям Забайкалья» и многие другие — мы любили петь «на горке», на краю большого, красивого оврага, а отец любил и разучивал с нами очень сложную и нигде больше не слышанную мною многоголосную песню южных славян:

Что так печален сербский народ?
Слава зовет тебя!
Слава зовет тебя на Косово поле,
Не унывай!

Или:

Между гор и долин
Ехал рыцарь один,
Он задумал найти
Эльдо-ра-до-о.

Одним словом, в этой глуши, в лесу таился небольшой, но для своего времени очень культурный уголок, в атмосфере которого проходило мое детство и закладывались первые почки будущей личности.

Как сейчас помню семейные вечера, когда отец читал то одно, то другое, что ему самому нравилось, и потому читал он всегда «с выражением», и мы любили слушать его.

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает»,— горьковского «Буревестника» я впервые услышал в его чтении, так же как и знаменитый рассказ Гаршина «Ателлеа принцепс». И еще чьи-то, не знаю, но по-своему вдохновенные, особенно в его исполнении, строки:

На святой Руси петухи поют,
Скоро день будет на Святой Руси!

«И галушка в зубах? И галушка в зубах»,— Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки», юмор, который отец любил и сам не был лишен его: «Вот американский павиан. Он выходит только при люна. Но когда нет люна, он выходит и без люна» — эту его байку я помню с тех лет.

«Эй, посылайте на смену, старый звонарь отзвонил»,— это Короленко, и его же: «А все-таки впереди огни!»

Или Некрасов:

Идет, гудет зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум...
Как молоком облитые, стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят.

Но особенно я помню один день, осенний, слякотный. Я только что поступил в гимназию, и отец приехал навестить меня. Мы шли с ним по улице Калуги, он купил в киоске газету и, заглянув в нее, охнул: «Умер Толстой!» И заплакал.

Нет, я не собираюсь делать из своего отца какую-то исключительность, перекрашивать из одного цвета в другой или подводить под какие-нибудь «измы».

В конце концов, это был обыкновенный «служитель бога на земле», и он выполнял всё, что ему было положено по должности,— крестил, венчал, хоронил, провозглашал многолетие государю императору и всему царствующему дому и кропил святой водой тех, кто в эту воду верил. Но, служа злу в его большом историческом смысле, в жизни он никогда не делал людям зла. Его внешнее, «функциональное» очень резко расходилось с тем внутренним, что составляет подлинную природу человека,— изъян старой государственности. Внешнее и внутреннее.

На самом деле отец принадлежал к той, может быть, редкой, но несомненно существовавшей категории либеральной — да простится мне это замызганное слово,— а вернее, просто умной части духовенства, культурный уровень которой, житейский демократизм и вытекающие отсюда скрытые политические взгляды резко расходились с его официальной ролью в старой России.

Все это я наматывал на свой, не пробивающийся еще ус.

Я не берусь судить в полной мере о его взглядах той поры даже в таком вопросе, как вера в бога, потому что то время, когда сын становится для отца собеседником, оказалось временем великих и решительных размежева-

ний и мы стали по разные стороны исторического барьера.

Но взгляды ведь выражаются не всегда в декларациях.

Решает другое — чем эти взгляды отражаются в поведении, в деталях жизни. И тогда я вспоминаю, как заехал к отцу урядник, как они выпили, конечно, как отец в шутку написал на внутренней стороне козырька его фуражки «Долой самодержавие!» и как они потом вместе смеялись над этим. Помню, в разговоре об одном из своих коллег, священнике большого и богатого местечка, он назвал его черносотенцем, другого, тех же настроений, он при мне назвал подлецом и не подал руки, кажется за то, что тот провозгласил в своей церкви анафему Льву Толстому.

А для контрастности приведу, пожалуй, воспоминания одного моего теперешнего корреспондента о своем деде, тоже священнике, вернее, протоиерее большого городского собора — это уже начальство.

«Дед был человеком угрюмым, нелюдимым, деспотически строгим. На всех родичей он наводил страх, а мы, мелюзга, боялись его, как смерти. Когда заслышим шелест его шелковой рясы при возвращении из собора, то мигом забивались куда-нибудь в самые темные углы. По дому он обычно следовал один — все старались не попадаться ему на глаза — и скрывался в своей комнате, келье, откуда очень редко выходил. Только по большим религиозным праздникам он появлялся за общим обеденным столом, читал молитву, осенял всех благословением. При этом все крестились и склоняли головы, боясь смотреть ему в глаза. Трапеза, естественно, протекала нудно, тоскливо и в полной тишине.

Бабушка еще в молодости упала при побелке потолка со стола, повредила себе что-то, у нее отнялись руки, ноги, и она потеряла дар речи. Эта несчастная старушка, как сейчас помню, вечно сидела в кресле-каталке и читала библию, которая лежала у нее на подставке, перелистывая ее языком. Дед никогда не удостаивал бабушку своим вниманием и никогда не заходил в ее комнату. При ней находилась моя мать и другие родственники, стараясь, как могли, скрасить ее страшную старость!»

Тоже называется — служитель бога на земле. Нет! Дело не в сане, не в чине и не в звании — дело в человеческих качествах.

Мой отец был, наоборот, человеком широкой натуры и широкой жизни, общительным, с юмором, любившим — да! — и выпить, и угостить, и составить, и оживить компанию и умевшим понять человека, и вникнуть в него, и, в чем можно, помочь. И жил он поэтому не замкнуто, очень открыто, у него было много знакомых, друзей, он умел понимать и привлекать людей, и люди тянулись к нему — кто выпить, кто — поговорить и отвести душу. Его «коллеги» из соседних сел ехали к нему, чтобы составить годовой отчет и написать предстоящую «пастырскую» проповедь с амвона; прихожане шли за советом, решить какой-то семейный или хозяйственный вопрос и просто так «потолковать». Любил потолковать и он сам.

Ехали мы с ним как-то весной Михальчуковским — нашего «прихода» — полем. Кругом — пестрая, раскроенная и перекроенная на разномерные полоски — «душевые наделы» — земля, по которым то там, то здесь елозят на своих тоже разномастных конягах пахари.

— Митрий! — окликает одного из них мой батя.— Ты чего ж сам пашешь?

— А что?

— У тебя ж отец есть.

Это была явная шутка, и Митрий ее понимает как приглашение к разговору. Он останавливает лошадь и идет к нашему тарантасу. Закуривают.

— Отец-то еще так-сяк топчется,— удрученно говорит Митрий.— А вот мать...

— А что?

— Животом мается.

— К доктору-то возил?

— Да что доктор! К нему не успеешь дверь отворить, он уж тебе рецепт сует, почитай — не глядя.

— Давно хворает-то?

— Да уж третью неделю... А тут девка заневестилась.

— Кто сватает-то?

— Серега Парамонов.

— Ничего парень-то.

— Ничего будто.

— Да ведь как говорится — не нами, по родителям. Отец-то справный мужик, самостоятельный?

— Ну, значит, о свадьбе нужно думать, о приданом.

— Из овчин-то принес?

— Не шибко, но все-таки.

«Овчины» — это отхожий промысел в наших местах,

когда с покрова, убравшись по хозяйству, мужики трогались кто в Литву, кто в Польшу, на какие-то годами насиженные места, а иные даже и в собственные дома, на выработку овчин, шерсти, валенок, а к весне возвращались домой с деньгами, кто сколько заработал, и тогда, после пасхи, на «красную горку», начинались свадьбы с бубенцами, гармошками, с разукрашенной бумажными цветами сбруей, потом — летние работы и опять «до покрова». Весь этот жизненный круговорот отец знал до тонкости, ну а через него кое-что постигал и я.

Из частых посетителей отца мне особенно запомнился один — лобастый, с умными, острыми глазами,— которого отец звал уважительно «Зосима Петрович», а тот его фамильярно — «батя». Полупролетарий — семья его оставалась в деревне («Город что? Одни отхожие места!» — говорила его непокорливая хозяйка), а сам он работал в Москве кондуктором не то водителем трамвая. В каждый свой приезд домой он обязательно заходил к отцу «потолковать», и у них начинались разговоры о жизни, о политике, о боге — разговоры полусерьезные-полуиронические, напоминающие пробу сил двух знающих себе цену, а потому незлобивых, но прощупывающих друг друга противников.

— Я не какой-нибудь шатун, я человек рабочий,— задиристо говорит Зосима Петрович.— А что есть рабочий человек? Мы терпим, терпим до времени, а потом все скажем.

— А чего терпеть? Говори сразу.

— А чего там говорить? Как русскому с немцем, не договориться. Ваше дело таковское, вы богом живете. Там, мол, получишь, лови журавля в небе. А что «там»? Где «там»? Сдохнешь — сгниешь.

— Лопух вырастет,— подбрасывает отец тургеневский образ.

— Что?.. — не совсем понимает тот.— Ну да! Конечно, лопух вырастет или там лебеда какая. А дух — это... Дух... Это того... Одно слово, брюхо крепче — на сердце легче.

— А куда голова, туда и брюхо — не слышал такого? — отвечает отец.— Ну хорошо, давай без бога...

И он начинает рисовать жизнь без бога — единственный, пожалуй, пункт, где он был тверд в оправдании дела, которому служил: религия нужна как основание нравственности. Во всем остальном я не уверен — он

никогда не говорил с нами о боге, не учил нас, своих детей, этому, любил рассказывать анекдоты про архиереев, не ценил как художника Гусева-Оренбургского, писавшего о духовенстве, зато со смаком читал вслух чеховскую «Канитель».

С таким же смаком и легким юмором он любил подмечать все смешное и нелепое, вроде забавного казуса, который произошел с одним его соседом по приходу из ныне снесенного тоже с лица земли села Рождества — на Шани. Это был как раз из тех заурядных и замшелых сельских попиков, которые ничего не читали, ничем не интересовались и ни о чем не думали, кроме выполнения обычных треб и сбора доброхотных даяний, составлявших основу их служебного бытия. Огненно-рыжий, с белесыми, водянистыми глазами, он не мог связать двух слов и писал так, что сам потом не мог разобрать своих писаний, и вообще был настолько никудышным и никчемным человеком, что было непонятно, как он оказался в роли духовного пастыря и как он мог выполнять эти свои обязанности. Но у него была большая семья — восемь человек детей, которыми, да и им самим, управляла тщедушная на вид, но очень оборотистая «матушка», и отец мой его по-человечески жалел и, в чем можно, старался помочь ему.

И вдруг над этим отцом Василием нависла беда.

В его приходе, на берегу красивейшего пруда, до удивления напоминавшего левитановскую картину «У омута», стояло имение генерала Роговского. В имении этом генерал почти не бывал и вдруг приехал и — мало того — пожелал навестить свой приходский храм. И отец Василий примчался к моему бате, всклоченный и перепуганный — как быть и что делать? Отец попытался его успокоить — но тот, настроенный своей всемогущей «матушкой», решил «закатить» торжественную литургию со звоном во все колокола, с многолетием и пастырской проповедью: генерал-то какой! — придворный из царственного Петербурга, он, поди, самого Иоанна Кронштадтского слушал. Вот и приехал отец Василий к моему отцу, потому что сам он ничего путного не мог придумать, кроме вводной, и то, вероятно, где-то вычитанной фразы: «Дорогие братья во Христе! Куда мы обратим взоры в нашей юдоли?»

Отец помог, вернее, написал ему проповедь попроще, без всякой «юдоли», и велел выучить ее наизусть. А во-

обще советовал ему провести все без выкрутас — пусть идет служба как служба, как всегда, по-деревенски,— в этом будет своя привлекательность.

Но отец Василий со своей матушкой этих советов не послушались — вместо будничного, довольно потрепанного облачения достали пасхальное, сверкающее золотом и серебром, на скорую руку организовали хор, поставили на колокольню звонаря, чтобы встретить генерала колокольным звоном, и стали ждать. Ждут час, другой, обедню давно пора было и начать и кончить, а генерала нет — он так и не приехал.

Об этом конфузе отец любил рассказывать при каждом удобном случае, особенно когда встречал понимающего и созвучного ему собеседника. Одним из таких собеседников был дядя Юра, родной брат покойной мамы, и дни его приезда были всегда интересны и памятны для меня, да, пожалуй, и для всего нашего дома.

Это был прелюбопытнейший и прекраснейший по своей внутренней сущности человек. Невысокий, коренастый силач, делавший зарядку двумя двухпудовыми гирями, громогласный, подвижный, жизнерадостный, он не боялся никакого дела и никаких опасностей. Когда-то он учился в Томском, известном своими революционными традициями, университете, был исключен за политику, женился на очень сдержанной, в противоположность себе, даже суровой женщине, Анне Георгиевне, и они оба уехали в деревню учительствовать.

Перед поступлением в гимназию я прожил у них целую зиму и им, их знаниям, их требовательности, выдержке обязан тем, что вступительные экзамены сдал на круглые пятерки — в гимназию принимали тогда по экзамену.

В своих требованиях они были непреклонны, и бывало так, что они ложатся спать, а я сижу над какими-то задачками, которые не успел сделать в течение дня.

Я уверен, что сказалась на мне и та нравственная атмосфера, которая царила в их небольшой, но дружной и чистой семье. В отличие от отцовского дома с его открытой, широкой, иногда, может быть, безалаберной жизнью, здесь царила атмосфера долга и дела, строгости и целеустремленности, а если говорить о широте, то это была широта натуры. Дядя Юра завел там себе быка, по кличке «Бек», и по утрам, тоже для зарядки, схватив его за рога, мерился с ним силою на равных — кто кого

сдвинет с места. На нем же он возил воду для школы и вывозил нечистоты — не гнушаться никакой работы было его принципом.

Позднее, в июльские дни 1914 года, мы провожали его уже как офицера, прапорщика, и, точно сейчас помню, такого же бодрого, улыбающегося, на фронт. Там он оказался в печально известной самсоновской армии, разгромленной среди мазурских озер, и попал в плен, о чем мы узнали из газет, где полностью публиковались тогда фамилии всех погибших или пропавших без вести офицеров. После революции он вернулся, пошел в Красную Армию и погиб где-то на колчаковском фронте.

Когда дядя Юра приезжал к нам, в доме поднимался шум-гам, он всегда выискивал что-то сделать, починить, подремонтировать или заводил с отцом, которого очень любил, бесконечные разговоры о разных вещах, и прежде всего, конечно, о политике. Содержания их я, разумеется, не помню, но один разговор врезался мне в память.

Отец со своим тонким юмором, помню, подсмеивался над ним, над его марксизмом и над его горячностью, а дядя Юра кипятился и что-то громогласно и напористо говорил о революции.

— А потом? — хитровато улыбаясь, перебил его отец и, получив какой-то ответ, спросил снова: — А потом?

— А потом? А потом экспроприация экспроприаторов! — на мгновение запнувшись, ответил дядя Юра и в такт этим словам два раза стукнул своим увесистым кулаком по столу, точно вгоняя осиновый кол в могилу всех экспроприаторов мира.

— А потом? — не унимался отец.

— А потом сияющее царство справедливости! — прогремел в ответ дядя Юра, победно глядя на своего противника.

Что стало «потом», мы знаем, и знаменитая Марксова формула в дальнейшей нашей жизни обросла и плотью и кровью, но тогда эти слова были для меня новы и непонятны и, вероятно поэтому, запомнились.

Так совершаются процессы кристаллизации, в том числе и кристаллизации личности: происходит одно, другое, третье, хотя маленькое, мельчайшее, не очень как будто бы важное, но чем-то цепляющее сознание; зарождаются зерна этого сознания, они обрастают чем-то еще, завязываются какие-то узлы, зачатки будущих кристал-

лов, из которых когда-то потом, впоследствии, сформируется «друза» личности.

Так, видно, формировалась и моя «друза» — из разных элементов, из разных событий, влияний, условий и обстоятельств, прошедших через какую-то внутреннюю лабораторию, химию души.

Из них, прежде всего, я хочу еще раз упомянуть самую Городню, этот поистине чудесный, своего рода уникальный уголок, заполненный смоляными запахами, красотою и тишиной. Чего стоит один овраг, который ранней весною, где-то около Егория, точно молоком, заполняется цветущей черемухой, или осенью, когда всё — та же черемуха, и клены, осины,— все горело и пылало всеми переливами всех огненных и огнистых красок. А когда, бывало, стоишь на краю этого оврага и спросишь: «Кто была первая дева?» — лес с той стороны неизменно и безошибочно отвечал: «Е-ева-а!»

Или сосны, нависающие над этим оврагом, могучие, толстокожие, как крокодилы, недоступные, кажется, никакому топору, да и самая мысль о топоре применительно к этим красавицам представлялась кощунственной: то высокие, как уходящие в небо золотистые мачты, то, наоборот, корявые и толстые, в два обхвата, сукастые, рукастые, замахнувшиеся чуть не на полсвета. Там, в этих «Соснах» — они так и звались у нас,— мы собирали грибы, ягоды, летними вечерами жгли костры, пели песни, туда я уходил с книгой, думал, мечтал, там осенью восемнадцатого года, закутавшись в овчинный тулуп, отец отсиживался ночами, боясь ареста.

И труд... За это я тоже благодарен отцу.

Ехали мы как-то с ним поездом, и вдруг, вместо обычных по тому времени стеариновых свечей, в вагоне вспыхивает электричество.

— Какое удобство! — восхитился я.

— А это удобство нужно заработать,— наставительно заметил отец, и я помню и слова и интонацию этого замечания сейчас, больше чем через шестьдесят лет.

Но он не только наставлял, он и приучал меня к этому. Да, у нас был и работник, и по необходимости была кухарка; но, когда нужно, сам отец снимал свой нелепый подрясник и брал топор или вилы, отбивал косу или чинил грабли.

А то вдруг задаст чисто плотницкую головоломку: «По одной тяпке топором десять тяпок сделаешь?» Я долго думал, но в конце концов разгадал эту очень несложную, как оказалось, задачу и сделал пятнадцать тяпок. Я возил навоз, пахал, боронил и знал, сколько борон нужно «положить» под рожь, под овес или под лен (до сих пор помню — двенадцать борон по одному следу). Знал и мужицкие приметы вроде: «овес сей в грязь — будешь князь, а рожь хоть в зóлу, да в пору».

Я очень любил косить, особенно в утреннюю зорю, когда приходилось вставать раным-рано, еще до солнышка, когда все блестит и сверкает, словно в алмазной россыпи, и косить во весь размах, по-мужицки, оставляя за собой параллельные, точно рельсы, два следа твоих собственных пяток и чувствуя, как за этими пятками, чуть не подрезая их, идет коса отца или работника, добрейшего старикана Тимофея Афанасьевича. А потом ты берешь горсть росной, только что скошенной, живой еще травы, вытираешь косу и точишь ее — жвык-жвык, жвык-жвык; в руках приятная усталость, в душе радость и ощущение полноты жизни, а впереди завтрак — ржаные лепешки с творогом. И я очень понимал Левина, когда потом читал толстовскую «Анну Каренину».

Или жарким днем, в предгрозовье, когда сено вот-вот дойдет, еще бы чуточку, совсем чуть-чуть, а небо вдруг заволакивает, из-за леса выползает какая-то хмарь, и тебе, как хозяину, мужику, нужно решить — сгребать сено или не сгребать? Ты щупаешь его, прислушиваешься, как шуршит оно, чем дышит, к оттенкам, к запахам, к звукам, а сам следишь за движением облаков, туч, угадываешь — дождевые, не дождевые? — и ловишь какие-то неуловимые признаки — дуновение ветра, ощущение воздуха, точно сливаясь с природой, с вихрями, бушующими где-то там, в высоте, с громоздящимися облаками, причудливо наплывающими друг на друга, со всеми таинствами, совершающимися вокруг, в этом огромном и величественном мире.

Хорошо!

И одиночество. Да, и одиночество. Его я считаю тоже одним из кристаллов, из которых сложилась «друза» моей личности.

На дне любимого нами оврага протекала безымянная речушка, по сути дела ручей, который мы прозвали «Бежетка» и который то перебегал с ласковым лепетом с ка-

мушка на камушек, то образовывал довольно глубокие заводи и плёсы. В одном из них, в самой гуще черемуховых зарослей, было место моих ребячьих забав — здесь я строил плотины и крепости, здесь расстреливал камнями неприятельские флотилии или, скача верхом на палочке, рубил головы обступавших меня врагов.

В этих играх и занятиях я был одинок — младший брат мой, Борис, рано умер от дизентерии, а сестры в мальчишеских забавах были плохими компаньонами. Чего больше — плохого или хорошего — было в этом одиночестве, я затрудняюсь сказать. Но когда современная молодежь ищет развлечений, а мы в своей заботе о ней изыскиваем и изобретаем для нее разного рода массовые мероприятия, усматривая в этой массовости и непременной коллективности панацею от всех зол, я думаю о роли одиночества. Мне кажется, что здесь-то и начинается личность — когда человек живет не тем, что ему дают, во что его тянут, вовлекают и приучают, а тем, что он, оставшись наедине, находит сам, и в себе, и в окружающем его, таком богатом и, в конце концов, таком прекрасном мире, и в потребности, собственной, внутренней потребности подумать, послушать, ощутить и небо, и землю, и гнущиеся на ветру вершины берез, и легкомысленный лепет сплетницы осины, и глухой, непримиримый шум сосны или дуба в осеннюю темень, и сказочную пушкинскую красоту разгулявшейся вьюги — и принять, и вместить все это в свою душу, и спрятать до времени, в каком-то затаеннейшем ее уголке, и потом получить из всего этого что-то свое. Разве такое одиночество или, может быть, вернее, уединение — не источник и условие внутреннего богатства человека? И разве не с этого начинается личность, когда человек находит в себе силы и уверенность творить мир, в котором он живет?

Уже взрослым, женатым, уже пробовавшим и сладость и горечь пера, я приехал как-то проведать тяжело заболевшего отца и, спустившись в «свой» овраг, вспомнил всю эту детскую прелесть, и она неожиданно вылилась в стихотворные строчки:

Я вновь в родных краях.
Как будто бы совсем на днях
Мальчишкой я играл на дне оврага.
Где тень черемухи, речной песок и влага.

Овраг все тот же.
Его боков такая ж крутизна,

Ковра из одуванчиков такая ж желтизна,
И поросль по бокам такая же густая,
А надо мной все та же высота
Лазорево-пустая.

Все то же. Один лишь я не тот...
Тряхнул черемуху, и стая лепестков
Метелью белою, кружась, легла у ног.

Вот точно так же жизнь:
Летит так день за днем,
Неуловимым чередом,
И в голове одна лишь мысль,
Одно лишь я б хотел —
Чтоб каждый мой денек,
Чтоб жизни каждый лепесток
Не зря летел.

А когда оглядываешься теперь назад, на прожитую жизнь,— сколько этих деньков-лепестков пущено по ветру, попусту, сколько не продумано, сколько недоделано, сколько растрачено сил, совершено глупостей и ошибок. До обидного много. А ветер времени рвет и рвет оставшиеся лепестки и уносит в недоступную и непроглядную даль вечности. Только стóят они теперь дороже, много дороже, и я все делаю, чтобы улетали они не зря. А потому и стараешься смотреть шире и видеть глубже, сквозь шелуху жизни и поверхность явлений.

...Нет, море не шумит.
Нет, нет!
Оно о чем-то говорит.

Это — первое впечатление от первой встречи с морем в дни моей молодости.

...В нем слышен говор. Но какой?
Его услышишь лишь душой.
С душой живое море — не шумит,
Нет! — море говорит.

Это не совсем стихи — я знаю. Это скорее стихия, стихийные, как протуберанцы, и потому неожиданные для самого себя всплески поэтического чувствования, опусы полувековой давности, о которых я сам в конце концов забыл и которые только теперь всплыли в памяти на волне заключительного самоанализа. И только законы и требования этого самоанализа заставляют меня вчитаться в эти опусы и, отойдя на расстояние, как это делают любители при рассматривании музейных картин «через

кулак», всмотреться и вдуматься в них, словно во что-то стороннее, и проникнуть своим внутренним зрением в окружающие меня явления жизни.

Я речь чужую рад подслушать —
Ведь в ней горят живые души,
Их радости, горя́ и беды,
И часто в час приятельской беседы
Вы вдруг узнаете такое
Красивое, могучее, живое,
Что в следующий час
Уж скроется от вас
В житейском ворохе забот.

Это — еще из одного моего стихотворного опуса тех же ранних лет, как по стилю видно, времен Демьяна Бедного. А когда я, в порыве откровенности, прочитал некоторые из этих опусов одному своему приятелю, он спросил:

— А вы их печатали?

— Нет.

— Почему? В них есть углубленность. Это не декламация... Кстати, скажите, а вы «о ней» писали? Я ведь тоже баловался в молодости, но я писал только «о ней». А вы?

— Нет. С «ней» у меня получилось как-то сразу и без стихов, с первого для нас обоих поцелуя. И на всю жизнь, вплоть до золотой свадьбы и дальше, теперь уже, как видно, до последних дней.

— Ну это и понятно — вы человек мыслительный.

Эти слова как-то повернули меня к самому себе.

Нет, я не переоцениваю себя, не обеляю и не очерняю, я знаю себе цену, не очень большую и не совсем маленькую. Да не сочтут это люди за нескромность, это не позволяют мои годы, прожитая жизнь длиною в три четверти века и моя совесть. Я просто хочу разобраться во всем искренне и честно, в том числе и в самом себе.

Я, например, не знаю, как и почему я стал писателем-беллетристом и правомерно ли, да и стал ли им по-настоящему? Мне кажется, у меня для этого многого не хватает — зоркости, цепкости глаз, памяти на слова и детали, на обворожительные и завораживающие подробности бытия, которые как будто бы мелки, ничтожны, а на самом деле из них, как из цветных стекляшек, складывается чарующая мозаика жизни. Это я с завистью увидел в «Разбитой жизни» Валентина Катаева, несомненно

талантливой, сверкающей переливами, кажется, всех цветов радуги, из-за которых в то же время теряются очертания самой радуги. У меня, пожалуй, наоборот — преобладают очертания, линии связи, закономерности и процессы развития,— одним словом, та самая «мыслительность», которую подметил мой приятель. Иногда мне кажется, что я больше исследователь, чем художник, и кто знает: если бы иначе сложилась моя жизнь, я мог быть чем-то вроде Тимирязева или Ферсмана, если не исследователем, то популяризатором каких-то достижений разума.

Может, я действительно, как Чацкий, «шел в комнату, попал в другую», а может, наоборот, это и есть та «комната», которая предназначена мне судьбою, природой и ходом моего развития? Может, действительно, моя «мыслительность», углубленность, зародившаяся в городенском одиночестве, и вытекающее отсюда стремление подслушать и понять «сокровенный шепот» и «откровенный ропот» жизни и всю ее, по Пушкину, «мышью беготню» и составили психологическую основу той публицистичности, того стремления, говоря словами Бориса Пастернака, дойти «до самой сути», «до корней, до сердцевины», которое завело меня в конце концов в омуты жизни и такие же бездонные омуты мысли.

Ну, до этих омутов нужно было еще дожить. А пока хочется додумать до конца то, как сформировалась «друза».

Гимназия. Вернее — я в гимназии, без ее описательства и бытописательства. У нас был, конечно, «закон божий», была латынь с Титом Ливием и Юлием Цезарем, длиннющие записки которых о галльской войне и других событиях того далекого латинского времени мы переводили в течение многих лет. Факультативно был даже древнегреческий язык, который, по крайней мере в нашем классе, никто, кажется, не изучал. Были два чудаковатых преподавателя, и то в младших классах. Одного из них мы беззлобно прозвали «Почвá», уловив как-то неправильно поставленное им ударение; другого, математика, за крайней древностью лет, по-моему, просто жалели. И был инспектор, кривой на один глаз и потому получивший кличку «Циклоп», хотя, в отличие от могучего мифического героя, он был мал ростом и тщедушен. Это была самая нелюбимая нами фигура — он был тих, зол, хитер и беспощаден, одним словом, в подлинном смысле

антипедагог. В частности, он «влепил» мне тройку по поведению за то, что я, не зная еще физики, вызвал короткое замыкание, неумело прикоснувшись к неисправной, обнаженной розетке. Больше, насколько мне помнится, никто из учителей кличек не носил, кроме директора.

Директора за небольшую клинышком бородку звали Козел, хотя, на мой взгляд, необоснованно. По-настоящему козлиная — длинная и редкая — бороденка была у Циклопа, а у директора, высокого и стройного, как говорится, представительного мужчины, была настоящая, густая, но аккуратно всегда подстриженная «чеховская бородка». Никак не оправдывал данную ему кличку и весь внутренний облик директора, который мы, ученики, инстинктивно чувствовали. Если Циклопа мы боялись и ненавидели, то его, Щербакова Сергея Васильевича, мы боялись, но уважали, да и боязнь-то наша была какого-то другого качества и свойства.

Учебный день у нас всегда начинался с краткого молебна. Актовый зал с огромными, во всю стену портретами двух царей — Александра I и Николая II — и досками из серого мрамора, на которых золотом были высечены фамилии окончивших гимназию с золотой медалью за все годы ее существования, свободно превращался в церковь, когда раздвигалась легкая перегородка, отделявшая его от небольшого алтаря. В зале, строго по классам, от первого до восьмого, выстраивались ученики, а впереди, в центре, на виду у всех стоял директор, высокий и горделивый. По окончании молебна он круто поворачивался лицом к нам и, высоко держа голову с этой самой чеховской бородкой, пропускал всех нас мимо себя, и мы проходили, класс за классом, кланялись ему, и каждому из нас казалось, что именно его провожает своим зорким взглядом этот неприступный, рябой с лица человек, казавшийся нам воплощением порядка и строгости.

В старших классах мы узнали его как отличнейшего преподавателя физики и космографии, дававшего нам на лето интересные практические задания, организовавшего для нас экскурсии на заводы и фабрики. Кроме того, он был автором учебника по космографии и атласа звездного неба, а много позднее, из публикаций журнала «Наука и жизнь», я узнал, что Сергей Васильевич, нижегородец по происхождению, был другом еще одного нижегородца — Алексея Максимовича Горького, имел с ним

длительную переписку и был даже на «ты». Так что уважали мы его, по-видимому, не зря.

Но тем не менее он, конечно, стоял на своем, ответственном для своего времени, месте директора казенной, в отличие от ряда частных учебных заведений, «николаевской» гимназии и делал свое дело. Хотя, судя по установившемуся даже в то время мнению, во главе народного просвещения в те предреволюционные годы стоял один из самых реакционнейших министров — Кассо, но мы этого как-то не чувствовали, ни какого-то особого давления, ни каких-либо особых зверств в смысле режима. Мне кажется, здесь и сказалась амортизирующая роль С. В. Щербакова, директора по обязанности и друга М. Горького по взглядам и настроению,— та обязательная, как в примере с моим отцом, двойственность, которая неизменно и закономерно порождается всяким самодержавием.

Особенно это было заметно на примере «закона божия», первого предмета, стоявшего в наших дневниках, официального предмета, определяющего общий дух школы. Если даже в так называемом «реальном училище», которое, в отличие от нашей «классической» гимназии, по самой сути своей должно было быть более реалистичным, если в нем, повторяю, этот предмет был жупелом для всех учеников, то у нас его вел отец Иоанн Остроглазов, которого мы переименовали на Милоглазова,— милейший батя с ласковыми, добрыми глазами и такой же доброй улыбочкой. Поверх рясы он носил отличительный, особой формы серебряный крестик, знак об окончании духовной академии, но, несмотря на высшее богословское образование, он вел свой предмет на удивление, как сказали бы теперь, низком идейном уровне.

Каждый урок он начинал с вопроса: «Кто сегодня не готов к ответу?» И во время опроса так умел поправить, а то и пропустить мимо ушей неудачный ответ, что почти все ученики у него были круглые пятерочники, а тройка была самой низкой и очень редкой оценкой. А когда проходили щекотливый вопрос о происхождении человека и вообще эволюционную теорию, которая в учебнике, кстати сказать, излагалась довольно основательно, мы позволяли себе «порезвиться» и задавали самые каверзные вопросы. Но отец Иоанн никогда нас не обрывал, не снижал отметки и находил не всегда убедительные, но достаточно дипломатичные ответы.

Во всем этом я тоже усматриваю несомненную амортизирующую роль нашего директора.

Сказалось это, на мой взгляд, и на подборе учителей и, тем самым, на общем духе преподавания. Так, вместо замшелого математика пришел молодой и очень живой и по обличию и по настроению новый преподаватель, Н. Н. Флеров, вдунувший в математическую сушь какую-то свою свежесть. Таким же свежим по духу, хотя на вид и несколько флегматичным, был тоже молодой преподаватель естествознания Н. Л. Дмитриев, взявшийся за организацию Калужского музея и втянувший нас, своих учеников, в эту работу. Историю преподавал добродушнейший и талантливый рассказчик, говорун, строивший урок на живых, порой анекдотических мифах, преданиях, былях и небылях прошлого, но в конечном счете дававший все-таки некоторые исторические закономерности и обобщения.

Но особенно мы любили «литератора», Н. С. Семеновского, серьезного и умного человека, не только ясно и последовательно укладывавшего в наши головы историю русской литературы со всеми ее типами и проблемами, но и заставлявшего думать и осмысливать все эти проблемы и типы.

Вот я перелистываю учебник тех лет для восьмого класса гимназии — Саводник, «Очерки по истории русской литературы XIX века». Аксаков, Григорович, Тургенев, Гончаров, Н. А. Островский, Лев Толстой, Достоевский. Поэты: Тютчев, Фет, Майков, Полонский, А. К. Толстой, Некрасов. В основном тексте — достаточно глубокие анализы таких шедевров, как «Война и мир», «Преступление и наказание», а в комментариях, правда, мелким шрифтом — дополнительные, но очень важные, особенно для того времени, вещи, например довольно подробный обзор на нескольких страницах: «Крестьянский вопрос в русской литературе» и «Отношение литературы к народу». Здесь и «ложноклассическая школа», аристократическая по духу, вовсе игнорировавшая простой, или, как тогда выражались, «подлый народ», и сентиментализм с его «Бедной Лизой» Карамзина, и романтизм с его интересом к старине, к народному быту и творчеству, и славянофильство, и герценовская «Сорока-воровка», и смелое обобщение:

«Тяжелые цензурные условия в николаевскую эпоху не позволяли русской литературе касаться многих

темных сторон современной действительности, в том числе и крепостного права. Однако и в эту эпоху появилось несколько произведений, в которых этот вопрос был так или иначе затронут».

И как пример — «Антон-Горемыка» Григоровича, роман посредственных художественных качеств, но очень интересный в общественном плане.

Все это было интересно, будило мысль, перекликаясь с духом того, предреволюционного времени, и я литературу любил, что не мешало, конечно, получить иной раз и двойку, сопровождаемую строгой сентенцией: «Кому много дано, с того много и спросится».

Большой интерес вызывал у нас хроменький «французик из Бордо», входивший всегда в класс с милой, обворожительной улыбкой и сочетавший преподавание своего языка с беседами на разные темы довольно широкого культурного диапазона. В частности, он рассказывал нам о своей работе, ставившей нас в тупик,— о том, что «Демон» Лермонтова тематически очень связан с аналогичной поэмой французского поэта Альфреда де Виньи. Мы спорили с ним, но доказать ничего не могли, потому что не знали этого самого Альфреда де Виньи.

Гимназия была одна на всю губернию, так же как и женская, которую на год раньше закончила моя будущая жена. Гимназия казенная, классически-гуманитарная, с четырьмя языками, с логикой, психологией и законоведением, в противоположность так называемому реальному училищу с техническим уклоном. А кроме того, в Калуге было тоже реальное, но частное училище Шахмагонова и две тоже частные женские гимназии.

Особняком стояли духовное училище, духовная семинария и так называемое епархиальное женское училище, в котором, кстати сказать, преподавал К. Э. Циолковский, а у него училась моя сестра Тоня. Это были закрытые учебные заведения епархиального, духовного ведомства, предназначенные для подготовки губернского духовенства и его детей. И я безгранично благодарен своему отцу за то, что он, когда подошло мое время учиться, не направил меня по этому своему профессиональному, богомолященскому пути. И все шло хорошо вплоть до седьмого класса, который оказался для меня критическим, когда в течение года я получил две тройки в четверти по поведению. Одну из них можно считать заслуженной: не знаю, ради ли какого-то эксперимента или из простого

баловства, но я бляхой от собственного форменного ремня соединил два оголенных конца электропровода, в результате чего получилось короткое замыкание и чуть ли не во всей гимназии погас свет. Но во второй тройке лично я был совсем невиновен, а результаты ее могли оказаться для меня совершенно катастрофическими. Получилось это так.

Как я уже говорил, гимназия обслуживала всю губернию, и для иногородних при ней был пансионат, по теперешней терминологии интернат. Но при желании можно было жить и на частных квартирах у добропорядочных и заранее, видимо, проверенных хозяев. Мне пришлось жить у нескольких таких хозяев, вернее, хозяек, вдов или жен отставных чиновников. Но в седьмом, предпоследнем классе отец определил меня в ту самую семью Пшенай-Севериных, с которой он когда-то познакомился в связи со смертью и похоронами моей мамы. Он назвал эту опальную, как оказалось, семью своей родней, и поэтому я почти весь учебный год прожил в ней, впитывая ее дружественный, трудовой и вольнолюбивый дух.

И вдруг меня на перемене, в коридоре, останавливает директор, ведет в свой кабинет и начинает допрос: с кем я дружу, где я живу, у кого, а когда я назвал своих нареченных «родственников», он резко обрывает:

— Так вот, жить вы у них больше не будете. Я вызвал телеграммой вашего отца, и вам придется этих родственников забыть навсегда.

И действительно, кажется, на другой же день приехал отец и в срочном порядке перевел меня на другую, указанную ему, квартиру у какого-то отставного чиновника и его больной, по крайней мере вечно охающей, жены.

Впоследствии по рассказам и документам я проследил всю историю семьи Пшенай-Севериных, особенно ее главы и вдохновителя, бородатого, мужиковатого на вид крепыша Семена Макаровича, историю, достойную особого описания, даже исследования, по внутренней чистоте и возвышенности духа, по своим связям с деятелями революционного движения в Калуге, которых он сначала воспитывал в руководимом им железнодорожном училище, а потом всемерно поддерживал в полной тревог жизни, давал им приют при побегах с каторги и даже прятал оружие, за что сам отсидел в тюрьме два года и был лишен учительского звания.

Я почти уверен, что отец не знал все эти факты и подробности, когда определял меня на квартиру в такую семью, но дух ее был, конечно, известен и в какой-то мере симпатичен ему, хотя бы со слов покойной мамы. Ну, а в последнем, предреволюционном, шестнадцатом году этот дух, а вероятно, уже не дух, но и факты стали известны и в гимназии. При другом директоре это могло кончиться для меня несомненной катастрофой, а кончилось, как говорится, сухой грозой — директор наш, как я уже говорил, близкий друг А. М. Горького, каким-то образом сумел амортизировать этот удар, и я отделался второй тройкой по поведению и строгим предупреждением.

— И больше к своей этой самой родне — ни шагу. Понятно?

...Одним словом, серьезных претензий я к своей гимназии не имел и не имею — она дала мне необходимый и, видимо, не совсем минимальный минимум не только знаний, но и мыслительных навыков, а главное — интересов и интеллектуальных потребностей, что позволило мне потом, без высшего образования, в котором мне в дальнейшем, по моему социальному происхождению, было отказано, собственными силами и усилиями подняться на какой-то, доступный мне, уровень культуры и мысли.

Итак, о «друзе».

Писать об этом теперь, с вершины жизни, и легко и трудно. Легко потому, что она вся на виду, как друза горного хрусталя, со всеми ее и крупными и мелкими кристаллами, трудно — потому что во всем этом нужно разобраться и отделить бытовую мелочь от главного, что определяет дальнейшие судьбы человека и пути его развития.

На это толкает меня и сама жизнь, и ее требования.

Много позже, в дни моего 75-летия, я получил большое и откровенное письмо от подростков, воспитанников трудовой колонии. Осознавая теперь свои былые ошибки, они хотят «взвесить свою прошлую жизнь и, выйдя на волю, начать жить сначала» и в то же время признают, что «мы многому не верим, что внушают нам учителя и воспитатели, нам кажется, что нам туманят головы».

И вот после таких признаний они обращаются ко мне:

«Вы прожили трудную долгую жизнь, захватили

жизнь и при царской власти. Как Вам удалось и что Вам помогло не потерять себя в жизни, а стать человеком, да еще каким известным писателем? Если сможете, Григорий Александрович, то, пожалуйста, ответьте, как же все-таки выйти на правильный путь жизни?

С уважением к Вам» — 16 подписей.

Вопрос трогательный в своей интимности и в то же время наивный — ведь жизнь-то была другая, совсем-совсем другая — и общая и моя личная,— и я не знаю, в какой степени она может быть поучительной для современного поколения. Но в конце концов все поучительно, было бы желание учиться.

Так я примерно и сказал своим юным друзьям — и об ошибках своих и их преодолении, о формировании характера и вообще о кристаллизации. Было, конечно, по-разному: были и глупости, были ошибки и были соблазны, обыкновенные ребячьи соблазны.

Я, например, не курю, но не по святости, а потому, что накурился один раз на всю жизнь. Было это так.

Я жил на частной квартире вместе с тремя другими подобными мне ребятами. И однажды — мне тогда было 11—12 лет — мы, четыре друга, решили курить. Ну, курить так курить. Я купил пачку папирос, как сейчас помню — «Трезвон», и закурил, сжигая одну папиросу за другой. Получилось отравление; я потерял сознание, меня рвало, меня отливали водой — и все, с курением было покончено на всю жизнь.

Я, можно сказать, не пью, если не считать двух рюмок в каких-то торжественных случаях. Но с этим дело было сложнее.

В народе живет правило: о мертвых плохо не говорят. Об отце тем более. Но ради благой цели я это правило нарушу. Пусть он простит меня.

Отец мой, рано овдовев, второй раз не женился, и его личная жизнь пошла кувырком — он стал все больше и больше пить и по поводам и без оных.

Все это сначала огорчало меня, потом возмущало и вызывало протесты и все больше и больше обострявшиеся и углублявшиеся, переходившие на другую, уже идейную почву конфликты. Нет, за это я не мог быть благодарен отцу. А из своего дальнейшего (уже писательского) опыта я заметил, что эта зараза действует двояко: одних она

затягивает, других отталкивает, и я счастлив, что на меня это подействовало именно так — мне становится от всего хмельного в конце концов так противно, что я с трудом переношу сам сивушный запах.

Ну, а уж если я не пощадил отца, не пощажу и себя: был грех, я украл у него пять рублей, я их сейчас помню — маленький золотой кружочек чуть побольше теперешней «двушки» (дело было давно, до революции, и наряду с бумажными тогда ходили и золотые). Было мне тогда лет пятнадцать-шестнадцать. Как это получилось, я и сам в точности объяснить не могу. Ну конечно, соблазны, желание шикнуть, блеснуть, прокатиться на извозчике-«лихаче» с дутыми резиновыми шинами, сходить лишний раз в кино (по-тогдашнему: синематограф), взять билеты в театр, обязательно в первый ряд, угостить девочек. В общем — чепуха. А деньгами отец меня не баловал, давал на завтраки, на баню и еще кое-что по мелочи, и потерянный перочинный ножичек или разорванные штаны я переживал как трагедию. И мне, кстати сказать, рано пришлось давать уроки вплоть до начальника полицейской части, которому, видите ли, нужно было сдавать геометрию для получения очередного чина.

И вот захотелось шикнуть по-большому. Обычные ребячьи бредни.

Но главное было не в этом. Главное в том, что отец заметил пропажу и спросил меня:

— Ты не брал у меня деньги?

— Нет, что ты! — ответил я с захолонувшим сердцем.

Отец ничего не сказал на это. Он только посмотрел мне прямо в глаза и отвернулся. И я до сих пор помню и этот поворот головы, и этот взгляд.

И еще раз я запомнил такой взгляд, когда, при переходе в какой-то класс, получил переэкзаменовку на осень по злосчастной латыни с ее Титом Ливием, будь он неладен, и, забыв об этом, радостный приехал домой, радостный оттого, что кончился год и я опять в своей Городне. Но когда я, вспомнив, признался в этой переэкзаменовке, отец опять посмотрел на меня и опять ничего не сказал. И эти безмолвные взгляды его я помню лучше, чем те два подзатыльника, которые я получил от него когда-то. За это я благодарен ему.

Я благодарен ему за то, что он не сделал меня барчуком, за то, что он не сделал меня потомственным поповичем и, вместо своего «ведомственного» духовного учили-

ща, отдал в светскую «казенную» гимназию. Я благодарен ему за то, что он никогда не натаскивал меня в «божественных» вопросах, за то, что привил мне широту взгляда и способность мыслить. «А почему ты так легко соглашаешься со мной? — подзадоривал он меня в наших разговорах.— Ты спорь, спорь!» Я благодарен ему за разные мудрые сентенции то из Некрасова («Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано»), то из священного писания («Если ты будешь не горяч и не холоден, а тёпел — изрину тебя из уст моих»).

Из украденных пяти рублей я прокутил рубля полтора, не больше, на остальные накупил книг.

Теперь о книгах и о всем прочем, что, как теперь представляется, и помогло мне «не потерять себя в жизни». Если сказать обобщенно, это интересы, духовные интересы, которые, постепенно углубляясь, приглушали и не давали развиваться разного рода соблазнам и низменным склонностям, присущим человеческой натуре.

Я не хочу впадать в преувеличения и приукрашивать себя, было, конечно, разное — и удовольствия и развлечения, были танцы — и вальс и огненная мазурка, которым обучал нас стройный, и «кавалеристый», и даже «ухажористый», как мы о нем говорили, старичок, был Нат Пинкертон и Ник Картер, «гений» американского детектива, был городской сад с военным оркестром и разношерстной гуляющей публикой, и, конечно, были гимназистки, предмет тайных, хотя и не очень ясных мечтаний.

Но внутри всей этой гущи, а то и шелухи жизни продолжали расти те основные, определяющие «кристаллы», которые завершали формирование «друзы» — накапливание знаний, возникновение проблем, диктуемых возрастом, жизнью и временем, и какие-то попытки их самостоятельных решений и поисков жизненных путей.

Нет, я никак не думал тогда о писательстве, хотя скрытые ростки этого греха прорывались сами собой. Для рукописного ученического журнала я написал, например, рассказ «Муха» — о чем, не знаю и, кроме заглавия, ничего не помню. Знаю только, что среди гимназисток мои акции тогда основательно поднялись. А среди товарищей, даже из других классов, они поднялись из-за моих сочинений, и классных, и особенно домашних, на вольные, свободно выбранные темы, которые любил нам задавать наш учитель литературы Н. С. Семеновский. Из этих со-

чинений мне запомнились два, в которые я действительно, как помнится, вложил много пыла души. Одно из них на тему: «Западничество и славянофильство, как выражение русского самосознания». Получилось оно у меня — это видно из самого заглавия — не в меру углубленным и большим — на двух сшитых вместе тетрадях, и, когда Николай Семенович, после проверки, раздал эти сочинения в классе, он сказал:

— За это сочинение я мог бы поставить пять с плюсом. Но сейчас идет война (это была еще первая империалистическая война), керосина нет, и такие большие сочинения читать трудно. Поэтому плюс я снимаю и оставляю просто пять.

Второе сочинение было тоже на непомерно широкую, вытекавшую из тогдашнего круга моего чтения тему: «Личность (не то «человек», сейчас уже не помню) у Достоевского, Ницше и Горького».

Это было в 7—8-м классе, то есть в 1916—1917 году.

А вот так называемая общая в 132 страницы тетрадь в потрепанном от времени коленкоровом переплете. На титульном листе ее начертано: «Полное собрание сочинений Г. А. Покровского. Том первый». (А поверх этого — позднейшая ироническая надпись карандашом: «А вы говорите!») На обратной стороне листа оглавление: 1. «Не все коту масленица», пиеса в 5 действиях (еще с «ятем»); 2. «Принял гостей», комедия; 3. «Тише едешь, дальше будешь», тоже комедия, и 4. (самому не верится!). «1812 год», пиеса тоже в 5 действиях с Кутузовым («А будут они у меня лошадиное мясо есть!»), Бородинской битвой, столетие которой только что было отпраздновано всей Россией, и с Наполеоном, тщетно ожидающим на Поклонной горе депутацию с ключами от Москвы. Датировано все это 1913 годом, то есть когда мне было 14 лет от роду.

А вы говорите!

А потом я купил на толкучке, у знакомого букиниста, иллюстрированный журнал «Нива» за 1904 год и на этой основе хотел писать тоже пиесу о русско-японской войне.

Чистейшее нахальство!

Но ни о каком писательстве как профессии или жизненной перспективе, повторяю, я тогда не думал. и получалось это у меня «просто так», само собой, как игра. Время от времени вскипало, видимо, что-то в душе и искало выхода куда-то наружу, в мир, в жизнь.

А вообще-то я жил и рос, как теперь вижу, и вширь и вглубь, интересуясь и впитывая в себя и то, и другое, и третье. Я любил астрономию, составил для себя таблицу максимума и минимума солнечных пятен, неплохо, помню, изучил карту звездного неба, выпущенную под редакцией нашего директора С. В. Щербакова, и привил эту любовь к звездам своей младшей сестре Ирине, а по «Определителю цветов» Маевского разбирался в многоцветии наших городенских лугов. На камушках, рассеянных по берегам нашей речушки, я находил отпечатки каких-то древнейших из древних ракушек, а по двухтомной «Истории Земли» Неймайера, бывшей в библиотеке моего отца, изучал историю и жизнь нашего «шарика». До сих пор помню приведенные там яркие описания извержения вулкана Кракатау в Индонезии и возникновения среди моря, у берегов Италии, Монте Нуово, что значит — Новая Гора.

Шахмагонов — это некто вроде московского Шанявского — в своем «частном» реальном училище организовал народный университет с очень широкой и интересной программой. Там я слушал лекции об античном искусстве, по русской истории и по древнерусскому языку, от преподавателя которого получил в подарок его книгу «Дело об убийстве царевича Димитрия».

На толкучке я сдружился с букинистом, довольно интересным человеком, любителем и знатоком книг, и был его постоянным покупателем. У него я купил и «Жизнь растения» Тимирязева, и Ницше — «Так говорит Заратустра» и «По ту сторону добра и зла», и собрание сочинений Дарвина с «Происхождением видов», «Происхождением человека», с дополнительной статьей «Мое мировоззрение», и многое-многое другое. Вот передо мной лежит небольшая — «для иностранных слов» — тетрадочка с вензелем «Г. П.» и в ней каталог моей библиотеки того времени с таким пестрым букетом заглавий, как «Жизнь Иисуса» и «Антихрист» Ренана, как «Записки Екатерины II» и «Записки Сен-Симона», Лев Толстой «О жизни» и Маркс «Либералы у власти», Фламмарион «Популярная астрономия» и Каутский «Экономическое учение К. Маркса», Кареев «Письма к учащейся молодежи», Бюхнер «Сила и материя», Густав Леббон «Психология народов и масс», М. Бакунин «Бог и государство», П. Лавров «Исторические письма» и так далее и тому подобное.

Что это? Поверхностность? Непостоянство? Разбросанность? Может быть. Но в этом не было другого греха, куда более тяжкого,— лености духа. Наоборот, в этом была неутолимая жажда души, стремящейся охватить и впитать в себя все, из чего потом что-то когда-то получится. Это была работа впрок, для себя, рост «друзы».

Так я понимаю себя тех дней с вершин нашего и моего теперешнего времени.

Это была как бы смутная, если употребить астрономическую аналогию, психологическая туманность, из которой постепенно как-то и почему-то вырисовывалось и формировалось некое уже явно идейное ядро. Это — вопросы религии.

Как и почему так получилось — я, при всех своих аналитических усилиях, в точности сказать не могу. Очевидно, и здесь сказывались какие-то процессы кристаллизации.

Я уже говорил, что отец никак и никогда не натаскивал ни меня, ни моих сестер ни на какие «божественные» темы. Тем более ничего подобного я не видел от покойной мамы. И сначала, в раннем детстве, колокольный звон, церковная служба и зажженная по праздникам зеленая лампадка перед киотом с двумя иконами (голова Христа в терновом венце и фамильное, сделанное по специальному заказу изображение святых Александра и Александры) — все это, повторяю, сначала воспринималось как нечто обыденное, как деталь сложившегося быта! И я никак не могу понять ту странную для самого меня вспышку религиозной экзальтированности, которая захватила меня где-то около тринадцати-четырнадцати лет.

В Калуге была своя, особо чтимая часовня, почти круглосуточно открытая для моления и поклонения. И я на какое-то время стал постоянным и усердным ее посетителем, особенно, конечно, в пору экзаменов. Почему?— не знаю. Очевидно, сказались и прорвались какие-то биологические и психологические процессы возраста — почти неизбежные для него устремления к чему-то светлому, к высшему, к идеалу, не знаю. Или классические строки Державина, поразившие глубиной мое начавшее формироваться сознание:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог.

Впрочем, может быть, и эти, действительно величественные, строки прошли бы мимо меня, если бы не одна случайная встреча с немного чудаковатой, но умной старухой пророческого склада, которая подняла их чуть ли не на предельную высоту человеческой мысли, и если бы не ее не по возрасту живые, даже горячие глаза и назидательный узловатый палец:

— Удивляйся, восхищайся и благоговей!

Это, может быть, и было толчком для той кратковременной вспышки религиозной экзальтации, которая охватила меня тогда на какое-то время. Потом так же сразу как началось, так и кончилось.

Вероятно, тут тоже сказались какие-то, уже новые кризисные моменты возраста, связанные с неизбежной и обязательной для внутреннего роста переоценкой ценностей.

Может быть, это было обостренное восприятие контрастностей жизни, так ранящих молодую душу и в то же время пробуждающих и обостряющих мысль. Ведь я близко, слишком близко видел оборотную сторону религии, ее фальшивую мишуру и внутреннюю ложь, и чувство совести и справедливости, неизменно тоже живущее в юных сердцах, не позволяло, видимо, с этим мириться.

Торжественность пасхальной ночи, крестный ход вокруг церкви с зажженными свечами, таинственно мерцающими во тьме, и артистически радостный возглас отца перед закрытыми церковными дверями «Христос воскресе!»,— и многоголосый ответный хор верующих «Воистину воскресе!», и точно по мановению свыше открывающиеся двери церкви, олицетворяющие какое-то обновление души и жизни,— и то, как все это потом оборачивается в так называемом хождении по приходу: еле держащийся на ногах, оплывший от обильных угощений, лохматый попик, перевернутая вверх ногами икона божьей матери и валяющийся под крыльцом в стельку пьяный «крестоносец» — все, что с поразительной точностью изображено в знаменитой картине Перова и что так живо напоминает мне знакомые картины нашей «приходской» былой жизни. Все это составляло ту контрастность, из которой вырастал протест. Это — первое.

А может быть — война, еще «та», полузабытая теперь война четырнадцатого года. Она была далеко, но добралась и сюда, на мирное городенское кладбище, где хоронили солдата, который пришел после ранения домой и

умер от этого ранения в своей избе, на своей лавке, под своею божницей. И над его могилой кричала и причитала теперь жена, охватившая руками двух своих малых детей. Я все это видел и слышал и спросил себя и господа бога, который тоже все это должен был видеть: как он допустил, он, которого называют всемудрым, всеблагим и всесильным? Зачем? Почему?

Вопрос детский до наивности, но, видимо, глубинный, как вера в этого самого, ответственного за судьбы мира, бога. Так, у Альберта Швейцера я вычитал, что такие настроения широко распространились в народе после грандиозного землетрясения 1755 года, стершего с лица земли весь Лиссабон. Даже у Канта, по его утверждению, возникали подобные сомнения.

Возникли они и у меня. «Самодержец мира, ты не прав!» — сказал я тогда себе словами очень популярного в те годы стихотворения Мережковского «Саккья-Муни».

Это уже было началом роста, зарождением мысли.

Рост этот питала и сама эпоха, все переживаемое тогда время — война 1914 года, долгая, трудная и оскорбительная, с поражениями, изменами и предательствами даже со стороны самого военного министра Сухомлинова, с гнилью и зловонием распутинской клоаки, с убийством этого Распутина и циничным оплакиванием его царицей, с бесконечной министерской чехардой и вызываемой всем этим тревогой за судьбы страны. «Горемыкали мы прежде, горемыкаем теперь» — так ответило народное остроумие на повторное назначение председателем совета министров древнего и обесславившего себя старца Горемыкина.

«Что это? Глупость или измена?» — эти слова, прозвучавшие с трибуны Государственной думы тревожным набатом, отзывались в сердце и заставляли думать и думать. Это было преддверие революции, Февральской революции, народной революции, сковырнувшей труп самодержавия, как болячку, и ставшей предвестием революции Октябрьской.

Ну и конечно — литература, наша великая, бессмертная, русская литература.

Откровенно сказать, меня удивляет и даже тревожит поверхностное, а то и пренебрежительное отношение к ней со стороны какой-то части современной молодежи: «А зачем это нам?»... Зачем Базаров? Зачем Раскольни-

ков или Иван Карамазов? Зачем Достоевский? Зачем Толстой или Чехов? А эти гиганты ставили вопросы, на которых росло и народное и революционное, даже партийное сознание и которые не все еще решены и в наши дни.

А тогда ведь не было радио, телевидения, не было футбола и хоккея, главной нашей утехой была книга, и мы, юноши того времени, учились на ней мысли и углубленному пониманию жизни — и смысла нашего существования, и патриотизму, и любви к правде, и ненависти к злу и лжи жизни, и вообще всей гамме высоких человеческих чувств.

А для меня это имело и свое особое значение. Представим жизнь, которая официально зиждется на религии, на этом всемудром и всеблагом боге: он, бог, идея бога, утверждает и освящает и царя, и Распутина, и войну, и убитого отца двух детей, и все прочие мерзости жизни,— и всему этому служит мой отец.

И вот в «Воскресении» Льва Толстого, в его описании богослужения, я читаю разоблачение того, что я видел в натуре, его показную сторону, мишуру и фальшь.

Или: «Я не бога не принимаю, я мира им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Это Достоевский, Иван Карамазов. И вот в желтой, уже обтрепанной теперь, но каким-то чудом через полстолетие сохранившейся записной книжечке тех лет я читаю сейчас свою запись:

«Ну, а если ты сознаешь, что этот «всемудрый» и «всеблагий» есть только твоя фантазия, камень, за который ты прячешь свою голову? Если ты, веря, или желая верить в эту иллюзию, знаешь, что это ложь, выдумка, опять тот же проклятый камень? Тогда-то как же?»

А если ты читаешь к тому же купленную у твоего приятеля букиниста книгу Ренана «Апостолы», то вся евангельская мифология начинает трещать и шататься, а за нею и все, что на ней построено.

И я делаю об этом доклад на нашем тайном ученическом кружке: «Есть ли бог?»

Первым ощутимым результатом этого доклада было то, что одна маленькая, как милый, очаровательный воробушек, гимназисточка из Тарусы сначала набросилась на меня, доказывая, что все это чушь, чепуха и что я все это где-то у кого-то «содрал», затем, видимо влюбившись в меня, подарила мне свою фотокарточку, а потом, сра-

зу же по окончании гимназии, вышла замуж за кого-то другого, своего, тарусского.

А в результате всех своих сомнений, аргументов и контраргументов я кидаю прямой вызов небу: беру в одну руку икону, в другую — топор и раскалываю икону пополам. Про всякий случай я закрываю глаза в ожидании грома небесного, но... небо молчало, и, как в свое время с табаком, так теперь с богом у меня было покончено раз и навсегда.

Забегая вперед, я скажу, что над этой, своей, кровной темой я продолжал работать и дальше много лет. Сначала, уже после Октября, она получила другое название: «Человек или божество?» — и эмблему — гора Голгофа, на которой когда-то был распят Христос, над нею пятиконечная звезда, из нее молния ударяет в стоящий на Голгофе крест, он падает, и на его место водворяется красное знамя. А еще через несколько лет на эту тему появилась сначала рукопись, а потом книга, моя первая книга «Буржуазия и религия», изданная в издательстве «Атеист» в 1928 году.

А рассказываю я эту историю, чтобы со всей возможной искренностью ответить на столь же искренний вопрос тех «шестнадцати» продирающихся сквозь тернии жизни ребячьих душ: «Что помогло вам не терять себя в жизни?»

Отвечаю: три «И» — интересы, идеи и идеалы. Не «выпить и закусить», не «провести время», а нечто другое, более высокое и благородное, достойное человека, духовное. Это мне хочется сказать, кстати, и вообще нашему молодому незнакомому «племени» словами замечательного педагога В. А. Сухомлинского: «Пустая душа подростка — это большая беда». Но у каждого поколения есть свои проблемы, свои задачи, которые оно призвано решать, и решать «на высоком уровне», на уровне своего века. А это поможет, всегда поможет и каждому «не потерять себя в жизни».

Помните, как сказано у Герцена: «По мере расширения интересов уменьшается сосредоточенность около своей личности, а с нею и ядовитая жгучесть страстей».

И все это зависит от того, как смотреть на человека и что в нем — и, следовательно, в себе — видеть.

Человек не губка. Если губку опустить в воду, она впитывает воду, если опустить в керосин, она впитает керосин. Но человек — творящее начало. Порождение сле-

пой природы, он внес в нее и силу познания, и чистоту понятий чести и совести, и при желании и при каких-то усилиях он может и должен облагородить и одухотворить и свою собственную жизнь, даже победить в ней «керосин».

Как великолепно сказал тот же В. А. Сухомлинский: «Моральный облик человека, перед которым открываются горизонты жизни, зависит от того, каким вышел он от встречи со злом».

Так росла «друза». Хотя расти она продолжала всю жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

«Начало неведомого века» — так назвал это время Паустовский.

«Острый воздух революционной зимы кружил голову... Туманная романтика бушевала в наших сердцах... Вера во всенародное счастье горела непотухающей зарей над всклокоченной жизнью. Оно должно было непременно прийти, это всенародное счастье. Нам наивно казалось, что порукой этому было наше желание стать его устроителями и свидетелями».

Скажу прямо, положа руку на сердце: я переживал это время совсем по-другому, по-своему.

Новая квартира, на которую я, теперь уже по указанию директора, был определен, находилась в двух шагах от гимназии. Из ее окна была видна стрелка, на которой при схождении двух больших улиц — Никитской и, кажется, Никольской — и стояла наша гимназия. Теперь там Педагогический институт. Жили мы на этой квартире с моим одноклассником Петром Луневским, чернобровым, очень красивым и талантливым парнем с широкими и разносторонними интересами. Он писал неплохие, как мне помнится, стихи и в то же время любил физику и был у Сергея Васильевича Щербакова чем-то вроде лаборанта. Победила в нем, видимо, физика, потому что уже совсем на склоне лет я случайно увидел на Ваганьковском кладбище мраморное надгробие: «Доктор технических

наук Петр Дмитриевич Луневский». Какого-то совпадения я не допускаю — это был он, мой гимназический товарищ. Пухом ему земля!

Многое, конечно, забылось из нашей жизни, но одно воспоминание связало меня с ним навечно.

Из-за войны гимназия наша была занята под госпиталь, и занимались мы в помещении женской гимназии во вторую смену, следовательно, уроки делали с утра, в первую смену. И вот сидим мы как-то за своими учебниками, готовимся идти на занятия и вдруг видим в окно, как по улице идет большая колонна людей с красным знаменем. Дойдя до стрелки, они остановились возле нашей гимназии, и было видно, что кто-то что-то говорит.

Все стало ясно. Случилось то, что все мы предчувствовали и ждали,— это носилось в воздухе, об этом говорил самый вид газет: статьи и речи депутатов в Государственной думе набирались в их первоначальном виде, а потом, перед сдачей в печать, все шло в цензуру, она поступала так, что глупей не придумаешь: не запрещая все, она вынимала из текста наиболее, с ее точки зрения, крамольные места, и газета выходила с «окнами». Сначала их было немного, потом, по мере обострения положения, все больше и больше, и в конце концов газета приобретала уже совершенно курьезный вид: «окно», за ним — клетка ничего не значащего текста, еще «окно» и еще, целыми колонками, которые каждый, естественно, пытался истолковать по-своему.

Но все тайное становится явным, и вот появляются полные, переходящие из рук в руки, тексты речей депутатов Государственной думы, таких, как Милюков, Гучков, Шингарев, Шульгин, и вместе с ними все сильнее нарастает встревоживший всю Россию вопрос: что это — глупость или измена? Все это создавало настроения тревоги и ожидания: что-то должно произойти. И вот — произошло.

Все это мы, с моим другом Луневским, поняли без слов, с полувзгляда, и, забыв об уроках, бросились на улицу, застали конец митинга и пошли, конечно, со всей колонной, тронувшейся дальше по Московской улице, к вокзалу.

Свержение самодержавия, трехсотлетней династии, рубеж, без которого не было бы и последующего... Да! Без Февраля не было бы и Октября.

Мы шагали в колонне — «Смело, товарищи, в но-

гу»,— еще не понимая как следует, что это и есть та самая Свобода, о чем мы — да, и мы, мальчишки! — тоже по-своему мечтали, как о чем-то солнечном, святом и возвышенном, хотя и не совсем ясном. И вот она в своей конкретности, даже обыденности — идут люди по рыхлому, по весеннему снегу, и поют, и несут красное знамя, о котором вчера нельзя было и думать. И тут мне бросилось в глаза, что знамя, под которым мы шли и пели,— я заметил это по оборванной золотистой бахроме — сделано из нашего русского государственного флага, трехцветного: красное, белое, синее. Из этих трех чьи-то решительные руки оставили только одно полотнище, красное, отбросив остальные два.

Да, это была революция! Но все я понял позднее, через несколько месяцев, когда вопрос о полотнищах и стоящих за ними понятиях стал центральным в жизни народа. А пока... Что еще нужно гимназисту? Отмена формы — ура! Отмена экзаменов, и переводных и даже выпускных, а наш класс выпускной,— ура! Вот это революция! Ура! Ура! Ура! Свобода и справедливость.

И даже когда случилось так, что ты «пострадал» от этой революции, потому что начальник полицейской части, постигавший неделю назад под твоим руководством премудрости геометрии, оказался вдруг в тюрьме, оставшись должным тебе за целый месяц — двадцать пять рублей на те, царские деньги. И тогда по указанию того Семена Макаровича Пшенай-Северина, у которого ты когда-то жил, на правах родственника, на квартире и который теперь стал членом городской управы в Калуге,— и тогда, повторяю, по его указанию, ты был допущен в тюрьму, и когда-то блестящий, франтоватый, а теперь грязный и небритый начальник полиции отдал тебе эти несчастные двадцать пять рублей. Вот это революция!

И наконец, еще один лик революции сохранила мне память от тех давних лет: это — Первое мая, нет, не потаенная маевка, а настоящее, полнокровное, полнонародное первое Первое мая.

На самой окраине тогдашней Калуги находилось кладбище, где, кстати сказать, похоронена моя мама, там же была большая площадь, вернее, даже не площадь, а пустырь, ничем не заполненный, никак не оформленный,— просто пустырь. И этот пустырь в это Первое мая оказался местом небывалого и, вероятно, неповторимого теперь всенародного митинга. В разных углах его были

устроены трибуны разных партий, произносились разные речи и свободно ходили люди, разные люди — рабочие, солдаты, с пышными красными бантами на груди, просто публика,— ходили, прислушиваясь к тому, что говорят здесь и что говорят там, и выбирая, что кому по душе.

Незабываемое зрелище, незабываемое время, душа нараспашку, о котором мудро сказал тот же Паустовский:

«За несколько месяцев Россия выговорила все, о чем молчала целые столетия».

А тогда этот разговор продолжался все лето на волостных мужицких, чуть не каждую неделю, сходках, где бывшие подданные, теперь граждане российского государства по-есенински обсуживали «жись» и с той, и с другой, и с третьей стороны. И я, ничего не понимая и ни в чем по-настоящему не разбираясь, ушел в эту митинговую стихию, барахтаясь в ее пьянящих волнах. На перевернутую бочку или ящик лез каждый, кто хотел и с чем хотел, и каждого слушали или не слушали, стаскивая с этой самодельной трибуны. Стащили один раз и меня, когда я со всей горячностью ничего не понимающего щенка ввязался во всероссийский, все разгоравшийся спор о войне. Мне было так и сказано в глаза: «Куда ты, щенок, лезешь?» Сказал это постоянный участник всех митингов и волостных сходов Егорка Фуфыгин, страстный спорщик и говорун, с которым через год мне пришлось столкнуться совсем при иных обстоятельствах. Он выступал на всех собраниях и митингах и всегда спорил то с одним, то с другим, то по одному, то по другому вопросу.

А вопросов, по сути, было два: о земле — социализации или национализации — и о войне. О земле его постоянным оппонентом был тоже завсегдатай всех митингов и сходок богатый мужик лет пятидесяти, Николай Андрияныч Андриянов, говоривший наставительно, но мудрено и путано, пересыпавший свою речь ничего не значащими словами и оборотами типа — «тем не менее, однако», «то-другое, пятое-десятое», «все решительно и так далее».

Но главным и все более обострявшимся вопросом из этих двух была все-таки война. В деревнях, то тут, то там, стали появляться фронтовики, привозившие с собою оружие, винтовки разных марок и государств. Две винтовки — японская, кажется, и австрийская — появились каким-то образом даже и у нас, и с ними я выходил на

охрану нашего раскинувшегося по краю оврага большого сада. Стрелять мне из них не приходилось, потому что они были без патронов, но свое впечатление они производили и на любителей полакомиться нашими яблоками, да и на меня самого, повышая от этого обладания оружием мое ребяческое самосознание.

Одним словом, путаница была невообразимая, отражавшая путаницу, начинавшуюся в жизни. И главным, центральным пунктом, вокруг которого заваривалась путаница, была, повторяю, война.

Началось это еще в гимназии, после Февральской революции, когда всеобщая, всероссийская говорильня, пришедшая на смену всеобщему настороженному молчанию предреволюционных месяцев, только еще зачиналась. В том самом шахмагоновском реальном училище, где мы раньше слушали лекции по началам геологии, астрономии и истории искусств, теперь стали проводиться беседы о том, что впоследствии стало называться «О текущем моменте», и мы, конечно, были непременными посетителями этих встреч. Хорошо помню, например, беседу, вернее, лекцию о Циммервальдской и Кинтальской конференциях и — в связи с ними — об отношении к войне, о новом, совершенно новом освещении этого вопроса, хотя почему-то без всякого упоминания о главном участнике этих конференций, о Ленине. Имя это мы — по крайней мере, я — узнали впервые из краткой газетной заметки, что в Петроград приехал Ленин. Кто такой Ленин, как и почему он вернулся, кто и как его встречал и что все вообще значило,— ничего в этой заметочке сказано не было, и имя это только постепенно стало входить потом в мое сознание, а вместе с ним и вопрос о войне, по мере развития событий, все больше и больше выдвигался на первый план — что будет с Россией? Весь смысл и мудрость ленинской мысли о превращении войны империалистической в войну гражданскую только потом, много позже, выплавившись в кровавом тигле истории, приняли характер отточенной и утвержденной жизнью формулы и в этом виде вошли в наше общественное, и в том числе в мое, сознание, а пока... А пока это мое сознание, да и не только лично мое, находилось не то что в плену — мне не хочется все-таки употреблять это унизительное слово,— а в рамках, в пределах веками выкованных нравственных понятий и ценностей: «Родина в опасности!» Начиная с древних, самых наидревнейших времен

борьбы с половцами и татарами об этом возвещали дымы и огни сторожевых башен, всегда, в самые критические годы жизни народной, в годы Минина и Пожарского, в годы Кутузова — всегда в критические годы — народ поднимался, «как Бова, силач заколдованный»,— это при крепостном праве, при барщине, при кнутобойном, беспросветном житье, при царях — самодержцах и кровопийцах. И вдруг теперь, когда свергли царя и всю царскую трехсотлетнюю династию, этот народ бежит с фронта, несет с собой и прячет под застрехами винтовки, и над страною, над этим самым народом, только что совершившим великий исторический подвиг, нависает бронированный немецкий кулак.

Нет, все это нужно было выстрадать, пережить и выстрадать, чтобы понять, и принять, и уложить в своей душе и сердце.

Нужно было быть действительно гением, чтобы все это понять, на все это решиться и взять всю судьбу народа на себя, на свою душу и на свою совесть.

А какие гении в затерявшейся среди лесов и оврагов Пятнице-Городне? И мы с отцом в этой самой Городне тяжело переживали все перипетии этого предгрозового лета — и распад армии, и ожидание и неудачу нашего наступления 18 июня, и так называемое «демократическое совещание», и даже попытку корниловского переворота.

Но никакой контрреволюции мы во всем этом не видели. Мы видели в этом только одно: стремление каких-то, по нашему мнению, очень честных, действительно патриотических, сил восстановить армию, спасти положение и предотвратить нависшую над Россией катастрофу. Одним словом: «Отечество в опасности!»

Вот почему я в тех своих настроениях все-таки не вижу большого греха. А если он был, то это был «грех» неведения. ...Ах, если бы можно было предвидеть будущее!

Гимназию я окончил с серебряной медалью (подвела все та же, будь она неладна, латынь), а она тоже давала право на поступление в университет без экзамена. Отец прочил меня на медицинский факультет и на карьеру земского врача, но я выбрал историко-филологический.

— Это ближе к человеку.

— Но быть врачом — куда уж ближе.

— Это в другом смысле,— ответил я.

Отец не умел или не любил настаивать, а меня уже, видимо, неодолимо манило мое будущее. Но жизнь повернула меня по-своему.

Я помню, как собирал меня отец в Москву, как упаковывал мои вещи в большой и вместительный, гармошкой складывающийся чемодан — белье, пальто и все прочее обмундирование. Другим местом была тоже большая, плетеная корзина, полная домашних пирогов и лепешек,— с питанием в Москве становилось туго. Оба места отец, провожая меня, сдал в багаж и наказал мне проследить их ход через предстоящие пересадки. Я все так и сделал и на последней пересадке, на станции Тихонова Пустынь — теперь Лев Толстой,— я ясно видел и свою корзину и чемодан, но в Москве ничего этого не оказалось. Начались розыски, которые ничего, конечно, не дали. Вернее, корзина с лепешками через несколько дней пришла, а чемодан со всем своим содержимым пропал бесследно. Были обещания и ожидания, а время шло.

Одним словом, перед лицом наступающей осени я остался гол как сокол. Сначала я, под влиянием успокаивающих обещаний железнодорожных властей, постигшую меня беду от отца скрывал, но наконец вынужден был написать. В ответ получил полное растерянности письмо, потому что дело было не в деньгих, а в вещах, в одежде, их нужно было не только покупать, но и шить, а со всем этим тоже становилось туго — начиналась предреволюционная разруха. А тем временем осень, холода, дожди, я простудился и, получив от отца соответствующий наказ, поехал домой, по пути еще больше простыл и приехал с тяжелым сухим плевритом, следы которого до сих пор обнаруживает изобретение господина Рентгена. А пока я болел, в Петрограде, затем в Москве, а по сути дела во всем мире произошли великие события, и отец меня в Москву больше не пустил, сначала «пока», потому что он, а за ним и я были уверены, что скоро, вот-вот, соберется Учредительное собрание, избранное всенародным и тайным голосованием, и все решится, повернется и станет на свои места.

Это был второй, вслед за вопросом о войне, пункт, потрясший меня. Я вырос на книжках, возвышенных, но отвлеченных, а может быть, наоборот, отвлеченных, но возвышенных мечтах и представлениях о демократии в ее

лингвистическом смысле и в ее неразделимом единстве с революцией.

Я любил, очень любил Горького — «Пусть сильнее грянет буря!» — это та самая туманящая голову возвышенность. Но почему-то с таким же интересом я читал и надуманную, идущую сплошь от головы символику Леонида Андреева — «Жизнь человека», «Анатэму» и особенно «Царь-Голод»: пир богачей во дворце, за окнами которого мчатся клубы дыма, и мятущиеся в этом дыму полутени рабочих — «Ночь великого бунта», и бесстрастно взирающая на все это «Смерть», и бородатое «Время», отбивающее на своей колокольне медные шаги Истории — «Все падает, все рушится и все родится вновь». И вот на место этого — реальность Семнадцатого года.

Все перевернулось в голове и все смешалось.

А тут вдруг случилось происшествие, и, как говорится, под самым носом. Во время оно не на общем кладбище, а возле самой церкви, ближе к богу, хоронили каких-то именитых особ. И среди этих могил особо выделялся богатый, черного мрамора, памятник с золотой, полустершейся надписью, которая гласила, что здесь, под ним, похоронен какой-то имярек генерал с пожеланием ему царствия небесного. Исстари стоял этот памятник в неприкосновенности, только мы, ребятня, пользовались, бывало, им, как укрытием, в любимой нами игре в «палочку-выручалочку». И вдруг теперь, в расчете, видимо, на скрытые в генеральской могиле богатства, кто-то, алчный, в темноте осенней ночи вскрыл ее и, конечно, исчез, оставив развороченную землю.

Отца потрясло это святотатственное дело.

— Началось! — удрученно проговорил он.

Потом кто-то принес слышанную на базаре фразу: «По совести жить теперича, пожалуй, сдохнешь», и это родило у него формулу, которая сопровождала его, как мне кажется, до конца дней:

— Жизнь разваливается!

Одним словом, все оказалось куда более серьезным, чем представлялось, и отец решил:

— Оставайся-ка ты, милый мой, дома. Будем постигать мудрость истории.

А потом, подумав, добавил:

— Если она есть.

И я остался.

Это было, кажется, самое тягостное время моей жизни. Легко сказать — «постигать мудрость истории», даже при учете скрытой иронии этих слов. Но пережить ее, эту «мудрость», в хаосе событий, в сумятице чувств, идей, понятий, в полной жизненной бесперспективности и в полном почти одиночестве, под шум облысевшего, облетевшего леса, под вой ветра с дождем, потом со снегом, с визгом и разбойными посвистами,— да, тяжелее этого времени я не помню в своей жизни.

Выйдешь, бывало, ночью на улицу, и тебя охватит жуть. Раньше здесь, говорят, водились волки, воровавшие собак прямо с крыльца. Сейчас — никого, ни луны, ни звезды, сплошная безглазая тьма, только невидимый в этой темени лес даже не шумит уже, а стонет, зловеще, до дрожи. Лучше бы, кажется, выли волки!

И на душе такая же темень и такой же стон: что делать? Как быть? Как жить?

И я стал извозчиком.

Верстах в пяти от нас, на крупной железнодорожной станции Мятлевская, развернулось в свое время то, что можно было бы назвать иллюстрацией к ленинскому учению о развитии капитализма в России. Бойкий и оборотистый ухарь-купец, Арефьев, выходец из простых мужиков, на глазах у всех стал богатеть и нажил солидные капиталы. Кто говорил — большие тысячи, кто — целый миллион. Так или иначе, он построил громадные каменные лабазы и двухэтажный, каменный тоже дом, горделиво возвышавшийся над всем одноэтажным Мятлевом. А сын его получил уже высшее образование, стал инженером, построил маслодельный завод, завел электричество, на которое мужики, хлопая по полам полушубков, поначалу дивились; женился на дочери елецкого махорочного заводчика Заусайлова и, удвоив таким образом капитал, стал прихватывать все, что плохо лежит, в том числе и леса. Один лес он купил неподалеку от нас, а тут — революция, и, почуяв недоброе, Арефьев спешно, в одно лето, свел его и теперь, по зимнему пути, в том же темпе вывозил дрова на станцию. Наблюдал за всей этой операцией знакомый отцу лесник, который и предложил ему для меня эту работу. И вот я — извозчик; каждый день, в валенках, в черном дубленом кожухе с красной подпояской, запрягаю лошадь, сажусь в розвальни и еду в лес, забираю установленную норму дров и везу ее — вместе с другими, обозом — на Мятлевскую,

где сдаю их приемщику. И — словно нет никаких проблем и волнений, жизнь простая и естественная: «Но, серый! Но...» А серый, точно отвечая тебе, помахивает хвостом и тянет, тянет, снег скрипит под полозьями саней, а мороз привычно щиплет тебя за нос... Что еще нужно человеку?

Оказывается, нужно. Идешь за санями и думаешь. Лежишь в розвальнях, доверившись лошади, и думаешь, думаешь, все о том же, о той же самой непостижимой «мудрости истории». А в поисках ее опять обращаешься к источнику всяческой мудрости — книгам, благо их и у меня много, и в районной, вернее, тогда еще уездной библиотеке. Из помещичьих домов и усадеб книги свозились и передавались тоже в уездную библиотеку, откуда я их выкапывал, точно крыловский петух. Вот я беру заветную книжечку, чудом сохранившую следы моих «раскопок», мои поиски истины тех далеких времен. Я листаю ее, выбирая то, что бросается в глаза. Мысли вразброс.

«Философия должна управлять» (Вейтлинг).

«Давайте устраивать уже здесь на земле царство небесное» (Гейне).

«Цель развития мира есть гибель мира» (Штраус).

Моя реплика:

«Страшная истина! А ведь, в сущности, так оно и есть. Религия, бог, бессмертие — все это иллюзии, за которыми люди прячутся от этой страшной истины, чтобы жить, как страус прячет голову за камень, думая, что он теперь спасен».

«Но я не мог бы жить в мире, который был бы ничем, как чудовищной, бездушной машиной, поэтому я не могу верить, что он таков, поэтому я верю, что он есть проявление Всемудрого и Всеблагого, даже если глаза мои не могут видеть его и рассудок мой не может его постигнуть» (Паульсен).

И опять моя реплика: «Ну, а если?..»

«Так как нет ничего Абсолютного, то я сажаю с превеликим удовольствием «Химеру» на трон, приказываю ей существовать, как факту, снабжаю ее значением и возлагаю на нее надежду». (Ф л о б е р. *«Искушение святого Антония»*).

Реплика: «Вот это хорошо — Химера. Это правильно!»

«В порядке целей человек (а с ним и каждое разумное существо) *есть цель в себе самом,* т. е. никогда и никто

(даже Бог) не может пользоваться им только как средством, не делая его при этом вместе с тем и целью, что, следовательно, человечество в нашем лице должно быть для нас святым» (Кант. «Критика практического разума»).

Я не могу сказать, что все понял в этой толстой, премудрой книге, вероятно, изъятой из какой-то помещичьей усадьбы и облаченной в богатый кожаный переплет, но наиболее интересные куски и мысли из нее я тоже выписал в свою памятную книжицу.

«Две вещи наполняют душу постоянно новым и растущим восхищением и благоговением, чем чаще и дольше думаешь о них: звездное небо над нами и *моральный закон в нас*. Первый взгляд уничтожает мое тщеславие, второй бесконечно подымает мою ценность».

И опять реплика:

«Великолепная мысль! Именно моральный закон в нас. Это не что-то сухое и неподвижное вроде какого-нибудь римского права. Это не вечные каменные скрижали Моисея, не поддающиеся даже действию времени. Тогда нужно было послать к черту и закон и... законодателя. Нет — моральный закон в нас. Мы являемся законодателями, мы являемся творцами морали, и это «бесконечно подымает мою ценность», это обожествляет нас».

— Обожествляет? — переспросил отец, когда я, в запале, прочитал ему и выдержку из Канта и эту свою реплику.— Это интересно!

— Да нет, не в буквальном смысле, а...— заметив ловушку, замялся я.

— А в каком еще?.. В переносном? А ты не думаешь, милый мой, что ты идешь по кромке, по самой кромке, чуть оступился и — вверх тормашками.

— Почему?

— А потому. При чем тут каменные скрижали Моисея? А что они не поддаются действию времени — разве это неверно? Хоть вы совершите еще десять революций, это все равно останется: «Не убий», «Не укради», «Не пожелай жену ближнего твоего». Потому что без этого нельзя. Понимаешь? Нельзя! Иначе...

— Что — иначе?

— Или бог, или «все позволено». Так это, кажется, сказано у Достоевского.

— Так.

— Что ты на это скажешь?.. Что? — повторил он с каким-то даже злорадством, почувствовав мою заминку.— Не знаешь, что сказать? Да? Так тебе жизнь сама на это отвечает: все позволено и никаких богов! Помнишь? — «по совести жить, пожалуй, сдохнешь». Вот и все!

Это был у нас первый, кажется, серьезный, даже горячий разговор. Раньше мы таких вопросов, можно сказать, не касались. Я — потому что, выясняя свои отношения с богом, считал это своим личным, внутренним, может быть, даже потаенным делом, нуждающимся еще в дополнительных доказательствах и обоснованиях, а он... Я не берусь говорить за него, о внутренних ходах его мысли, могу только догадываться. Но раньше мне всегда казалось, что церковная служба для него была именно службой, а не служением, выполнением установленных, обязательных функций, и только. Но с ходом событий весь этот вопрос принял для него другой, более острый, глубокий мировоззренческий смысл — шелуха отпала, вернее даже, отброшена, и из нее проступил и вырос принцип жизни и мышления.

А я читал в это время Давида Штрауса «Жизнь Иисуса» и, вслед за ним, подвергал жестокому разгрому все евангельские сказания от Матфея до Иоанна.

— Что ты на это скажешь? — его же вопросом спросил я теперь у отца, развертывая перед ним только что вычитанную у Штрауса всю цепь его критической аргументации.

Отец ответил не сразу, и я понял, что он просто выигрывает время, обдумывая ответ, и старательно помешивал дрова в лежанке, которую мы подтапливали на ночь для тепла.

Я до сих пор люблю это занятие — топить печку, вслушиваться в потрескивание дров, смотреть то на веселую игру огня, потом на умиротворенное свечение затухающих углей, при свете которых так хорошо думается. И до сих пор с этим связывается у меня фотокопия чьей-то — не знаю — картины, которая была в нашем семейном альбоме: вечерний сумрак, скупой свет догорающей печки, а возле нее склонившаяся фигура сельской учительницы в белой блузке, дочитывающей захватившую ее, видимо, книгу. Милый образ старой русской интеллигенции!

— Да бог с ними, с евангелиями,— прервал мои мыс-

ли отец совсем другим, примирительным тоном.— Важна суть, сущность христианства. А может, и вообще религии. Ее дух и смысл. Ты говоришь, что боги — сыновья страха перед непостижимостью. Нет! Это — сыновья надежды. Это свет, озаряющий полную страхов тьму. Душевное состояние, приносящее счастье. Внутреннее счастье! Только самый последний нигилист может жить ни во что не веря. Чем жить? Как жить? Вот что такое религия! А разве притча о блудном сыне не учит, не лучше учит этому? А притча о бедном Лазаре?

Это было движение мысли, но совсем в другую сторону, чем шел я. Окончательно я понял это позднее, осенью следующего, восемнадцатого года, а пока, продолжая свои начатые еще в гимназии мысли и поиски, я никак не хотел уступать в этом вечернем нашем разговоре у городенской лежанки, а по существу своему — в эпохальном и далеко еще не оконченном споре.

Оглядываясь теперь назад, я вижу, что спор этот я вел по довольно-таки широкому — конечно, для своего времени и для своего тогдашнего уровня — фронту, от литературы до астрономии и философии, и только математика оставалась за пределами этого фронта — к ней у меня не было влечения, а может быть, и способностей.

Но, пожалуй, вершиной этих поисков была купленная у букиниста известнейшая по тому времени книга немецкого философа с пятиэтажным именем Фридрих-Карл Христиан-Людвиг Бюхнер «Сила и материя», книга, которая еще в тургеневские времена стоила ее автору у себя на родине кафедры в Тюбингенском университете. У нас она вышла только после революции 1905 года с многозначительнейшим и потому привлекшим меня предисловием, на которое, кстати сказать, обратил мое внимание тот знакомый книготорговец на калужском книжном развале, о котором я, кажется, уже упоминал:

«Ведущаяся в настоящее время борьба народа со старым режимом, борьба, которая не скоро еще окончится, хотя в окончательном ее исходе никто сомневаться не может, уже успела принести богатые плоды, и прежде всего в отношении постепенного завоевания свободы человеческой мысли. До сих пор эта книга, известная большинству читателей только понаслышке и то, главным образом, из тургеневских «Отцов и детей», не пропускалась в Россию... Теперь это замечательное произведение, затраги-

вающее самые основные вопросы философии действительности, стало, наконец, достоянием и нашей литературы.

И это едва ли не лучший подарок всем, кто желает расширить свой духовный горизонт, кто привык задумываться над вечными вопросами бытия, кто ищет руководящих естественнонаучных оснований для выработки миросозерцания».

Ну, как можно было не купить книгу с предисловием, в котором значились такие «основные вопросы философии действительности», как бессмертие силы, бессмертие материи, бесконечность материи, человек, мозг и душа, мысль, сознание, жизненная сила, личное бессмертие, свободная воля, нравственность и т. д.?

Среди этого длинного ряда «коренных проблем бытия» значилась и эта, самая, на мой взгляд, узловая — «Идея бога».

И там, после обстоятельнейшего, научно оснащенного и логически обоснованного разбора, автор дает свое решение этой проблемы, за которое я с радостью, конечно, ухватился.

«...Мы опять становимся на почву монистической или материалистической философии», и «вместе с этим отпадает вера в творческий созидающий принцип мира, и высшим из известных нам духовных принципов становится тогда человеческий разум» и то, что «не бог создает вселенную, а наоборот, верующий создает бога, и все вытекающие отсюда вредные следствия и выводы». И наконец: «Свободное же мышление, не находящееся в зависимости ни от каких авторитетов, ведет к свободе, разуму, прогрессу: оно ведет к признанию прав человека и настоящей человечности, одним словом оно ведет к *гуманизму*».

Что еще нужно было в нашем споре с отцом в то буреломное время?

У нас в одной деревне умерла женщина. В прошлом году она похоронила мужа, молодого мужика, вернувшегося с фронта. Я об этом писал раньше. Теперь умерла она сама. От нее остались двое детей — старшему 12 лет, а младшей — два года, и из родных одна только старуха, бабка.

— Зачем эта смерть? Скажи,— допытывался я у отца.— Кому она нужна? Как мог допустить ее бог, если он есть, как ты говоришь, и если он такой действительно уж всемогущий и всеблагий? Каким божественным целям

она нужна или полезна? Что ты на это скажешь? Что это за божественный, установленный богом порядок мира?

Или — в другой раз:

— Во время последнего немецкого наступления на Западном фронте — об этом писали в газетах — в решающей атаке участвовало девяносто семь дивизий, то есть около миллиона человек. Что это — безумие человечества или безумие бога, дозволяющего и терпящего эти ужасы? Насмешка бога над человеком и всеми его добрыми чувствами или насмешка человека над богом со всеми его заповедями? Что бы это ни было, но это сплошной кошмар, от которого не спасает никакая вера в бога. Наоборот, эта вера только увеличивает трагизм положения... Что ты на это скажешь?

Теперь настало время молчать отцу.

Так определялись позиции.

Между тем своей железной поступью шагало время, а вслед за ним катилась и катилась колесница истории. Проходила зима, весна, помню, очень ранняя и многоводная, наступило лето, и жизнь шла своим чередом. В декабре семнадцатого в Медынь пришла советская власть и был организован Медынский Совет народных комиссаров — да, на первых порах было и этакое. Где-то весной была принята первая Советская Конституция и, когда она докатилась до нашей Городни, отец полушутя-полусерьезно заметил на это, что теперь ее вместо отмененного «закона божия» будут изучать в школах. Ранней-ранней весной мы, сидя у костра в своих «Соснах», читаем декрет о новой орфографии без «ятя» и «твердого знака». И я так твердо усвоил этот декрет, что до сих пор не употребляю твердого знака даже в середине слова, заменяя его апострофом, по тому ленинскому декрету.

Одним словом, жизнь постепенно принимала свои новые, выражаясь по-современному, конструктивные формы.

«...Все падает, все рушится и все родится вновь».

Но вот в Сибири взбунтовались чехословацкие эшелоны и обозначился колчаковский фронт. И тогда к нам приезжает один из братьев Рябовых, длинный, усатый, похожий на карикатурного полицейского. Недавно, перед самой революцией, они, два или три брата из щед-

ринской породы «Чумазых», купили у помещика Кузьмина усадьбу со старинными и тенистыми липовыми аллеями и большим фруктовым садом. И, не успев попользоваться этим богатством, они почувствовали опасность для вложенных в это дело капиталов. Но что можно сделать один на один с надвигающейся грозой? Нужно решать вопрос о власти. А вопрос этот решался в Сибири. Значит, нужно ехать в Сибирь и становиться под колчаковское знамя «освобождения России» от большевиков. За этим он и приехал к «батюшке» посоветоваться. Звал он на это «святое дело» и меня.

Не знаю, что посоветовал отец ему самому, но мне категорически запретил даже думать об этой сибирской авантюре, и за это я ему дважды и трижды благодарен.

Совсем неожиданно возник и еще соблазн. Я получил письмо от одного моего товарища, Бориса Веснина. Это был сын генерала, упитанный, пухленький, веселый и озорной, с ним мы в гимназии сидели на одной парте. После свержения царизма он досрочно, так как наш 1899 год еще не призывался, был принят в воинскую часть, которой командовал его отец, сразу же получил офицерский чин и этим же соблазнял теперь и меня. Я ему не ответил, а позднее узнал весь его тяжкий путь: он со своей частью ушел в белую армию, вместе с ее остатками попал потом во Францию, оттуда в Африку, где воевал затем с немецкой армией Роммеля, а по окончании второй мировой войны, получив прощение и разрешение, вернулся на родину, в Калугу, и кончил там жизнь газетным киоскером.

Одним словом, в то огнедышащее время я прошел по краю пропасти и не знаю, что меня от такого пути уберегло. Мне кажется — моя «мыслительность». В то время как Николай Островский со своим Павкой Корчагиным садился на коня, а им навстречу шагал мой сосед по школьной парте, Борька Веснин, я в своем городенском одиночестве предавался размышлениям о себе, о России, о революции, о смысле жизни и истории.

«Чувство одиночества и в семье и особенно среди товарищей с самого раннего детства, сознание, что ты обречен на вечное одиночество! И в то же время горячая жажда жизни и понимания»,— этими словами Бодлера

приходится начать свою «повесть временных лет», в них выражена трагедия моей жизни».

Это была первая запись в моем дневнике того давнего сложного времени.

И дальше:

«Я одинок, как Бодлер, и в семье, и среди товарищей, и вообще в жизни... Может быть, это плод моего болезненного самолюбия, вытекающего из такой же болезненной самокритики и самоанализа. Я ведь всегда ставлю себя в положение препарата, которого исследует некто, сидящий во мне. Я анализирую каждое мое душевное движение, и всегда нахожу в нем что-либо плохое, и мучаюсь этим плохим, и не могу махнуть рукой ни на свои недостатки, ни на недостатки других».

С мучительным чувством листаю я теперь эти пожелтевшие страницы, свидетельницы и наперсницы моих былых дум, терзаний и исканий. Все это так близко, так дорого, как часть души, ступень жизни, как почка, из которой вырос «я» теперешний и «отсюда» смотрю «туда», назад, на себя тогдашнего, и вижу, как в нем зарождается, нарождается и все заполняет чернота душевного смятения. Мрак и бред.

Читать об этом, даже мне самому, теперь, не знаю, скучно или нудно, вообще очень тягостно, и в то же время больно, как от прикосновения к содранной коже: через какую сумятицу, через какое горнило сомнений пришлось пройти душе, чтобы к чему-то прийти.

Но все это было.

О себе:

«Я совсем, совсем запутался и ничего не понимаю. Я составил себе религию без бога, но в ней чего-то не хватает. Чего? — не знаю. В результате у меня нет религии и нет мировоззрения, а так жить нельзя».

О России:

«Россия-мать больна,
Россия умирает...»

О революции:

«Душа народа не изменяется и не может измениться сразу от того, что в народный организм вливается громадная доза революционной вакцины — последствия этой прививки скажутся много позднее, когда организм переварит этот новый элемент. А пока...»

О жизни:

«Нет смысла нигде и ни в чем. Все можно объяснить, но ничего нельзя оправдать. Кругом царство Дьявола, и жизнь в этом царстве становится невыносимой. Жизнь хороша, но хороша для тех, бездумных, кто ничего этого не замечает. А свет слепит».

«Человек», стихотворение в прозе:

«И представляется он мне, «венец творения», в истории своей от глубины веков до наших дней.

И представляется он мне в борьбе за жизнь, в борьбе за счастье.

И представляются мне трупов горы, и реки слез и крови, и целый хор из стонов человека.

И такова цена того, что видим мы теперь, что называем мы прогрессом».

Все это я читаю в том же дневнике, длинной конторской книге, разлинованной для каких-то конторских нужд синими и красными полосами.

Смятение!

И мне до боли ясно представляется сейчас, как где-то рядом с большой дорогой, по которой, прокладывая себе новые пути, громыхала колесница истории, метался маленький, оглушенный всем этим, растущий человечек, ничтожная, но мыслящая пылинка в бушующем вокруг вихре и, нащупывая твердь этой большой дороги, рискуя попасть под обитые железом ободья колесницы, в то же время не желал бездумно ложиться под эти неумолимые колеса, он что-то упрямо искал, и что-то по-своему думал, порой, может быть, и выдумывал, придумывал, чтобы все-таки остаться самим собой, личностью. А для человека ведь это главное, это самое главное — быть личностью.

В минуту меланхолии:

«Помню я конец какого-то стихотворения. Говорится в нем о дубе, который подтачивается в корне червями, и вот он, чувствуя свою неминуемую гибель, восклицает: «Эх, лучше бы грозой меня сразило!»

Сколько силы в этом, сколько гордости, сколько желания красоты и величия, хотя бы в смерти. Ведь и в смерти есть смысл, если есть красота и идея. А если нет?..

«Эх, лучше бы грозой меня сразило!»

...А не лучше ли и мне со всем этим покончить? Ведь это так просто».

Смятение! Полное смятение духа — так обернулся для меня великий Семнадцатый год.

А кругом по-прежнему жила, и властвовала, и бушевала наша матерь-природа, и цвела, и плодоносила, и рожала, и пела, свистела, кричала и жужжала на все голоса жизни, боли и радости.

И овраг был все тот же, словно чаша, наполненная неисчислимым июньским разноцветием и благоуханием, и лес на праздный вопрос «Кто была первая дева?» все с той же старательностью давал убежденный ответ: «Е-ва!»

А надо всем этим, обнимая всю эту красоту и жизнь своим всенаполняющим, всепроникающим пологом, возвышалось небо, то лазорево-пустое и ласковое, то тревожно-грозовое, со своими громами и бурями, далекое и в то же время родное, близкое — нетронутая еще целина таинственного в своей неизвестности Космоса.

МЕЖДУГЛАВИЕ ПЕРВОЕ

И вдруг, среди всего этого смятения и бездорожья,— нелепая до дикости, совершенно, казалось бы, немыслимая и ни с чем несообразная новая запись все в том же дневнике:

«А все-таки когда-нибудь, в будущем, я испытаю свои силы на литературном поприще!

Я давно уже собираюсь начать разработку моего будущего произведения, конечно романа, так как это единственная форма творчества, в которой можно со всей полнотой выразить всю жизнь или идею. Роман я задумал громадный, если это будет один, то типа «Войны и мира» (конечно, в идеале), но, вероятно, придется разбить его на несколько, не знаю, частей, что ли.

Роман этот должен затронуть все наболевшие вопросы жизни и мысли.

Наше время — время переходное, время переоценки, и именно массовой переоценки, всех ценностей, время, когда разбиваются старые скрижали и пишутся новые. Потому-то и необходимо запечатлеть этот момент борьбы двух мировоззрений, постигнуть их сущность, понять, что в этих мировоззрениях хорошее и что плохое.

Этот кризис должен прежде всего касаться области

философии и религии. Религия — создание человека, которое до сих пор считалось великим, поставившим человека на пьедестал святости и славы от соприкосновения с божеством.

Теперь это создание рушится, как негодный истукан, и на его месте воздвигается новый кумир — позитивная философия, отрицающая всякое инобытие, кроме человека и его матери-природы. Интересно понять и образно выразить столкновение этих двух мировоззрений.

Это — первая идея моего будущего, конечно весьма еще проблематичного, романа.

Вторая идея — столкновение индивидуализма и общественности, интересов личности и общества. Разобраться в притязаниях того и другого и, по возможности беспристрастно, вынести приговор — вот моя задача.

Третья идея — идея, может быть, навеянная личной жизнью, но тем не менее имеющая не малый интерес,— проблема любви. Изобразить психологию любви, понять те глубины человеческого духа, в которых она рождается, примирить это чувство любви с новыми притязаниями женщины на равное с мужчиной положение и, следовательно, постигнуть новую форму любви — вот третья моя проблема.

Таковы три основных направления, если не моего будущего романа, то, во всяком случае, моего литературного творчества, если таковое будет. Идеи чрезвычайно важные и трудные, требующие большой подготовительной работы. Не знаю, удастся ли мне со всем этим справиться и удастся ли справиться с художественными требованиями, но то и другое будет основной целью моей жизни».

Вот так! Как говорится, ни к селу ни к городу, ни к месту, ни ко времени и вдруг — проклюнулось. То, что зрело — нет, тлело! — где-то и как-то, может быть, от отцовских литературных чтений, через какую-то мальчишескую «Муху» в гимназическом рукописном журнале, через ученические сочинения, через вирши и «липовые» до наглости пиесы о 1812 годе и русско-японской войне, среди полной растерянности перед грохотом эпохи — и вдруг проклюнулась заявка на всю жизнь. Пусть в другой форме, но на всю жизнь. А главное... для меня это самое главное — когда? В какой тяжкий, самый тяжкий для меня год!

Вот и пойми тут их законы, пути и поиски живого человеческого духа!

...Ну и, конечно, любовь! Что за вопрос? Конечно! Гони природу в дверь, она лезет в окно, наперекор всем проблемам и противоречиям. И обычно это случается нечаянно, как и поется в известной песне.

Так получилось и у меня.

Помню, был у нас в седьмом, предпоследнем классе какой-то вечер совместно с гимназистками. А у меня что-то случилось с рукой, и я по окончании вечера с трудом застегивал верхнюю пуговицу своей шинели. Тогда мне на помощь пришла «она», сама, без всякой просьбы с моей стороны, по зову сердца. Вот она и та самая волшебная нечаянность, вызвавшая такую же нечаянную приливную волну в голове, в сердце, во всем, кажется, существе. И я заметил черные, огромные, будто вопрошающие о чем-то глаза и черные же, густые, с изломом брови.

И этого было достаточно. Нет, «серьезного», как в подобных случаях говорится, у нас с ней ничего не было — ни поцелуев, ни слов любви, ни слов о любви... Так что же тогда было? — спросит иной из современного поколения. А я сам не знаю, что было. И когда впоследствии, в порядке нравственного самоочищения, я исповедовался же не в этом случае, она сказала:

— А ты знаешь? Ты ее до сих пор любишь, эту свою Ольгу.

Думаю, что, при неоспоримой своей проницательности, на этот раз супруга моя была неправа. Это было скорее предощущение любви, то самое, как сказал поэт, «свечение крови», юношеское томление духа, из которого потом рождается настоящее чувство, если оно не будет чем-то и кем-то загрязнено. Возможно, и тогда это прошло бы у нас так же легко и естественно, если бы не одно непостижимое для меня до сих пор обстоятельство.

Встречаясь, мы гуляли, беседовали, хотя в беседах она была немногословна, даже, казалось мне, многозначительна, и я робел и перед этой многозначительностью, и перед огромными, вопрошающими глазами. И вдруг, на масленицу, на самую веселую широкую масленицу, я получаю от нее поздравительную открытку с картинкой. На картинке стол, под столом — кот с шикарным пушистым хвостом, доедающий что-то попавшее ему в лапы, а над всем этим красуется надпись, сделанная витиеватой славянской вязью: «Не все коту масленица». А чтобы все

было досказано и понятно, на обороте было написано ее собственной рукой: «У тебя хорошая, чистая, но слабая душа, а потому...» Что означало это «потому», я, конечно, не помню, да и не знаю, прочитал ли я эти последующие строки? Но я до сих пор не понимаю — как и в чем увидела «моя Ольга» слабость моей души? Это был непостижимый, и до сих пор, до глубокой старости, непостижимый, по своей жестокости и непонятности укол в сердце — «слабость души»! Но, пожалуй, самое чувствительное — уж очень противным и нахальным был этот кот с его шикарным хвостом.

Но природа есть природа, и она настоятельно ломится в окно, и тогда через год появляется та самая тарусская птичка-невеличка с птичьей, кстати, фамилией Соловей (а вот как звали ее, ей-ей, не помню), о которой я рассказал в первой главе «Друза». Выслушав в гимназическом кружке мой доклад «Есть ли бог?», она, повторяю, сначала поиздевалась надо мной, затем влюбилась в меня, а потом, сразу же по окончании гимназии, выскочила замуж за кого-то другого, своего, тарусского. В отличие от «моей Ольги», это была если не легкомысленная, то легковесная щебетунья, хохотунья, с которой было легко и безоблачно. Она ничего и ни о чем не вопрошала и потому, пожалуй, не вызвала во мне ответного «свечения крови», и ее измена была для меня не уколом, а скорее щелчком по носу, вскоре забывшимся в бурях того вихревого лета.

Одним словом, это — мимолетный, случайный эпизод, подготовка к настоящему чувству и к встрече с той, которая назовет меня потом «городенским медвежонком».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОСЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО

«Я в Медыни, служу в совнархозе, делопроизводителем (слово-то какое!)»,— так начинается моя запись от 20 августа 1918 года, отмечающая мое вступление на стезю трудовой деятельности.

«Новое дело, незнакомая канцелярская обстановка — все это даст, вероятно, некоторый материал моим наблюдениям. А главное — может быть, я увлекусь делом, забудусь от того тяжкого настроения, которое, как червь,

подтачивает мою душу. Может быть, участие в общественной жизни отвлечет меня и от личных переживаний и возвратит меня к жизни. Так должно быть, и только в этом спасение.

Жизнь невозможна в одиночестве — в одиночестве человек дичает вообще, а в душевном одиночестве он доводит до крайности свои настроения и думы и может уйти бог знает куда. Человек существо социальное, и его душевная жизнь должна находиться в тесном контакте с течением общественной мысли. Поэтому общение каждого со всеми и всех с каждым является идеалом общественных отношений.

Постараемся провести в жизнь эти теоретические рассуждения, и тогда наступит, видимо, то душевное спокойствие, о котором мечтается. А пока... ветер воет, гром грохочет... Ну это уж опять «поэзия»!»

Предчувствие меня не обмануло. После городенской тоски и одиночества я оказался точно в другом мире и стал сначала с любопытством, а потом с интересом всматриваться в него. Нельзя сказать, чтобы в том, что я увидел, было какое-то особое кипение или бурление, но это была жизнь, и притом, как я теперь это осмысливаю, на очень важном ее этапе — организации советской власти в нашем, уездном масштабе. И уездный совет народного хозяйства, в котором я записывал входящие и исходящие, был тоже принципиально новым учреждением, не имевшим, как сказали бы теперь, аналогов в прежней государственной машине, ставившей своей целью не организацию жизни, а надзор за нею. В совнархозе же, пожалуй, больше, чем в какой-либо другой области, сказалось именно организующее начало советской власти. И это было интересно — приходили рабочие, приносили деревянные, суриком крашенные модели каких-то машин не то станков, о чем-то спорили и горячились. Но эту горячность своими серыми, холодноватыми глазами остужал председатель совнархоза Окминский, или, на нашем языке, «Сам», всматривался, вдумывался, и разговор постепенно приходил в норму. Он умен, деятелен и деловит, требователен, но не официален, без излишней начальственной брони. Он был у нас душой всего дела: пока он на месте — жизнь идет, движется, как ушел — все заметно замирает.

Холопов, его заместитель, не то что толстый, но груз-

ный и мягкотелый человек, точно идущий по жизни как-то вразвалку. Когда уходил «Сам», к нему обычно подсаживался Стеснягин, секретарь нашего совнархоза, хорошо одетый и барственный на вид, и начинались разговоры на разные, в том числе и не очень скромные, темы. А за дверью, в соседней комнате, где сидели, как выражался Стеснягин, «особы прекрасного пола», тоже были свои интересы, свои разговоры и смех.

Так я входил и постепенно вникал в новую для меня жизнь. И вот я уже на профсоюзном собрании служащих, вот я выступаю, что-то говорю, вот меня куда-то выбирают, потом почему-то командируют в Боровск, где еще нет и профсоюза и где его нужно организовать, из Боровска заезжаю в Малоярославец, встречаюсь там, как это записано у меня в дневнике, «с вождями чиновного и профессионального мира»,— одним словом, как-то незаметно втягиваюсь в водоворот нашей уездной общественной жизни. И потому такой неожиданностью, можно сказать, диссонансом оказалась для меня случайная встреча со стариной — с крестным ходом, посвященным Боголюбской божьей матери.

Кто, зачем и почему привез эту «чтимую» икону из-за Москвы, чтобы пронести ее по главной — Шоссейной улице Медыни, я не знаю, но самый факт и вид этой церемонии произвел на меня какое-то странное, удручающее впечатление, точно я окунулся опять в тот мир, из которого только что выбрался.

«Что-то глупое, вырождающееся почувствовал я во всем этом, и мне стало просто противно,— записал я в своем дневнике.— Старухи с лицемерно-фарисейскими лицами, барышни, пришедшие людей посмотреть, себя показать, несколько принарядившихся дам и два-три «оскорбленных и униженных» теперь бывших чиновника.

Нет жизни, нет никакого одухотворяющего начала, по сути дела нет и религии, есть пустые обряды. И тем противнее наблюдать существование отживших форм человеческого мышления, цепляющегося за отживших и чуждых подлинного мышления людей.

Но то, что должно умереть, умрет!»

Я понимаю, что нельзя обременять читателя цитатами из мальчишеских — да и не только мальчишеских — дневников, но бывают вещи, о которых иначе ведь и не ска-

жешь, как только словами, родившимися именно из прямого соприкосновения души с жизнью.

Так я не могу обойти и следующую, решающую для меня, запись.

«Ранен Ленин. И кажется, серьезно, жизнь его в опасности.

Об этом объявил нам сегодня Стеснягин, пришедший на работу в легком чесучовом костюме, объявил громко и чуть ли не торжественно, а потом, когда мы остались как-то вдвоем, добавил еще слова, которые мне не хочется повторять.

Сказал он их мне, как человеку своей среды, сыну священника, во взглядах которого не сомневался, и потому, видимо, считал, что я тоже должен обрадоваться этому известию. А на меня эти слова произвели совсем не то впечатление, которое он ожидал, да и не только он — и я сам. У меня точно оторвалось сердце.

Я даже сразу не понял это. Сначала я почувствовал простую человеческую жалость — вот человек падает, истекает кровью. Но вдруг — именно вдруг, вмиг! — меня точно обожгла искра: кто падает и кто истекает кровью?! Какой человек? И в круговороте взбудораженных мыслей у меня выплыло имя Петра, да, того Петра, который смелой и сильной рукой вздернул когда-то на дыбы скользившую над бездной Русь. И теперь... Ведь и теперь Ленин перевернул русскую жизнь, видимо, до самого дна и сделал рискованнейшую операцию над ее исстрадавшимся телом. Я еще не все понимаю, но я почувствовал какую-то близость к этой могучей фигуре.

Да, Ленин велик! Его могучий как теоретический, так и практический ум много способствовал той организационной творческой работе, которую совершила советская власть за какой-то год. Для нашего интеллигентского сознания, правда, эта власть в чем-то неприемлема, потому что она попирает какие-то святые принципы, которыми жила интеллигенция. Но большевизм на все это сказал: нет!

Существует одно — благо трудового народа всего мира. И не только благо в смысле сытого существования. Пролетариат должен перестроить всю жизнь. И этому не должна препятствовать ни нация, ни сопротивление какой-то враждебной части народа. Все должно быть принесено в жертву этой большой идее.

И момент такой. Мировой капитализм в своем самоистреблении дошел до такого озверения, что все слилось

в одну кучу, и нет исхода из этой кошмарной, все еще продолжающейся, уже без нас, человеческой бойни. Капитализм создал такие условия мировой жизни, что выхода из создавшегося конфликта нет.

Одним словом, мировая революция неизбежна. Теперь я в это верю. Иначе и не должно быть!

Странно, почему-то я здесь, в Медыни, начинаю переосмысливать все мои былые ценности в области политики».

Эта запись датирована 2 сентября 1918 года. Мне было 19 лет. Я читаю ее теперь, через 60 лет, и сам удивляюсь и самому факту ее появления, и ее неожиданности, тому почти моментальному повороту во всем ходе моих мыслей, и от факта покушения на В. И. Ленина, и от того злорадного по торжественности тона, которым объявил нам об этом осколок старой чиновной машины царских времен Стеснягин. Не знаю, может, и есть в этом какое-то непостоянство или действительно «нечто вроде оппортунизма», как выразился однажды в разговоре со мной тот же Стеснягин. А может быть, это та же самая кристаллизация «друзы» на новом повороте жизни, в новых, совершенно новых, небывалых доселе обстоятельствах.

Ведь жизнь идет, и рост и утверждение — это очень не простой и не всегда прямолинейный процесс: «да — да», «нет — нет». Тут же диалектика: «да — нет», «нет — да», «приятие» и «неприятие», а может быть, даже отрицание, усиливающее потом глубину утверждения. Ведь даром ничто не проходит в жизни.

Не прошло это и у меня, и все пережитое, передуманное, перечитанное, пусть самое разное, а может быть, именно потому, что оно разное, противоречивое, часто враждебное друг другу, взрыхлило, перепахало душу вдоль и поперек и подготовило ее к восприятию новых семян, носившихся в воздухе. А они не просто носились в воздухе, они уже пускали какие-то корешки в эту развороченную целину.

И проявлением, и свидетельством этого была та самая сентябрьская моя запись в дневнике. Я, который год назад писал свои бездарные вирши:

Россия-мать больна,
Россия умирает,
И гибнет бедная страна,
Как снег весною тает,—

тот же я, в том же самом дневнике написал теперь восторженные гимны Ленину, совершившему свою гениальнейшую операцию по спасению этой гибнущей страны. Это уже не корешки, это уже какой-то итог, какая-то важная ступень на длинной и трудной лестнице восхождения. Пусть в этом гимне я что-то напутал, переместил исторические ступени, уровни, масштабы, эпохи и категории, потому что Ленин — это совсем, это вовсе не второй Петр Великий. Никак! Это тоже новая ступень, новое особое качество личности, вернее, даже не просто личности в ее узком, чисто психологическом смысле. Личность ведь — не только психологическое, а социальное явление, и не просто явление, а фактор — на что она направляет свою волю, и какую операцию совершает своей «смелой и сильной» рукой, и во имя какой цели.

Пусть в этой записи есть и другие ошибки, а может быть, просто неточности, но это ошибки и неточности того времени и того уровня моего развития. Теперь они ясно видны, и я их хорошо вижу и понимаю и мог просто вычеркнуть их и навести глянец. Но я хочу быть честным, и перед собой и перед своим временем.

Слишком большое значение в моей «автобиографии духа» играет эта поворотная запись, и я всё оставляю как есть — что было, то было. И я верю, что читатель меня поймет.

А «корешки» тем временем все больше и больше росли и разрастались.

Учительская конференция, первая конференция при советской власти. У людей смесь любопытства и настороженности: что-то будет? И начинается конференция «Интернационалом». Первый «Интернационал» в Медыни.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Дирижирует регент соборного хора, а кроме того, пьяница и многолетний завсегдатай гостеприимного дома моего бати, «Филатыча», в гостеприимной Пятнице-Городне. Знакомая фигура в новой роли. Но как-никак семена нового.

А потом из самых задних рядов, вернее даже, из толпы, теснящейся за последними рядами стульев, выходит невысокий плечистый человек в матросской форме и идет

через весь зал к президиуму, громыхая деревянными подошвами своих матросских ботинок. Это — «председатель Медынского Совета народных комиссаров» матрос Голенев, как говорят, участник Октябрьского переворота.

— Товарищи педагогики! — обращается он к учителям.

На этом его отношения с педагогикой, видимо, закончились, потому что говорил он дальше, конечно, об Антанте и мировой революции, как все в то гипнотическое время.

«Один Совет Народных Комиссаров да возглавляет мир труда». А кстати, потом мне по делам приходилось бывать у него в кабинете, в здании бывшей городской управы, увенчанном деревянной пожарной каланчой. Окна кабинета выходили на центральную площадь, и возле одного из них, рядом со столом Голенева, стоял направленный на площадь пулемет, на который он, разговаривая, этак дружески, запанибратски опирался и даже поглаживал его.

Впрочем, это тоже ведь семена нового.

Но лично для меня, пожалуй, самым близким стал Окминский. Не знаю, как и почему так получилось, но он приметил и приветил меня и взял под свое крыло, вплоть до того, что приглашал меня домой. А жил он вдвоем с женой, умной, но суховатой женщиной, ведавшей, кажется, агитацией и пропагандой, жил очень скромно и деятельно — сам колол дрова, топил печку, делал все домашние дела, и получалось все у него как-то легко и быстро.

Что привлекало его во мне, я не берусь судить, но мне лично нравилась в нем начитанность, способность поговорить и порассуждать на разные темы, а главное, какая-то очень ясная определенность и аргументированность мысли, в чем я чувствовал все большую и большую для себя потребность. Мне он чем-то напоминал моего дядю Юру, хотя люди эти были очень разные и внешне, да, пожалуй, и внутренне. Один — коренастый, брызжущий здоровьем и силой, сердечностью и каким-то внутренним дружелюбием, другой — стройный, едва ли не с офицерской выправкой, подтянутый и натянутый, как струна, и внешне и внутренне, точно всегда готовый куда-то идти и что-то делать. Единственно, что их объединяло,— это убежденность, но и она была разная: у одного — горячая, живая, эмоциональная, у другого — логическая, стройная и де-

ловая. Впрочем, это было понятно: один верил в революцию, другой ее совершал.

Хотя нет, верили оба: дядя Юра — в «сияющее царство справедливости», Окминский — в коллектив, коллективность, коллективизм. В одной из наших бесед он замахнулся даже на литературу: литература — проявление народного духа, и поэтому в будущем не будет никаких Толстых и никаких Горьких, будет один творящий народ. И все это у него получалось как-то очень стройно, обоснованно, одно выходило из другого, из третьего и завершалось чем-то четвертым и пятым.

Поделился я с ним в наших разговорах и еще одним дерзким своим опусом, который он внимательно выслушал и основательно раскритиковал. Это был черновой набросок лекции, с которой я собирался выступить в нашем самодеятельном, еще докомсомольском, беспартийном «Союзе молодежи» на, конечно, глобальную и всеохватную тему: «Две эпохи», о революции XVIII и XX веков. Благодаря критике Окминского эта лекция осталась, к счастью, недописанной и вообще недоделанной, но если очистить ее от разного рода философской чепухи и несусветицы, то получится нечто, автобиографически заслуживающее внимания, вплоть до курьезного, профессорски-академического стиля:

«Господа! Вопрос, который я хочу предложить вашему вниманию,— об идеологии революции XVIII и XX века — может встретить возражения. К чему, скажут мне, говорить об идеологии, когда историю делают не идеологии, а классовые интересы?»

И дальше, в том же напыщенно-профессорском стиле, идут мальчишеские философствования о том, что я «принимаю от Маркса» и что не принимаю, и прежде всего о «материально-классовом» и «психологическом» факторе истории, между которыми «существует соотношение обратной пропорциональности».

«Психологический фактор по мере развития человечества должен увеличивать степень своего влияния на материальный фактор и, в идеале, окончательно подчинить его себе. Как в борьбе с природой человеческий ум побеждает слепую стихию, так в общественной жизни человеческое сознание должно победить свою стихию. Таков в кратких чертах мой общий взгляд на историю.

Вот почему я беру эпиграфом к этой лекции предсмертные слова Сен-Симона, сказанные им своему учени-

ку Родриго: «Помните, мой друг, что только воодушевленный человек может совершать великие дела».

Наивности? Наивности. Но это — грани души и ступени жизни, за которыми следовали новые ступени и новые грани формирующейся личности.

Не могу не отметить и еще одну ступень в моей служебной и в то же время, конечно, жизненной лестнице того времени.

В Медыни образовался новый «комиссариат» — Финансовый отдел, совершенно самостоятельный и независимый. Выделился он из нашего совнархоза, и я назначен туда секретарем и даже, почему-то, членом коллегии.

Правда, коллегия эта ни разу не собиралась и разбираться в финансах я так и не научился, но этот этап жизни мне все-таки тоже кое-что дал.

Интересно было понаблюдать за психологией человека, попавшего к власти. Заведующим этим отделом назначен бывший заведующий подотделом тоже нашего совнархоза Перфильев, личность незаметная и даже неказистая: оттопыренная, почти висящая, как у старой лошади, нижняя губа, хмурый и недовольный, точно обиженный на весь мир, взгляд — все это составляло общее неприятное внешнее впечатление.

Но как он сразу переменился, получив новое назначение! Из стоявшего рядом дома купца Журавлева, из которого мы, его подчиненные, перенесли все, что ему нравилось, он обставил роскошно свой кабинет, входить разрешал только мне или с моего доклада; властное отношение ко всем, грубое — к сторожу и посетителям-мужикам.

«И это называется рабоче-крестьянское правительство, и такие люди хотят провести социализм! — записал я в своем дневнике.— Социализм возможен — в этом и заключается весь его смысл! — при уважении к личности человека, независимо от его положения. Там же, где человек видит в другом человеке не равного себе и, главное, не относится к нему, как к равному, а видит в нем только материал для каких-то своих целей, там социализма — царства свободы и справедливости — быть не может. Это будет новая форма господства, и только. При Перфильевых это так и будет. Пакостная фигура!»

В медынском так называемом «обществе», как, по-моему, и во всяком другом, была своя «звезда» — жена одного крупного по уездным масштабам чиновника —

«прима» на всех танцевальных вечерах, веселая, зажигательная, развязная, по общему мнению распутная, доставляющая мужу своему, видному по должности человеку, сплошные неприятности. И вдруг эта «звезда» появляется у нас в Финансовом отделе, хотя, по моему мнению и наличному штату, ей нечего было у нас делать, появляется неожиданно для всех нас, в том числе и для меня, секретаря и как бы начальника канцелярии, и появляется тоже неожиданно и необычайно: она даже не вбежала, она впорхнула в канцелярию, сделала, как балерина, глубокий реверанс и рассыпалась серебристым смехом. На этот смех из своего кабинета выходит «сам», его и без того отвислая нижняя губа отвисает еще больше, но уже в какой-то поощрительной и плотоядной улыбке. И все всё поняли.

А если быть до конца откровенным, эта «звезда» в один из томительных для мальчишеского одиночества лунных вечеров сделала попытку заманить и меня в сети своих обвораживающих лучей, но, к счастью, отвергаемый мною господь бог заметил, видимо, это со своего высока и послал на выручку ангела-хранителя, который и укрыл меня от этой опасности своим спасительным крылом. Кто-то помешал.

И наконец, еще одна, самая драматическая ступень этого периода моей жизни — осень восемнадцатого года (и начну я ее все-таки опять с дневника):

«Тем временем в Медыни произошли не понятые мною события. Идут массовые аресты и в самой Медыни и во всем уезде, берут заложников. Я боюсь за папу. При всем своем свободомыслии, за какие-то чужие проделки и он тоже может попасть заложником».

Через сколько-то дней:

«Напуганный возможностью ареста, папа согласился было отказаться от сана и поступить на советскую службу. Я уже выхлопотал у Окминского эту возможность. Но потом, обдумав дома этот вопрос, он изменил свое решение.

Он заявляет теперь, что не может изменить своим убеждениям. Поступить на службу, говорит он, значит — совершенно переродиться, как образом жизни, так и образом мыслей, характером и привычками. Нет, будь что будет!»

А я хотел все-таки перетащить его в Медынь. Религия отживает свой век. Теперь религия, по крайней мере наша религия, является пристанищем всего консервативного, всего отжившего, неспособного воспринять новую жизнь, новую мысль, а они, эта новая жизнь и новая мысль, все-таки идут и все-таки придут к своей исторической победе. Религия становится прибежищем людей, которые живут только для своего блага, которые, не задумываясь всерьез, исполняют все предначертания религии чисто машинально, только потому, что это делают другие. В это мертвое тело не вольешь живой воды, и оно не оживет. Теперь жить и творить будут другие люди. Вот почему я хочу перетянуть своего папашу к этой новой жизни.

Но с его стороны заметно другое. Насколько я его помнил и знал, он никогда не отличался своею преданностью делу церкви, никогда не видел он в своем деле смысла жизни, никогда искренне не относился к тому делу, которое делал. Он всегда критиковал церковь, ее догматизм, иногда даже соглашался с некоторыми моими атеистическими доводами. И вот теперь, кажется, с его стороны не должно было быть препятствий к перемене образа мыслей и занятий.

А получилось наоборот. Чем труднее складывалась для него жизнь, тем больше крепло убеждение в правоте своего дела и тем больше росла решимость стоять за это дело, и то, что он вскользь высказывал год назад в наших вечерних спорах у городенской лежанки, то теперь приняло вид обдуманной и законченной формулы:

«Религия, помимо всего прочего, культурный фактор. Кто развил свое нравственное чувство и подчинил ему волю, тому религия, может быть, и не нужна,— говорил он.— А кто без известного жупела не может выполнять требования морали — тому этот жупел необходим».

И вот, поддерживаемый этой миссией играть роль культурного фактора, он остался в Городне, в надежде, что церковь вновь будет играть былую роль в жизни народа, что к ней опять пойдут люди с искренним желанием и надеждой «найти в ней успокоение и счастье».

...Так развивалась мысль. А жизнь шла своими, куда более драматическими путями.

Я уже говорил, что после городенского одиночества с его удручающими раздумьями Медынь закрутила меня в

вихре бурной служебной и общественной жизни: организация Союза служащих, поездка в Боровск, Малоярославец выдвинули меня в число заметных общественных деятелей города. Поэтому я вскоре же был избран в уездный совет профессиональных союзов — был и такой. Организовали мы и Союз молодежи, который, правда, вскоре уступил место Союзу коммунистической молодежи. Был, кажется, и совет клуба не то народного дома. Одним словом, различные учреждения и организации росли как грибы, и я во всем старался принять какое-то участие. Поэтому я и оказался на виду, и сам знал многих деятелей формирующегося советского и партийного аппарата. В результате я был выдвинут еще на одну должность — товарища, или, по-современному, заместителя председателя так называемой больничной кассы, совершенно забытой теперь общественно-профсоюзной организации, ведавшей, опять-таки по-современному, социальным страхованием рабочих и служащих. Председателем там был рабочий спичечной фабрики Калинин, а его «товарищем» оказался я.

Кажется, в конце октября было получено извещение о предстоящем всероссийском съезде больничных касс, назначенном на 15 ноября. На этот съезд нужно было послать одного делегата и от нашей кассы. Таким делегатом почему-то оказался я. Это меня, конечно, радовало и возвышало — хотелось еще раз посмотреть Москву, а главное, быть участником такого большого съезда. Но ничего из этого не вышло: съезд не состоялся, а сам я до него не доехал.

Получилось это так.

В первую годовщину Октября в историческом, связанном с именем Пушкина, Полотняном Заводе, входившем в состав нашего Медынского уезда, какая-то колонна вышла на праздничную демонстрацию с черным флагом и лозунгом «Боже, царя храни». Произошла свалка, и с этого началось медынское — назовем его так — восстание восемнадцатого года. Ни в каких исторических или других литературных материалах оно, насколько мне известно, не отражено, но оно было.

Свидетелем исходного инцидента с черным флагом была моя будущая жена, тогда совсем еще молодая девушка, с высоким крутым лбом и умными горячими глазами, работавшая секретарем уездного земельного отдела. Заведующим этим отделом был Николаев Иван Федорович,

один из благороднейших представителей тогдашнего партийного руководства, человек с детскими голубыми глазами и какой-то внушающей доверие простотой во всем облике, в общем, в отличие, например, от Окминского, очень русский и по лицу и по характеру. Он-то и взял свою лобастую секретаршу на первые — первые! — Октябрьские торжества в Полотняный Завод. Оттуда они с трудом прорвались сквозь разгоравшийся огонь восстания и застали Медынь уже на военном положении: во главе обороны стоял центральный штаб, въезд и выезд из города были закрыты, на дорогах стояли заставы и все рабочие и служащие, в том числе и я, были мобилизованы. Для полноты картины упомяну еще и пушку на центральной площади, но, кажется, без снарядов, потому что ни одного выстрела, даже в самый разгар событий, она не сделала.

Все это произошло очень быстро, повторяю, как пожар, и я оказался в самом неопределенном положении: приближалось 15 ноября, дата Московского съезда, на руках у меня мандат и прочие документы, а я мобилизован и стою на своем посту у кладбища, проверяя всех входящих и выходящих из города. И тогда я обратился в штаб, и штаб вдруг разрешает мне выезд. Пропуск подписывает Резцов, член штаба,— как говорят, бывший учитель и бывший левый эсер, но по Медыни фигура крупная, хотя тоже, вроде Перфильева, пренеприятная — горбун, как Квазимодо, грубый и злой.

Подлинный облик его раскрылся передо мной через несколько драматических дней, а сейчас я был благодарен ему, и он даже напутствовал меня каким-то добрым словом и определил маршрут моего следования. На Москву из Медыни можно ехать через Малоярославец (36 километров) или через Мятлевскую (14 километров) на Калугу и печально знакомую мне Тихонову Пустынь.

— На Малоярославец дорога закрыта,— сказал Резцов,— придется пробираться кружным путем — через Мятлевскую. Но не тяни.

Тянуть мне было незачем, и я, быстро собравшись, отправился в путь. Движения по шоссе никакого не было, но что молодому парню 14 километров? Я пошел пешком. Кругом тишина, красота, золотая осень и теплое еще солнце. Какое тут восстание? Ерунда!

На втором примерно километре от Варшавского шоссе отходит проселок на деревню Степановское — знако-

мый дальше путь на имение генерала Роговского, ивановский пруд и нашу Городню. Родные знакомые места. По этой дороге, от деревни Степановское, на неоседланной взмыленной лошади мчится верховой.

— Куда ты идешь? — крикнул он с ходу.— Там восстание! — И ускакал.

Какое восстание? Я еще раз оглянулся кругом, на тишину, на красоту, на осеннюю грусть пустых уже, знакомых-перезнакомых полей.

И, как нарочно, по тому самому шоссе мне навстречу со стороны Мятлевской бредет старушка.

— Здравствуйте, бабуся,— говорю я.— Как там? Свободно?

— А что?

— Как что? Говорят — восстание.

— Что ты, милок? Я прошла, и ты пройдешь.

Неотразимая логика. И в самом деле: она прошла, и я пройду. А это, видно, был какой-то паникер, подумал я о всаднике.

И я пошел. И опять тишина, и опять красота и золотая осень.

Потом слышу сзади какое-то громыхание. Оглянулся — едет подвода, на подводе пустая железная бочка — она гремит — и человек. Ба! Так это же мой тезка, Гришка Кутенков, тоже член коллегии отдела коммунального хозяйства, едет в Мятлевскую за керосином.

— Подвезешь?

— А чего не подвезти? Садись!

Сел, и поехали. Едем, разговариваем — сначала о восстании, потом о разных разностях. Восстания-то все-таки не видно.

А кругом опять красота, золотая осень. Шоссе прямое, как стрела, но с угорами: вверх-вниз, вверх-вниз. И вот, поднявшись на один из этих «верхов», мы видим что-то непонятное: внизу небольшая деревушка Реутово, мост, на мосту народ и дым. Что за история? И что делать? Ехать, не ехать?

Не знаю, как это получилось, но лошадь наша под гору понесла, и мы с ходу врезались в горящий мост и толпу людей. Из этой толпы вырвались два человека и, схватив лошадь под уздцы, с ходу же остановили ее. Я их узнал. Один — молодой, моих лет, красивый парень из соседней деревни, Ванька Лукьянов, у которого я в свое время учился плясать «русскую». Другой — Егорка

Фуфлыгин, завсегдатай всех волостных сходок и митингов, стащивший меня когда-то с самодельной трибуны на одном из этих митингов за какое-то, очевидно, глупое, мальчишеское выступление. Лукьянов тоже меня узнал и отвел глаза, а Фуфлыгин сразу в лоб спросил:

— Вы за кого? За Советы или за народ?

Я не мог ничего ни понять, ни сообразить, как вдруг случилось новое происшествие. Со стороны Мятлевской, на взгорке, неожиданно возникла фигура на мотоцикле, возникла и остановилась. Потом видно было, как мотоциклист хотел повернуть машину, но в ней, видимо, что-то заело. На то, чтобы все это понять, осмыслить, потребовались считанные минуты, если не секунды, и тогда Фуфлыгин, Лукьянов, оставив нас на попечение кого-то еще, бросились за этим мотоциклистом и привели его, затянутого в кожу с ног до головы. Это был разведчик отряда «Красных латышей», шедших следом за ним на выручку Медыни, и вот по нелепой случайности оказался, вроде нас, грешных, в плену.

Все это руководители восставших, видимо, успели узнать у него, а может быть, просто видели подходивший отряд, потому что и нас и его тут же под конвоем отправили подальше от деревни. Но не успели мы выйти за риги, как сзади послышалась стрельба. Чем она кончилась, я не знаю, но ясно, что латыши, шедшие на выручку Медыни, прошли, потому что нам пришлось потом еще встретиться с ними уже при других обстоятельствах.

А нас повели дальше пустынными осенними проселками, мимо имения, бывшего, конечно, имения генерала Роговского, мимо знакомого нам сада братьев Рябовых, в «волость», в село Романово, знакомое-перезнакомое по прошлому митинговому году. Посадили нас, в ожидании дальнейшего, на каких-то бревнах, и, естественно, вокруг нас собрались мужики и стали расспрашивать — как в Медыни, что в Медыни, и в частности — «а артиллерия есть?». И я, по простоте душевной, сказал об этой несчастной пушчонке, которая молча стоит посреди площади. Как нарочно, в это время мимо проезжал какой-то всадник на сером в яблоках коне и, услышав этот разговор, сказал:

— Вы за этим очкастым смотрите особо, он пропагандой занимается.

«Какая пропаганда? Это же правда!» — подумал я, еще не понимая, как разнозначащи могут быть слова.

Впервые я столкнулся с этим раньше, в Медыни, когда на заседании в городском клубе обсуждался вопрос об организации духового оркестра, и тогда сквозь общую симфонию возвышенных слов раздался голос одного из будущих оркестрантов.

— Я — материалист. Скажите, а сколько я буду получать?

Оказывается, и слово «материалист» тоже может иметь разный смысл. Так и здесь.

Не знаю, что бы вышло из этого мимолетного разговора о пушке, но по каким-то соображениям и чьим-то распоряжениям нас снова повели дальше. И направили нас в Дошино, в то самое Дошино, что под самой Медынью, за тюрьмой, стоявшей на самом краю города. Там, у этой тюрьмы, за леском Лапшинкой, любимым местом отдыха горожан, и шли главные бои. Во всяком случае, когда нас, пленных, вели по улице, то около одной избы, видимо превращенной в медпункт, я видел окровавленные, приставленные к стене носилки.

Нас посадили в другую избу, но сидеть нам долго опять не пришлось. Очень скоро в районе «фронта» послышалась усиленная стрельба, в которую вмешалось и стрекотание пулемета. Что там случилось, я тоже не знаю, догадываюсь только, что как раз к этому времени сюда подоспели те же самые латыши. Одним словом, произошла паника, послышались крики, и нас быстро-быстро вывели из нашей временной «каталажки». Мимо нас бежало все мужицкое воинство, а вслед за ними на лошадях скакали командиры, отчаянно матерились и стреляли в воздух. Но поток бежавших был неудержим и вместе с собою увлекал и нашу стражу.

И так мы шли всю ночь мимо безмолвных, настороженных, без единого огонька, деревень, тоже бывших, по-своему, на военном положении, потому что возле каждой стояли заставы со своим неизменным окриком «кто идет?», а навстречу нам попадались даже запоздалые «волонтеры» с белыми холщовыми сумками за спиной, не знавшие, видимо, еще о дошинском сражении и поражении и шедшие «на фронт».

К утру нас привели в большое торговое и тоже «волостное» село Гусево верстах в тридцати от Медыни, с белой церковью и старой, еще царских времен, «каталажкой», куда нас и посадили.

Тут я понял, что дело получается нешуточное и нужно быть ко всему готовым. За полуразвалившейся печкой мне попалась завалявшаяся там двухфунтовая гиря, и я решил, что, в случае чего, я никак не буду теленком становиться к стенке и жизнь свою хоть как-никак, а задаром не отдам.

Но проходили дни, а нас никто не трогал и к нам никто не шел. Мы посматривали сквозь маленькое зарешеченное окошечко, но тоже ничего не видели, кроме того, что погода на улице неожиданно испортилась — сначала завьюжило, потом немного успокоилось, и все покрылось снегом. К вечеру четвертого дня мы увидели, как по этому снегу к церкви собирается народ. Потом прошел священник. Мы поняли: что-то решается.

Прошло время, и народ стал расходиться до домам. Что это значит? Потом загремел замок и послышался голос: «Выходите».

Что значит — «выходите»? Куда? Зачем? А может, там, за открытой дверью, тебя ждет пуля в затылок? А на улице уже поздний вечер, почти ночь, но из-за снега и выглядывавшей откуда-то луны довольно светлый.

Вышли. Смотрим. Осматриваемся. Думаем. Что делать и куда идти? Решили скорее вырваться из села, искать дорогу на Медынь, хоть как-нибудь, на ощупь, на нюх.

Пошли. Дорог нету, идем чистым полем, по снегу, из-под которого выбивается то ли стерня, то ли стебли каких-то трав. Земля и небо, и миротворная, успокаивающая душу тишина. Природа. И нет того, кого сейчас больше всего боишься,— человека.

А вот как будто бы деревня, даже блеснул огонек, мирный такой, безобидный и внушающий какие-то надежды. Хотя бы: где мы и куда нам идти? Перед деревней стог сена, тоже мирный, спокойный и по-русски родной. Но от стога отделяется фигура. Всматриваемся: красноармейский шишак, винтовка. Все ясно.

И все перемешалось — земля и небо, снег и подглядывающая из-за облаков луна.

— Кто идет?

Подходим, объясняем.

— Идемте.

Короткое, многоемкое слово, вызывающее невольный, словно икота, вопрос:

— Куда?

— В штаб.

Идем. И все опять перемешалось — душа и тело, то, что было, и то, что будет. Входим. И вдруг — что за наваждение? Резцов! Тот самый!

И тот тоже удивился:

— Ты зачем сюда попал?

Объясняю, показываю им же подписанный пропуск.

— Ну хорошо! — решает он.— Будешь моим адъютантом.

А говорят, бога нет!

Но лучше бы я попал к черту, к дьяволу, чем к этому горбатому Квазимодо!

В избу, где обосновался штаб, одного за другим приводят крестьян, десять, может быть, двенадцать человек. Они становятся по стенкам, полукругом, безмолвно озираясь, не понимая, а может быть, уже понимая, зачем их привели и что их ждет. Затем перед ними, в центре, становится Резцов. Он в кожанке и кожаном картузе, глаза из-под очков светятся недобрым светом. Видя это, бородатый старик в латаном зипуне становится на колени, вслед за ним, один за другим, опускаются и остальные.

— Что? Знает кошка, чье мясо съела? — со зловещим спокойствием начинает Резцов.— Почуяли, сучьи дети?.. На кого руку подняли? На советскую власть руку подняли, гады? — Голос его повышался с каждым выкриком, и в нем стали прорываться визгливые ноты.— Так вот: на деревню налагается контрибуция. Тебе — мешок ржи, тебе — два мешка, тебе — три мешка овса, тебе — барана, тебе — поросенка, тебе...

— Смилуйся, сынок! — взмолился тот же стоящий на коленях старик в зипуне.

— Какой я тебе сынок? — взвизгнул Резцов и с размаху ударил его носком сапога, что в народе называется «аспитком», в подбородок.

Я видел, как старик, запрокинув голову, схватился за подбородок и как, какими глазами посмотрел на Резцова.

...Кто-то усомнится в этом. Нет! Это было!

В результате против штаба выстроился целый обоз со всеми этими мешками и барашками.

— Ты будешь начальником обоза,— неожиданно поворачивается ко мне Резцов.— Доставишь все это в Медынь, в штаб, ну ты знаешь — под каланчой,— и сдашь. Вот тебе рапорт. А это твоя гвардия,— показал он на вертевшихся тут же двух конников.— В твоем распоряжении. Трогай!

И мы тронули — я на первой подводе, за мной весь обоз и где-то сзади моя «гвардия». Была та же луна, и тот же снег, и те же поля и перелески, а вдали — черная, зубчатая стена леса. Россия! И среди всего этого — я, потрясенный тем, что видел, и тем, что слышал и пережил. И это тоже была Россия.

И теперь, когда я пишу эти строки, мне почему-то лезут в голову стихи не очень громкогласного, но хорошего, душевного нашего поэта Николая Старшинова:

Она меняется с годами
В своей державной высоте,
И мы гордимся всё упрямей:
«И Русь не та и мы не те!»

Но как бы это к неким срокам,
Достигнув новой высоты,
Не исказить нам ненароком
Ее прекрасные черты.

А то потом найдем кручину:
Ну хорошо ли, если мать
Уж так изменится, что сыну,
Что даже сыну не узнать.

Россия, мать!
Святой и зримый
Да будет жребий твой велик!
Но сохрани неповторимый
Свой первозданно светлый лик!

Так мы ехали все эти долгие версты молча, как чужие, не обмолвившись ни единым словом. Возница был не то зол, не то удручен и за всю дорогу, кажется, ни разу не закурил. А мне заговаривать с ним было стыдно, и я думал. Думал я о том, что теперь творится в этой деревне, название которой я даже не успел узнать. А полностью понять это помог только впоследствии документ, попавший мне в руки от его владельца, друга моей молодости, ныне покойного Гордея Лебедева.

Уездный комиссариат
по военным делам

15 ноября 1918 г.

Удостоверение

Дано предъявителю сего (имярек) в том, что он командируется к месту службы в качестве военного делопроизводителя Романовской волости, ему даются все полномочия по водворению порядка в вышеозначенной волости.

Все граждане из бедняков обязаны помогать присланному представителю как выуживанием восставших, так и их руководителей. Неисполнение сего гражданами указанной волости повлечет за собою строгое наказание вплоть до расстрела.

Печать Две подписи

Думал я и о том — как и почему все это вышло? Очень смущал меня тот незнакомый конник на серой в яблоках лошади, который обвинил меня в пропаганде и приказал строже держать. Хорошо, что события стали разворачиваться так быстро и неожиданно, что я ушел из-под его острого и недоброжелательного взгляда, а то еще неизвестно, как бы это для меня обернулось. Но что он за человек? Откуда? Чей? Явно не наш, чужой, не нашей волости.

Взбудораженная мысль напряженно стала раскручивать ленту событий, встреч, заключений и догадок, вплоть до самых невероятных. И тогда мне вспомнилось одно обстоятельство, сначала просто удивившее меня, а теперь приобретавшее неожиданный смысл.

Был у меня в Медыни товарищ по гимназии, одноклассник Дмитрий, или, как мы запросто называли друг друга, Митька, сын врача, а у него был брат, года на три старше его, Колька, развязный и пошловатый сердцеед, пользовавшийся заметным успехом у какой-то категории гимназисток и вызывавший у нас, мелкоты, затаенную зависть. Кончил он гимназию, естественно, раньше нас, сразу же пошел в армию и скоро стал офицером. К семнадцатому году он, по словам Митьки, попал в «дикую дивизию» генерала Корнилова и вместе с нею, после провала корниловского путча, ушел куда-то на юг.

И вдруг месяца два или три назад я зашел, как всегда, запросто, без предупреждения к своему товарищу и вижу: в столовой, прямо против меня, за большим обеденным столом сидит он, этот самый Колька. Увидев ме-

ня, он моментально — как ветром сдуло — исчез в другой комнате, а Митька потом по-мальчишески, но под большим секретом рассказал мне, что брат его приехал сегодня ночью и завтра ночью уезжает. Он действительно через день уехал, но вслед за ним исчез и сам Митька.

Потом я узнал, что товарищ и лучший друг этого Кольки, молодой помещик радюкинского, в семи верстах от Медыни, имения, распродавал и даже раздавал на временное хранение особо верным людям многое из своего имения, собираясь, видимо, тоже уйти к белым, но был арестован.

И со всеми этими многосложными событиями я связал теперь появление того чужого, на серой лошади в яблоках, его офицерскую осанку и повелительный тон. А разыгравшаяся фантазия, подогретая разными россказнями, рисовала уже и чемодан с двойным дном и миллионами денег, и злокозненные, пропагандистские «спички», от которых вспыхнуло пламя этого бессмысленного восстания. Все это стало было укладываться в довольно стройный и, может быть, не лишенный реальности детектив, из которого вырастали какие-то догадки — так, значит?..

Вспомнилась даже икона божьей матери, которую зачем-то незадолго перед восстанием привозили в Медынь... Что? — тоже «спичка»?

«Но что значит спичка, если кругом нет соломы? — вдруг выскочила из какого-то другого уголка сознания недоуменная мысль.— Неужели за какие-то генеральские миллионы русские мужики поднялись и пошли поджигать мост?»

Все перепуталось, нужно было начинать сначала...

— Товарищ начальник! — вдруг врывается в ход моих размышлений чей-то, сразу не пойму — чей, голос.

Гляжу: передо мной гарцует на своих лошадях вся моя «конная гвардия», оба два.

— Там у одного есть барашек... ну, уже готовый, освежеванный... Разделим?

— Что вы? Ребята! — встрепенулся я.— Как можно?

«Гвардия» моя растаяла во тьме так же неожиданно, как и появилась.

— Ах, сволочи! — прошипел я вслед им.

— Сволочи и есть! — подтвердил мой возница, это единственное, что он произнес за всю дорогу.

Ну что я мог сделать? Про себя они наверняка обоз-

вали меня дураком и растяпой и, вероятно, взяли этого барашка сами, а может быть, и вошли с кем-то в какую-то еще сделку — все возможно. Ведь я ничего не знал и не ведал — сколько подвод в моем обозе, сколько на них мешков, барашков и поросят? Их никто не сосчитал, никто не переписал, и никто их мне не сдал.

«Трогай» — и все.

Никто ничего у меня не пересчитал и ничего не спросил, когда я доставил свой обоз, как было приказано, в штаб «под каланчой», где принял меня уже совсем незнакомый, чужой, присланный из центра, очень усталый и суровый человек, типа старого большевика, как он стал вырисовываться в моем сознании.

Я молча передал ему рапорт Резцова, он молча прочитал его и отрывисто крикнул:

— Иди!

И я пошел домой, к себе на квартиру, по тихому и пустому городу, как будто в мире ничего не произошло.

А потом я узнал и о том, что произошло в самой Медыни, узнал от своей будущей супруги, тогда большой активистки — комсомола в те дни еще не было,— той самой, на глазах у которой началось в Полотняном Заводе это злосчастное восстание. А теперь, в ходе его, она, страшная, как я потом узнал, трусиха в душе, вращалась где-то в гуще событий, дежурила и в штабе, и в так называемой «Коммуне», а попросту в общежитии партийного актива, обосновавшегося в экспроприированном доме купца Клушина на стратегически центральном перекрестке улиц. Там в эти дни она была и телефонисткой, и связной, и слышала свист пуль над головой, и видела, чем все это кончилось.

— Ну как?.. Ну что все это значит? — спрашивала она меня теперь, и смесь растерянности и не изжитого еще девичьего страха дрожала в ее голосе.— Вы понимаете? — тогда мы с нею были еще на «вы».— Я не знаю...— Она зябко повела плечами.— Не знаю... Я так ему и сказала. Ну, Ивану Федоровичу, заведующему моему. Я так ему и сказала: как можно? А он говорит: «Так нужно! Неужели ты не понимаешь?..» Ведь я ему в дочки гожусь... «Пойми, говорит, решается судьба: кто — кого? Ты думаешь, они пощадили бы нас?» — «Так, значит,—

у меня даже перехватило дух,— значит это вы из-за себя? Из-за своей шкуры?..» Я ему так и выпалила.

— А он? — спросил я, любуясь уже ее разгоряченным лицом и ярким блеском карих возмущенных глаз.

— А он... Он сначала обиделся, даже рассердился... «Как так из-за своей шкуры? А Ленин? А Володарский? Урицкий?.. Это ж! — он даже два кулака столкнул друг с другом.— Это ж насмерть!» А потом... Вы же знаете его. Он такой умный. Он очень-очень умный. И хороший. «Пойми, говорит, девочка...— Он со мной, как с дочкой...— Пойми, говорит: сейчас, может быть, творится история!»

— Творится история? — переспросил я, остановившись тоже перед этой как бы заново сверкнувшей передо мной мыслью.

— Да, да! Он так и сказал: история! — живо подтвердила она, а потом как-то посерьезнела.— А если так... Тогда, может, все это и действительно так нужно?.. А? — и в этом наивном «а?» было столько милой доверчивости, будто я действительно мог ответить на этот самый острый, самый кровоточащий вопрос тех дней, и это меня тронуло. Но зародившаяся искорка нежности тут же была задушена вспышкой яростного возмущения. Я рассказал ей о своих злоключениях, о Резцове, о бородатом старике в латаном зипуне, о моей «гвардии» и о барашке, о пакостнике Перфильеве, а она, в свою очередь, о такой же пакостнице, получившей в их девичьей компании смачное и близкое к действительности прозвище Семисалиха, которая, спутавшись с кем-то из власть имущих, знала, кто завтра будет арестован, и без стыда бахвалилась своей осведомленностью,— и мы помирились тогда с нею на волновавшем нас обоих вопросе: как понять это и как осмыслить?

Все, над чем думала тогда притихшая, ошеломленная всем происходящим, когда-то мирная и незлобивая, ароматная Медынь — что так? что не так? где тут правда и где неправда? и как к великому делу на глазах у всех стала присасываться всякого рода мразь и грязь, и омрачать, и порочить его, это великое дело?

Над всем этим думали и мы и на этих раздумьях сдружились с моей будущей, все это горячо принимавшей к сердцу супругой, а через месяц слюбились, а через два месяца поженились, и брак наш был зарегистрирован по только что введенному новому, советскому порядку, в

книге актов гражданского состояния за № 2 16 февраля 1919 года.

А еще через неделю мы, бросив все наши медынские дела и должности, потащились по сугробистой зимней дороге в далекую, на самом краю уезда, деревню с душистым тоже названием Ореховня — учительствовать.

МЕЖДУГЛАВИЕ ВТОРОЕ

Прошло много лет и событий, и вот мы с моей Марией Никифоровной, уже стариками, пришли на премьеру спектакля московского театра «Современник» —«Большевики (30 августа)» М. Шатрова. Спектакль о том же самом, давно пережитом — покушении на Ленина, о том, что напомнило нам о пережитом много лет назад. На наших глазах на сцене происходило заседание Совнаркома под председательством Свердлова, которого блестяще играл артист Кваша, на глазах у всего притихшего зала, напряженно вслушивающегося в каждый поворот мысли, в логику и во все перипетии обсуждения, вскрывающего одну за другой острейшие грани проблемы революционного террора — французская революция, Робеспьер, Сен-Жюст, Маркс, Энгельс, Парижская коммуна, Кропоткин...

А когда под занавес выясняется, что смертельная опасность в состоянии здоровья Ленина прошла, кризис миновал, весь Совнарком, чтобы не потревожить лежащего где-то там, за стеною, больного, тихо-тихо, почти шепотом, запевает «Интернационал», а потом его подхватывают во всю свою мощь репродукторы, а за ними и весь поднявшийся со своих мест зал. И когда дама с мехами на плечах попробовала протолкаться во время этого пения, чтобы скорее попасть к вешалке, ее остановили:

— Вы куда?

А в фойе были размещены документы тех лет, и среди них один, особенный: клятва 1918 года, обращенная «ко всем, кто чувствует в себе сострадание и любовь». Вот ее текст:

«Отрекаюсь от накапливания личных богатств, денег, вещей, обязуюсь поддерживать слабых духом товарищей по партии и обличать корыстолюбцев, если замечу таковых в партии.

Я пощажу лишь того, кто обманут и вовлечен по темноте своей врагами, прощу и забуду тех, кто искренне раскаялся».

Дух времени! Великий дух времени!

— Послушай! — встрепенулась вдруг моя Мария Никифоровна.— А ведь это самое, ну почти этими же словами говорил мне тогда Иван Федорович, когда мы с ним в Полотняный Завод ездили. Ты помнишь его?

Ну как же! Как не помнить! Да, да! Как не помнить этого умного и милого человека с детскими голубыми глазами, ставшего потом секретарем Медынского райкома партии! А вслед за ним как не вспомнить Окминского, и всю ту страшную осень восемнадцатого года, и Резцова, и отвислую губу тупого и плотоядного Перфильева, и низкую мразь Семисалиху, и наши разговоры, даже споры — так, пожалуй, и поныне не решенные споры,— как и почему уже тогда, с самого начала, к великому делу стала липнуть всякая грязь и мерзость?

И вдруг эта великолепная «Клятва»! Интересно, ох как интересно — где он, этот идеалист «хмурого», по выражению Алексея Толстого, восемнадцатого года, и что с ним?

Как далеко все это, как волнующе и далеко. Словно не было!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И Я В ЭТО ВЕРЮ

Повторяю: я не пишу и не собираюсь писать свою автобиографию во всей ее последовательности, полноте и пунктуальности. Для меня важны определенные этапы жизни, вернее, этапы развития духа — будь то месяц или десятилетие. Поэтому лето семнадцатого или осень восемнадцатого года по их внутреннему духовному содержанию для меня приравниваются к целому последующему десятилетию. Это было десятилетие закрепления и внутреннего освоения того внезапного поворота, который был вызван покушением на Ленина, с одной стороны, и постепенной подготовкой к осуществлению почти забытых, но, видимо, тлевших где-то в душе творческих планов — с другой.

Вот этому десятилетию и посвящена настоящая глава.

Итак, мы в Ореховне. Своим расположением она напомнила нашу милую Городню: такой же овраг, внизу — небольшая речушка, а за ней — густой лес. Вероятно, и он все с той же безошибочностью отвечал бы на

вопрос: «Кто была первая дева?», но мне уже было не до этого.

Школа стояла на самом краю оврага, глядя на него своими широкими светлыми окнами. Это была типичная для своего земского времени школа, новая, добротно рубленная, с четырьмя классами и двумя хоть и не большими, но уютными, изолированными двухкомнатными квартирками для учителей. В одной из этих квартир жили тоже муж с женой, учителя, опытные и к тому же хорошие люди, помогавшие нам потом в наших первых жизненных шагах. В другой такой квартирке поселились мы, украсив ее белыми занавесочками и вышивочками из скудного «приданого», полученного моей Марией Никифоровной.

Это было время первых радостей, открытий и постижений, время закладывания тех первых зерен жизненного опыта, которые породили потом, теперь, через полсотни с лишним лет и — будем говорить честно — через ряд испытаний, как, вероятно, у всех, полновесные плоды зрелости и совместной жизненной мудрости. А тогда, на первых шагах жизни, все было ново и все необычно, начиная с приготовления обеда, не на электроплите и не на газу, как теперь, а в стародедовской русской печке. А это ведь целое вековое искусство, топить эту печку, чисто русское искусство, которое мы постепенно освоили потом при помощи нашей доброй соседки, а тогда свой первый обед мы совместно готовили четыре часа и сожгли при этом чуть ли не полсажени дров.

Так же было и с учительством. Ну, какие мы были учителя? Особенно я. Жена моя еще раньше успела поработать учительницей один год и пройти старую школу, когда инспектор народных училищ, подводя ее, девчонку, в гимназической, еще не сношенной форме, к зеркалу, учил и репетировал с ней, как она должна держать свои непослушные брови, с каким выражением лица должна входить в класс и каким тоном говорить с учениками. Я первый раз вошел в класс безо всякой подготовки и напутствия — получай назначение и трогай! — если не считать чудесной, запомнившейся мне до сих пор картины Бельского «Устный счет», фототипию которой я видел и любил в нашем семейном городенском альбоме. Мое счастье, что проблемы дисциплины тогда не существовало, и меня встретили доверчивые и ясноглазые, не испорченные еще деревенские ребятишки, встретили с уважением и го-

товностью слушать меня, как заправского, доподлинного учителя. А я, в свою очередь, тоже учился у них, у этой доверчивости и ясноглазости, учился простоте человеческих отношений, постигая попутно, при помощи соседа-учителя, немудрые премудрости методики старой, земской начальной школы.

Учился я главному: желанию — именно не столько умению, сколько желанию — дать людям то, что имееешь, что успел получить, вобрать себе в душу, и что теперь просится наружу, в эти ясные глаза и открытые души. Поэтому я, кроме простых, так сказать, служебных школьных занятий, с особенной охотой и любовью принимал участие во внешкольной работе со взрослыми, с упоением рассказывая то, что вынес из гимназии и из тех книг, которые оставили у меня в душе какой-то след,— от гимназического учебника по литературе до гётевского «Фауста» и «Жизни растения» Тимирязева, не отличая иной раз в напряженной тишине зала увлеченность от непонимания. Как сейчас помню, когда я бойко рассказывал о том, что Евгений Онегин — один тип, а вот Печорин совсем другой, и из притихшей, переполненной аудитории раздался робкий голос: «А что такое тип?» — я смутился и ничего не мог сказать на этот, такой простой и естественный вопрос. Но по той доброжелательности, которой люди ответили на мое мальчишеское смущение, я почувствовал, что они поняли меня и простили.

Так шла зима — днем как-то и чему-то учили детей, вечером собирали, а вернее принимали взрослых, которые шли сами, влекомые общим духом того всклокоченного, взлохмаченного времени, когда свет смешан был с тьмою и жизнь с кровью и когда сквозь весь этот первозданный хаос должно было проглянуть светлое солнышко. Мы проводили с ними беседы, показывали «туманные картины», ставили спектакли, заводили знакомства, все шло хорошо.

Одно обстоятельство только чуть было не нарушило течение нашей жизни. Увлеченные ее внешним благополучием, мы забыли, что за это самое благополучие идет еще жестокая битва, в которой, кстати сказать, где-то на колчаковском фронте погиб мечтавший когда-то о «сияющем царстве справедливости» мой неугомонный дядя Юра. И вот, не успев прожить с молодой женой и месяца, я получаю повестку явиться в военкомат. Это был первый организованный призыв в Красную Армию, шедшую на

смену добровольческой Красной гвардии, и первым призывным годом оказался мой — 1899-й. Но при призыве моя близорукость — а я впервые надел очки в семь лет — сразу же и на всю жизнь сделала меня «белобилетником», негодным к военной службе. И я вернулся в свою Ореховню.

Вообще эта ореховнинская зима оставила у меня самое теплое воспоминание, как время душевного успокоения и вхождения в простую, нормальную, непосредственную жизнь. Но с весны началась чехарда. Уезд стал делиться на районы, и меня, мальчишку, почему-то назначили заведующим районо совсем в другом конце уезда, а осенью снова в Медынь, теперь уже в качестве «начальства», члена Коллегии уездного отдела народного образования, где я заведовал сначала дошкольным, потом внешкольным отделом, ничего не понимая ни в том, ни в другом.

Не знаю, то ли ощущение удручающей бессмыслицы этой чехарды, то ли начавшаяся беременность жены, отягченная граничащей с голодом дороговизной — «Побойся ты бога-то!» — «Теперича бога бояться нечего»,— и вообще растущие трудности жизни, то ли элементарное безрассудство молодости и поиски нового, то ли все это, вместе взятое,— так или иначе, когда пришло не то требование, не то предложение откомандировать группу учителей на укрепление только что освобожденного от колчаковщины Урала, мы, не очень задумываясь о будущем, согласились на этот дальний и трудный по тем временам вояж.

Ехали мы целой группой в товарном, так называемом телячьем вагоне, с печкой «буржуйкой» и деревянными нарами, и, зная ее состав, я не думаю, чтобы мы являлись какой-то целительной вакциной, долженствующей оживить обескровленное колчаковским владычеством учительское воинство Урала. Это и подтвердилось, когда через год-полтора разными путями и способами все мы двигались обратно в свои родные калужские края. Одним словом, вся эта спасательная экспедиция оказалась чьей-то ненужной, видимо, затеей.

Ехали мы долго и трудно через поразившие меня паровозные кладбища Московского узла, потом через поврежденный восстанием восемнадцатого года Ярославль и дальше, через заснеженную, примолкшую Россию, через бесчисленные не остановки даже, а стоянки чуть ли не

у каждого телеграфного столба, когда можно было — так мы и делали — уйти в соседнюю деревню с высокими, северного облика, избами в поисках хлеба, десятка картошек или бутылки молока, отстать от своего состава, а потом догонять его со следующим, также ползущим, словно черепаха, поездом.

Обо всем этом путешествии я не сказал бы ни слова, если бы в последних своих архивных изысканиях я не обнаружил в путевой тетради того времени следующую сделанную чернильным карандашом запись:

«17 марта 1920 г.

Наше время совершенно неправильно оценивается, как время перехода, замены буржуазной культуры культурой социалистической. Т. е. это правда, но только отчасти. Этот процесс есть только часть другого, более сложного и важного процесса — кризиса христианской культуры. Буржуазная же культура была только переходной ступенью, первой стадией разложения более глубокой, более обоснованной и более древней культуры — культуры христианской. Это разложение начала буржуазия. Она первая провозгласила права человека в области познания мира и в области устройства жизни человека самим человеком. В этом ее громадная заслуга перед человечеством. Но она не довела этого дела замены божеского человеческим до логического и необходимого конца. Она испугалась этого конца, так как освобождение масс от духовных цепей неизбежно влечет за собой и освобождение от экономических и социальных уз. Отсюда начинается перелом в настроении и философии буржуазии. Смелый штурм цитаделей религии ослабевает, и атаковавшие их умы сдаются и даже переходят на сторону противника. Начинается новый период реабилитации, реставрации бога, период богоискательства, смены материалистической и позитивной философии философией идеалистической. И только одно течение мысли в лице критической философии продолжало стоять на правильном пути раскрепощения человечества. Задача нашего времени — уничтожить все следы былого духовного рабства.

Одной из важных проблем в этой области является проблема этической жизни, жизни, *согласованной* с принципами этики.

До сих пор между этикой и жизнью было противоречие, которое происходило оттого, что принципам морали

приписывалось божественное происхождение. И в области морали, как и во всем остальном, не было единства между принципами и жизнью. И здесь были люди, у которых была развита совесть до невероятных размеров. Жизнь дает нам таких людей, как Достоевский, Толстой, Гаршин, Гоголь. Все эти люди с гипертрофированной совестью, и с этой точки зрения они оценивают весь мир, не задаваясь вопросом о практическом осуществлении этих моральных принципов соответственно с реальными условиями жизни. Новая задача в области этики — согласовать принципы с жизнью, с практической работой».

Обо всем этом, конечно, нужно еще думать и думать, но сейчас для меня важно другое — откуда, как и почему в совершенно неподходящих условиях телячьего вагона родилась эта запись? Но она родилась, она документирована всеми признаками того времени и той обстановки. Так, непосредственно рядом с ней находится простодушная запись, сделанная тем же чернильным карандашом и размашистым почерком Никифоровны о том, как железнодорожное полотно вьется по обрыву между горами, возвышающимися над густыми пихтовыми лесами, как тяжело было нашему паровозу, как он сначала свистел и пыхтел, потом остановился, и весь поезд долго стоял, пока со следующей станции не пришел на подмогу другой паровоз.

Значит, действительно, где-то в пути, по какому-то поводу, в этом телячьем вагоне у меня родились эти совсем не телячьи рассуждения, и я счел нужным их записать Следовательно, процесс мышления продолжался и углублялся все время, идя своим путем, независимо от внешних обстоятельств жизни. Говорю об этом, как о факте, перед которым я сам останавливаюсь с недоумением.

Конечным пунктом назначения для нашей экспедиции был Екатеринбург, теперешний Свердловск. Но так как здесь, видимо, не знали, что делать с неожиданными гостями, то, продержав несколько дней, нас переправили дальше, в город Камышлов. Приехали мы туда, как сейчас, по каким-то капризам памяти, помню, четвертого апреля. По улицам текли грязные ручьи, шла весна. А какая работа для учителей весною, в конце учебного года? Поэтому с нами и здесь долго не возились, не зная, куда нас

деть и как пристроить, приправив это довольно прозрачным намеком: «Вы не думайте, что здесь такие уж медвежьи углы». В результате меня направили на внешкольную работу, а там, за неимением, видимо, ничего другого, предложили прочитать несколько лекций по естествознанию на курсах младшего комсостава.

— Ну, вы сами понимаете,— сказали мне,— что сделать из красноармейцев естествоиспытателей вам не удастся. А дать общее развитие... Справитесь?

И в тоне, и во взгляде я заметил что-то означающее сомнение. Но отступать было некуда. А потом — почему бы и не справиться? Общее развитие? А что значит «общее развитие»? Не перегружая подробностями, дать слушателям понимание вещей и метод мышления, заронить в них ту главную, в какой-то мере философскую мысль, из которой вытекает концепция или хотя бы проблема. А проблема по тем временам у меня была одна, все та же — «Человек или божество?» Но об этом много, так много было читано и перечитано, думано и передумано, что бояться здесь нечего. Одним словом, была не была!

А вместо пробных лекций у меня получился целый цикл, охватывающий все узловые вопросы мировоззрения: «Строение мира, жизнь земли, происхождение жизни», «Каменная книга природы — палеонтология», «Дарвин, Тимирязев, борьба за существование, появление человека» и «Человек, как природа, осознающая самое себя». Это было не ликбезовское «Мы не рабы, рабы не мы», а та философия и поэзия познания — как она сложилась к тому времени у меня самого и которую мне хотелось передать моим малограмотным, но, как оказалось, очень благодарным слушателям, будущим младшим командирам Красной Армии. Особенно мне запомнились и помнятся до сих пор одни упорные, пытливые глаза, неотрывно следившие за мной, когда я рассказывал, например, историю открытия новой планеты на основании простых математических вычислений, сделанных молодым математиком Леверье.

«Человеческий гений через сотни миллионов верст, не видя глазом, не слыша ухом, сказал: здесь есть звезда — ищите! Стали искать и нашли. Это была неизвестная до тех пор планета Нептун.

Что значат перед этой истинной человеческой мудростью пророки древности? Замолкни, Моисей, лепечущий свои нелепые сказки! Замолкни, Иисус Навин, приказы-

вающий солнцу остановиться для окончания какой-то битвы! Замолкните все, покушающиеся на стройность и непоколебимость мировых законов! Великое здание мира незыблемо, и не вам, слепцам, на него покушаться! Его можно только изучать, а изучать его может только всесильный человеческий гений, проникающий сильнее светового луча сквозь тьму мирового пространства и постигающий новые истины!»

Это, конечно, из книги, вернее — из рукописи, к тому же доподлинно рукописной рукописи, на восемьдесят с лишком большущих, совсем не стандартных страниц, в которые я мельчайшим почерком втиснул все, что знал сам, к чему пришел сам и что хотел сообщить теперь уже предполагаемым своим читателям. И вот он лежит предо мной, этот пожелтевший и вконец потрепанный документ, хранящий в себе весь пыл моей души, той души, того времени, в ее развитии и становлении. И он мне дорог, несмотря на свой не совсем презентабельный вид. Я сижу и думаю, вспоминаю те неотступные глаза и думаю: а может, мне выпало счастье заронить в те глаза, в ту душу неугасимую искру мысли и поиска. И мне хочется, очень хочется включить весь этот измятый документ в свою итоговую «автобиографию духа», но я понимаю, что этого нельзя, да и не нужно, но от последней, заключительной части я все-таки, пожалуй, не откажусь.

«Глубоко неправ один буржуазный ученый, который сказал, что «цель развития мира есть гибель мира». Неправда! Развитие — вот цель и смысл всего сущего: развитие мира, развитие жизни и развитие человека, осознающего мир.

И в природе, следовательно, нет ни покоя, ни мира, которые кажутся нам на первый, поверхностный взгляд.

В борьбе за жизнь выковывались новые, лучшие, более совершенные формы жизни. Стремясь выжить и победить противника, каждое живое существо вырабатывает все новые и новые полезные свойства и качества. Не будь борьбы — не было бы развития и совершенствования, жизнь осталась бы на своей первоначальной ступени, в виде бесформенного комочка слизи. Но современные формы жизни не есть конечный предел совершенства. Природа не знает совершенства, и предела ее развитию нет.

Поэтому пусть травка губит травку, пусть птичка губит мошку, пусть кошка губит мышку, пусть человек поедает массу растений и животных, пусть, наконец, и сре-

ди людей мы видим борьбу друг с другом, борьбу с самим собой за лучшее устройство общежитья. Таков закон природы. Но мы знаем, что в этой борьбе выковываются новые, лучшие формы жизни и человеческих отношений, выковывается неведомый еще, но бесконечно более совершенный человек, который своим разумом и своими достижениями в науке смягчит эти злые законы мира.

Выходя победителем из борьбы со стихиями природы, «царь природы» продолжал быть жертвой другой своей стихии, самой грубой борьбы за существование — борьбы друг с другом. Теперь человек поставил перед собой другую, более высокую цель — победить и эту стихию, ввести ее в крепкое и здоровое русло и на основании единого плана построить разумную жизнь. Мы верим, что с этой задачей он также хорошо справится, построив на месте угнетения, слез и крови новое, справедливое общество».

...Для многих — да и для меня самого — все это является теперь, конечно, азбукой. Но ведь через эту азбуку в то переломное время нужно было пройти и моим слушателям, и мне самому, высвобождающемуся из всего предыдущего, совсем от других идей, мыслей и настроений.

Припомним хотя бы семнадцатый год, год великих, исторических событий и в то же время моего такого тяжкого духовного смятения (нашедшего тогда выход в так называемом стихотворении в прозе — «Человек»).

Теперь все было совершенно другое. Теперь были поиски оптимизма, утверждение оптимизма, нового мировоззрения и мироощущения новой эпохи, и это было утверждение основной, как я и теперь уверен, черты нового мировоззрения — широкого, лишенного догматизма взгляда на вещи.

Это и выражали слова очень популярной в то время итальянской пролетарской поэтессы Ады Негри, которыми я заканчивал свою лекцию:

Зачем стоять над старыми гробами,
Когда судьба нас к новому зовет?

Я перечитываю теперь это длинное и скучноватое — сам понимаю — переложение любительского опуса больше чем полувековой давности и думаю. Пусть на последней, полуизорванной странице этой в подлинном смысле слова рукописи стоит чья-то не очень разборчивая, сделанная красными чернилами и в конечном счете правильная резолюция: «Рукопись окончательно вернуть автору,

как неподходящую. 10/XI 22». Но для меня она является дальнейшим свидетельством и обоснованием того перелома, который был связан с памятной осенью восемнадцатого года.

А в подтверждение этому приведу еще одно свидетельство тех дней.

«1 мая 1920 года. Великое Первое мая, праздник труда!»

Не могу не вспомнить — и этот солнечный праздничный день, и заполненную народом городскую площадь, и музыку, и знамена, и общее приподнятое настроение людей. Это была не толпа. Люди стояли колоннами и ждали сигнала, чтобы отправиться по местам работы. Это был, можно сказать, первый организованный массовый субботник, продолжение Великого почина, начатого год назад московскими паровозниками.

Я работал по организации краеведческого музея. За четыре часа из хаотической массы пыльных камней и разного рода чучел, наваленных в пустом и грязном помещении, получился уютный уголок с хорошим и продуманным содержанием и вывеской: «Музей». Что делали другие, в других местах, я не знаю, но все возвращались бодрые, веселые, с песнями и музыкой. Конечно, были и равнодушные, и ворчащие, которые пошли страха ради, но...

И как тут удержаться от того, чтобы не заглянуть все-таки в дневниковую запись, в слова, вылившиеся из души в тот самый праздничный день?

«...Но это — пятна на солнце. Чувство коллективности, ощущение себя как части великого целого — чувство, которого почти не знала старая психология. Это чувство — великая сила, создающая новую жизнь.

Пусть это пока эмбрион. Но, зародившись, он разовьется и приведет мир к новым формам труда и, следовательно, к новым формам и к новому содержанию культуры и жизни. И я в это верю!»

С течением времени вера эта приобретала все более осознанный и осмысленный характер. И помог мне в этом опять-таки Ленин.

В Камышлове мы задержались недолго — так получилось. Работы нет, жить нечем, негде, а у нас родился ребенок. Называется — приехали на помощь, а нам самим нужно помогать. И нашлась добрая душа, которая посмотрела на нашу судьбу именно с этой стороны: нужно

устраивать молодую семью, хоть как-нибудь. И мы получили назначение в самое отдаленное от уезда село Колчедан на берегу реки Исети, назначение в детский сад. Так я оказался — смешно сказать! — руководителем детского сада. Ну что же? Появились же теперь у нас дояры вместо доярок, так и я. Нужда пляшет, нужда скачет... Зато — никаких уроков, никаких тетрадей, никаких подготовок — «в лесу родилась елочка», и вся премудрость.

Этим я пользовался вовсю и читал, что можно, что было в не очень богатой сельской библиотеке. И тогда пришло туда, в эту библиотеку, чуть ли не первое издание книги Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма». Я взял ее совершенно нетронутую и прочитал не просто с удовольствием, а с наслаждением, настолько, что, не удержавшись, сделал о ней доклад на учительском собрании села, за что получил от уездного отделения союза работников просвещения благодарность и премию: рубашку из какого-то тончайшего, похожего на кисею, материала в узкую розовую полосочку.

Книга захватила меня тем, что отвечала и моему логическому складу и тем проблемам, над которыми во мне продолжалась подспудная внутренняя работа, начиная с той же драматической осени восемнадцатого года и тех вопросов, которые возникли у нас тогда в разговоре, даже в споре с моей подругой — «нужно ли?», «стоит ли?» и действительно ли тогда, в ту осень, в нашей тихой и мирной дотоле Медыни «творилась история»?

И вот ответ: «империализм есть канун социальной революции пролетариата». Перед моим жадным внутренним взором развертывалась *«итоговая картина* всемирного капиталистического хозяйства», картина, до предела насыщенная цифрами, фактами, логикой и верой, картина, связывающая воедино две бури, две грозы, потрясшие мир, и меня вместе с ним, в самый ответственный и определяющий период формирования «друзы» моей личности.

«На почве всемирного разорения, созданного войной, растет, таким образом, всемирный революционный кризис, который, какие бы долгие и тяжелые перипетии он ни проходил, не может кончиться иначе, как пролетарской революцией и ее победой».

Пророческие слова! И я в них поверил.

А если поверил, значит, прежде всего нужно со всей

неистовостью новообращенного рвать нити, связывающие меня со старым миром, даже самые тонкие и самые интимные.

Так, видимо, нужно объяснить то, что получилось у меня с отцом.

Но предварительно немного истории.

В свою Пятницу-Городню мы переехали, как сейчас помню, зимой, на нескольких подводах, цугом — из большого, но очень удаленного села Лунева. Здесь было ближе к Калуге, где в будущем предстояло учить подрастающих детей,— так я объясняю причину перевода отца сюда, на новое место службы. Но жить там было негде, так как от умершего престарелого предшественника отца остался очень небольшой и старый, к тому же перешедший к его наследникам дом, совсем непригодный для нашей большой семьи, и по ее потребностям нам был построен новый, церковный, или, по современной терминологии, казенный, дом в несколько комнат, в котором мы и прожили до первых дней революции. Но с годами дом пустел. Сначала умерла мама, потом подросли мы, дети, и после революции постепенно стали разлетаться, и отец остался один с прислугой. А в конце концов дом этот, как церковную, следовательно, общественную собственность, разобрали и увезли в какую-то деревню, чтобы из него построить школу.

Тогда отец приспособил обыкновенный амбар, переделав его в малюсенькую в два окошка избушку. А вскоре его разбил паралич — речь и сознание сохранились, но были парализованы рука и нога.

Таким инвалидом он прожил в этой своей халупе под присмотром грубоватой на вид, но душевной, деловитой и энергичной женщины с чисто русским именем Акулина. Мне трудно объяснить мотивы и побуждения этого ее подвига, потому что в нем не было и не могло уже быть ничего ни чувственного, ни корыстного, но, работая, как тогда говорилось, «за палочки» в соседнем колхозе, она кормила, поила отца, одевала и обмывала. Это был действительно нравственный подвиг человечески любвеобильной женской души.

Она даже создала отцу некий примитивный уют и комфорт, приносила иногда ему «чекушку», распивая, конечно, ее с ним вместе, и для развлечения завела в доме

хозяйство — кота, которого звали, как всех котов на Руси, Васькой, и шуструю рыжеватую собачонку с англо-американским прозвищем «Джек». Отношения между этими существами тоже были самые удивительные: когда наступала пора обеда и в щербатую глиняную миску Акулина наливала похлебку, то первым не торопясь, с полным сознанием своего права и достоинства, шел к ней Васька, а Джек сидел в сторонке, от нетерпения хлестая хвостом по полу, но не только не приближался сам к вожделенной миске, но лаял на каждого, кто подходил к ней, даже на Акулину. И только когда кот Васька, насытившись и облизнув усы, с той же важностью отходил в сторону, Джек позволял себе приступить к еде.

Вот как еще, оказывается, могут жить кошка с собакой!

Много позже я узнал об обстоятельствах дальнейшей жизни и гибели моего отца. Об этом написал мне из Калуги Царьков Николай Иванович, тогда подросток, потом машинист, водивший пассажирские поезда, а ныне инвалид второй группы.

«Мы с моим отцом и матерью проживали тогда в деревне Утешеве,— пишет он,— где перед войной вашим отцом Александром Филатычем был куплен дом, вернее, полдома. Вот с тех пор я помню вашего отца, потому что мне, когда отсутствовала Акулина, пришлось ухаживать за ним, утром помочь ему одеться, умыть, вернее, поддержать его возле умывальника, потому что ему трудно было это делать с одной рукой и одной ногой без посторонней помощи.

Потом нужно было поставить самовар и накрутить самокруток из табака для курения, после чего он садился пить чай, а после за чтение книг, которыми были заполнены все шкафы в его спальне.

Помню я рыжую собачку (забыл, как ее звали), верного друга Александра Филатыча. Когда он лежал, она всегда лежала с ним в постели у его ног, а когда вставал, она всюду следовала за ним, а если он сидел, она занимала место у его ног. Хорошая и верная была ему эта собачка, она приносила ему, видимо, не мало радости, и он разговаривал с ней, как с человеком.

Вообще у меня сохранилось до сих пор самое хорошее впечатление об Александре Филатыче. Он сыграл большую роль в формировании моего характера, в воспитании меня, научил любить природу и людей. Он много зани-

мался мною, много рассказывал забавного, иногда читал вслух киги. Все это я помню.

А если описывать последние дни его жизни, то это будет все равно что посыпать солью на незажившую рану, хотя я все помню и сам непосредственно участвовал, когда его вытаскивали из горящего дома, зажженного фашистами. Вернее, он сам выполз в сени, но одежда на нем тлела, лицо и руки были обожжены. Одежду мы тушили снегом, а его отнесли в единственный оставшийся дом во всей деревне. Через два дня его отвезли в деревню Чукаево, где он и умер».

А я, к стыду своему, кроме мимолетных наездов и скудной, в меру своих возможностей, материальной поддержки, не принимал в этом почти никакого участия. Больше того — я считал это исторической закономерностью и неизбежностью, потому что «религия — это опиум народа». Так сказал Маркс. А Ленин перевел это на русский язык — «сивуха». Значит, так и должно быть.

А теперь — о том, что получилось у нас с отцом.

По сути дела это было растянувшееся на годы продолжение наших вечерних бесед у городенской лежанки, только еще более углубленных и обостренных. Письма-диспуты. Аргументация отца была все та же: что «человек греховен и слаб и, предоставленный самому себе, лишившись бога, превращается в зверя», и ограждают его от этого «великие заповеди, оставленные Христом», и «евангельская закваска, действующая в ходе нравственного прогресса».

«Дорогой папа! — отвечал я ему.— Читаю твои письма, и мне вспоминается классическая похвальба крыловских гусей: «Ведь наши предки Рим спасли!» Бедные, неоцененные герои! Они забывают, что спасенный ими славный Рим давно пал под ударами гуннов, и на его развалинах выросла новая культура. Бедные слепцы, живущие счастливыми воспоминаниями и просмотревшие двухтысячелетнюю историю своего собственного падения!

Значение Христа, как и заслуги, допустим, римских гусей, история знает и по-своему ценит. Но носиться с этими заслугами через 2 тысячи лет, в другой обстановке, после полного забвения этого славного источника,— это поистине гусиное бахвальство. Христос велик, его заповеди святы. Хорошо! Но что они сделали, как по-

влияли на ход жизни? «Евангельская закваска», как ты говоришь, оказалась недействительной и не подняла тесто, именуемое человечеством. Об этом говорят две тысячи лет истории, когда после такого продолжительного действия христианского учения разразилась небывалая в истории человеческая бойня.

Поменьше самообольщения, уважаемый патер, и больше внимания к фактам и к исторической проверке их».

Дальше идут факты — средневековье, инквизиция и вся история папства, когда римский папа был первым помещиком и в вотчине святого Петра работали рабы, только не божьи, а епископские. И так далее.

«В какой же «прелести» нужно быть, как недосягаемо высоко нужно витать за облаками, чтобы не видеть этих фактов и вообще хода истории, и какая логика должна быть, чтобы не учитывать всего этого? Ведь пять веков, если считать от Ренессанса, ведется борьба свободного человеческого духа от пут духовного невежества. А тут вдруг все это забывается и ослабление религии приписывается какой-то кучке, которую в скором времени-де сотрет с лица земли если не божий, то народный гнев».

Это задиристое письмо вызвало со стороны отца самую резкую отповедь, а всю мою историческую аргументацию он назвал придирками, вызванными бессильной злобой.

«Ты просто неспособен доказать свою основную мысль, в бессильной злобе брызжешь слюной. И всю свою концепцию строишь на логически неправильном силлогизме: люди произошли от обезьяны, а потому положим души за други своя».

«Силлогизм? — пишу я в ответ.— Но твой «силлогизм» говорит, что не у меня, а у тебя, милый мой, с логикой не все в порядке. Ведь силлогизм при одной предпосылке невозможен. А попробуем вставить пропущенный член, вторую предпосылку, и тогда силлогизм примет нормальный вид: люди произошли от обезьяны, *а потом звериные черты атрофируются по мере развития социальной жизни,* и потому,— да-да, и потому! — положим души за други своя. Вот под таким силлогизмом согласен подписаться и я.

Религия и религиозный идеализм ставит в принцип полную свободу воли, вернее — ее независимость от условий среды. Для нас же воля человека — плоть от плоти и кровь от крови этой среды, ну и, конечно, его физической организации. Следовательно, изменяя соответству-

ющим образом среду, условия жизни, мы будем влиять и на направление человеческой воли.

Вы, игнорируя действительность, создаете химеры, миражи, пускаете мыльные пузыри, за которыми гоняются несчастные людишки. Мы, опираясь на факты, на реальную действительность, ищем и устанавливаем правду, иногда, может быть, и горькую, и на этом фундаменте строим свои идеалы, не обманчивые, как ваши, а конкретные, вполне досягаемые и плодотворные. Ведь идеалы тоже не с неба сваливаются, а вырастают из объективных условий жизни. И мало кричать о них и проповедовать, их надо осуществлять. Вам это не под силу, да вы об этом и не думаете, а большевикам не только под силу, но это их прямая, взятая ими на себя задача.

Вас пугает слово «борьба»? Но что же поделаешь? Борьба есть факт, можно сказать, закон жизни, не считаться с которым нельзя. Но если борьба есть закон для человека как биологического существа, то стремление к уничтожению этой борьбы есть закон для него как существа нравственного. А уничтожить его биологическое, звериное, «обезьянье» начало можно лишь уничтожением порождающих и питающих его причин.

В поисках выхода ты выдвигаешь свою «теорию концентров», по которой несколько нравственных и просвещенных личностей с течением времени могут перевоспитать все человечество. Но, милый мой, это же чистейший утопизм типа Фурье и Оуэна, показавший свою полную непригодность к жизни.

Камень, брошенный в воду, дает «концентры», которые постепенно расплываются, ослабевают и, наконец, сливаются с ровной поверхностью болота, где все это происходит. Да и сам камень дает только несколько кругов, а потом идет на дно.

Действие просвещенной личности оказывается намного меньше противодействия темной среды. Чтобы это действие было равно противодействию и, даже более того, чтобы оно было сильнее его и двигало массу, нужно ей, массе, *дать возможность мыслить*. Таким образом, не инквизиторское руководительство человеком, а вера в человека, в его силы и возможности, братство не в пресловутом Христе, а реальное, конкретное братство, в реальных условиях жизни, а потому и полное духовное развитие массового ума, коллективного человека и всего человечества, а не одной сотой его — вот основа этики.

И прогресс человека заключается в реальном изживании звериного начала, в победе нравственного человека над биологическим. Одним словом, прогресс есть процесс».

«Прогресс есть процесс? Не плохо сказано! — чуть ли не обрадованно ответил на это отец.— При таком взгляде логически непогрешимо утверждать, что закон борьбы действительно может быть смягчен, а в меру времени и устранен работой человека над своим нравственным совершенствованием».

Моя поправка:

«Расширим несколько конец этой формулы, и мы договоримся: работой человека над улучшением условий жизни нравственным совершенствованием. Вот это будет действительно логически непогрешимо».

Это — переписка 1921 года.

Вот и научил отец сына. «Что ты легко соглашаешься со мной? Ты спорь! Спорь!» — поучал он меня в детские годы. Вот и поспорили, почти поругались. И только много позже отец подверг весь этот процесс более спокойному и разумному анализу:

«Ты, молодой мальчишка, духовно незаконченный, формировался в период хаоса, когда разбивались вековые идейные ценности, но не создавались новые, когда крепкая, даже научная мысль терялась в определении перспектив ближайшего будущего... Проходят годы бурных испытаний новой жизни, этот процесс захватывает все больший круг людей, как творцов его, захватил и тебя. Я очень тебя понимаю».

Это был все-таки умный человек. Нет, от своих позиций он не отказывался: жизнь разваливается — старая жизнь,— но к нашей, к новой жизни стал относиться более терпимо. И даже когда я в 1925 году напечатал в журнале «Молодая гвардия» свой первый рассказ «Мед», самую низкопробную антипоповскую агитку, отец даже на эту пошлость не высказал мне своего огорчения. Только стороною, от сестры, я узнал, и то много позже, что этот мой литературный дебют расстроил его чуть не до слез. Меня же он очень спокойно спросил: «Ты что же? Думаешь под Гусева-Оренбургского писать?»

Я ему ничего не ответил на это, потому что я сам не знал, о чем буду писать.

Но не писать я уже, видимо, не мог, хотя до прозы еще не дорос. Проза требует большого жизненного опыта и концепции, поэзия, не исключая, конечно, ни того, ни другого, в основном все-таки выражает настроение, мироощущение, а для меня на том этапе важно было именно это, даже не миропонимание, оно у меня в основном к тому времени сложилось, а именно мироощущение, выражающее эмоциональную, глубинную подоснову человека. И в этом тогда для меня было самое главное — в восприятии жизни, бывшем результатом не приспособленчества, а решительной внутренней перестройки. Поэтому я ни в какие редакции со своими стихами не лез, но писать продолжал. Не для печати, не для кого, а просто из себя и для себя, потому что они шли изнутри, отражая, «самовыражая» новое для меня состояние души и внутреннее ее устремление —

К тому роковому, святому порогу,
Где мировой упадет капитал,
Чтобы тогда горячо заблистал
Свет коммунизма свободному миру.

Вершиной, пожалуй, этой веры в «свет коммунизма» была не то что пиеса, а нечто вроде оратории на смерть Ленина — «Говорит Москва». В авторском предисловии к ней сказано:

«Пиеса предназначена для рабочих клубов и школ. Цель ее — выявить отношение к смерти Ленина рабочего класса СССР, американского капитала, западного пролетариата и угнетенных народов Востока».

Соответственно и действие происходит в четырех горячих точках тогдашнего земного шара — в Москве, Нью-Йорке, Берлине и в горах близ Бомбея, в лагере индусских повстанцев, слушающих «рассказ о солнечном человеке», от одного взгляда которого «тают снега и гибнут сагибы». И пусть Ленин умер, но «имя Ленина затмило имя Будды, и оно будет сиять нам в солнечном свете, в блестках далекой звезды и в холодном сиянии снежных вершин».

Вот она какая получилась, «патетическая соната» наивного в своей искренности сердца. Ходил я с ней в существовавший тогда еще «Пролеткульт», но из этого, конечно, ничего не вышло.

В те годы как знаменательная памятная дата у нас ежегодно отмечался международный «Красный день»

I августа, день начала первой империалистической войны, антивоенный день, в предупреждение войны будущей. И вот мое стихотворение по этому поводу:

Мы помним все четырнадцатый год,
Год крови, стали и железа,
И вот опять, опять к тому идет,
Опять, знать, нужно и стрелять и резать.

Мы знаем — руки коротки у мировых злодеев,
Дух революции в рабочем классе жив,
И знамя красное, над новым миром рея,
Сольет все нации в единый коллектив.

Мы сменим все, коль это нужно будет,
Пилу — на штык, лопату — на винтовку,
И мы намнем — а это нужно будет! —
Кровавому капитализму холку.

Детская, наивная вера — до грусти.

Пусть это вирши. Но от души, пусть неумело, но искренне и очень лично. Это — именно самовыражение в его лучшем и подлинном смысле, вплоть до этой самой грусти или обращения к своему двухлетнему сыну:

Расти, сынок! Расти,
Ты будешь счастлив впереди!

Сын вырос, в войну пошел добровольцем и, заменив негодного к военной службе отца, сложил свою голову под Воронежем 1942 года, куда дотянулись отнюдь не короткие, а оказавшиеся очень длинными руки мировых злодеев.

Нет, я не приму никаких упреков в своем происхождении, в среде, в классе, груз чего я чувствовал на своих плечах почти всю жизнь.

А тогда я затолкал, я приглушил, я задушил в себе все, все, таившееся где-то там, в глубинах, в самых глубоких, неподвластных разуму глубинах души, неистребимые видения восемнадцатого года. Это было нужно, нужно! — и верил, во все верил — во все «зори грядущего», и в «воющий победный металл», и в «ярость буйную восставших миллионов», и в то, что «мудрость мира вся вот в этом молотке, в этой твердой, и упорной, и уверенной руке», и в то, что «гремят мятежные раскаты, гудит набата красный звон», и что «цветут, горят виденья Великой Мировой весны», и в то, что мы действительно «намнем — а это нужно будет! — кровавому капитализ-

му холку»,— во весь этот, с такой болью выстраданный мною и страною «мятежный, страстный хмель» эпохи, я искренне и так же страстно верил, что

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути —
В руках у нас винтовка.

Но до остановки оказалось очень далеко. С паровоза мы пересели на электровоз, на автомобиль, самолет, ракету; винтовку мы сменили на автомат, танк тоже на ракету, а «остановка» все манит, как уходящий вдаль горизонт. До нее еще нужно жить, а может быть, даже просто дожить, и идти к ней по долгому и бесконечно сложному пути, по которому мы до сих пор идем и идем.

А пока мы пели — и этот «паровоз», и «Как родная меня мать провожала», «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Белая армия, черный барон» — всё-всё, где эпоха проходила через поэзию, а поэзия отражала эпоху. Мы — это семейный, «столяровский» — по девичьей фамилии моей супруги — хор, потому что вся семья этой фамилии была на редкость музыкальна, голосиста, и я уверен, что в другое время и при других условиях добрая половина ее нашла бы себе место на сцене или эстраде.

Но этого, к сожалению, не получилось, зато всякие семейные встречи и летние сборы сопровождались непременным пением под гитару, а то и две, которым я подыгрывал на своей мандолине.

На один из таких концертов забрел как-то и мой батя. Пели разное, полузабытое, а то и вовсе теперь забытое, вроде «Яблочка» и тоже очень популярных в то время «Кирпичиков».

И вдруг, как взрыв, почти без всякого перехода,— лихие темпы ходовой в те времена комсомольской песни:

Мы синеблузники, мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки великой спайки,
Одной трудящейся семьи.

Я видел, как постепенно мрачнел и хмурился мой батя от этого напора слов и звуков и, наконец, потихоньку, крадучись вышел. Я пошел его проводить.

— И как тебе не противно петь эту пакость? — спросил он меня при прощании.

— Папа! Милый! — обнял я его за плечи.— Ну как ты не поймешь? Эпоха!

Отец ничего не ответил на это и пошел, помахивая суковатой, сделанной собственноручно из можжевельника палочкой.

МЕЖДУГЛАВИЕ ТРЕТЬЕ

Но я забежал вперед, а от хода жизни все-таки не оторваться.

Итак, мы на Урале, в селе Колчедан, на берегу реки Исеть, в большом, в несколько комнат, бывшем поповском доме, а при доме — просторный, теперь, конечно, запущенный двор, по которому бродят чьи-то, несчитанные видимо, бородатые козы. Это — наш детский сад, порождение исходных гуманистических принципов нашей советской педагогики, не увязанных еще с хозяйственной необходимостью и политикой. Поэтому ходили к нам дети и бедняков, и середняков, и даже уцелевшего от всех пронесшихся бурь старого, благообразного купчика — просто дети, которым нужно будет лететь когда-то на огнедышащем паровозе к заветной «остановке», и мы без особых инструкций, пособий и руководств, на свой страх и риск и по своему разумению, водили с ними хоровод, пели «каравай» и «елочку» и вообще делали все, чтобы им, детям (а в соседнем Шадринском уезде в это время закипало новое восстание), по-детски было хорошо и радостно. И главную роль в этом — не могу не отдать справедливость — играла моя Никифоровна, ее любовь к детям, чуткость и педагогическая изобретательность.

Не могу не отдать справедливость ей и в том, что ее природный ум и характер и вынесенная из очень трудной и трудовой семьи хозяйственность помогли нам выдержать и громадные сложности той нашей жизни. Может быть, благодаря этому мы и прижились бы там среди сурового, не очень приветливого народа, если бы не одно трагическое обстоятельство — возвратный тиф, изнурительная и, кажется, начисто забытая теперь болезнь: приступ — короткая передышка и новый, еще более тяжелый приступ с высокой температурой, и так несколько раз. У меня их было пять, и этот последний едва не оказался для меня действительно последним. Среди общего забытья мне ясно помнится, когда, лежа в постели, я вроде как бы икал, настолько сильно икал, что стукался голо-

вой о стену. И среди этой икоты я вдруг увидел широко раскрытые от ужаса глаза моей Никифоровны, как она потом посадила, чуть не бросила прямо на пол бывшего у нее на руках ребенка и побежала к жившему неподалеку старику фельдшеру. «Да он у тебя кончается!» — «утешил» он ее и, прибежав вместе с нею, проделал очень простую на вид операцию: намочив холодной водой простыню, он обернул ею все мое тело. Я сразу же вспотел так, что насквозь промокла вся постель, и сразу все прошло, и икота, и температура — чуть ли не в последний момент был предотвращен паралич сердца.

Но, выходив меня, жена тоже тяжело заболела и сама, ее взяли в больницу, а в это время умер наш первый ребенок.

Мы остались одни, и вся наша «культурная миссия» и вообще жизнь в этом неуютном месте как-то поблекла. А к тому же, в связи с надвигающимся в стране голодом, учителей сняли с пайка.

Одним словом, мы решили уехать и после ряда жизненных переплетений, проектов и поисков оказались опять в родных краях — Никифоровна в Москве, а я в Медыни. И вот в наших семейных архивах мне попалось мое письмо тех дней, письмо жене, любопытное для той ступени моей жизни.

«Я в Калуге. По пути зашел в Городню навестить своих.

Боже мой! Какая же все-таки затхлая атмосфера у нас в доме.

Отец и Ирина очень не ладят, в чем, кажется, повинны оба — я, по крайней мере, не мог стать ни на ту, ни на другую сторону. Отец пьет, очень сильно пьет и пребывает в безделии, лежа на своем, как он говорит, «Синае», т. е. на печке, и услаждая себя разговорами — то защищает «живую церковь», то проклинает ее, то негодует на советскую власть за то, что она не привлекла «живые силы» страны, то ругает и хоронит эти «живые силы», т. е. интеллигенцию, в чем, кажется, совершенно прав.

Ирина рвется из дому, так как, по ее словам, отец мешает.

А Тоня уехала совсем, потому что от отца нет жизни.

А сегодня ночевал у своих товарищей по гимназии, тоже поповских сынков. Узнал судьбу многих других ребят — один в Москве, другие в Питере. Не знаю, как те,

но эти плохо разбираются во всем — на все такие наивные отсталые взгляды. Скучно с ними.

В пятницу 13 октября читаю публичную лекцию. Все идет хорошо. Афиши расклеены. От налога освободили, за помещение взяли дешево — 20% сбора. Каков он будет — сказать трудно. (При полном сборе моя доля — 360 миллионов рублей.) Жду спокойно, не беспокойся и ты. Меня волнует, как устроилась ты, как здоровье? Совсем изболело сердце у меня только об одном — погода такая плохая, дождь словно нанялся, а у тебя нет галош, ну как совсем потеряешь здоровье.

Афиша о моей лекции, кажется, вызвала интерес. Еще бы — «Человек или божество?». Загвоздка! Встретился я с одним земляком, который кончил духовную академию и теперь читает где-то лекции по философии. Он очень заинтересовался моей темой, рвется выступить, но боится. Он — кантианец и в разговоре стал развивать кантианскую точку зрения. А я враг кантианства.

В афише я поместил приглашение представителям религии для участия в прениях. Интересно — как откликнутся. Я даже хочу, чтобы они были, так как уверен в своих силах. Не знаю, как пройдет и чем кончится лекция и какой сбор будет, этим обозначится моя дальнейшая судьба. Во всяком случае, к 7 ноября я буду у тебя.

Да! Встретил сегодня Щербакова, нашего бывшего директора. Изменился, осунулся, постарел, гордая когда-то голова ушла в плечи, одет плохо. Поговорили с ним. Жалеет школу, которая оказалась разрушенной, когда «повеяли новые веяния». Потом порасспросил меня, чем я занимаюсь, осведомился: «не большевик вы еще?» И, получив отрицательный ответ, спросил: «а как у вас развивается большевизм?»

Вообще, может, действительно в партию вступить, да не попасть, очень большие рогатки — пять поручителей нужно с пятилетним партийным стажем и пятилетнее кандидатство. Куда мне! А жалко!

Ну хватит, наболтал я тебе много, зато отвел душу. Вот только что даст мне лекция и как определится моя судьба. А к 7 ноября я у тебя буду. Жди».

Об этой пресловутой лекции напоминает мне сейчас сохранившееся с тех дней вещественное доказательство —

афиша, напечатанная на тонкой, чуть ли не на папиросной бумаге розового цвета. Она гласит:

«Калуга. Клуб командных курсов. В пятницу 13 октября 1922 г. такой-то имярек прочтет лекцию на тему:

ЧЕЛОВЕК ИЛИ БОЖЕСТВО?

Содержание...»

Чего там только не было: «Религиозно-философский кризис нашего времени», «Формула религии», «Научный пессимизм и его критика», «Вопрос о логической возможности допущения бога», «Этическая проблема», «Бог-истина и бог-добро», «Живая церковь и ее оценка», «Где же правда?» и т. д. и т. п.

Откровенно сказать, я уже не очень помню, какие расчеты в своем междупутье тех дней я строил тогда на исходе этой лекции и чем и почему этим самым «определится моя судьба»? Но ясно одно — что какие-то, очевидно продиктованные растерянностью, мои очень большие и решающие расчеты были, но не оправдались — народ на лекцию пришел, но не так много, и во сколько «миллионов» вылилась моя доля от сбора, я не помню. Особых дискуссий тоже не получилось, хотя какие-то разговоры все же были.

А исполнилось из всех моих планов, видимо, только одно: 7 ноября 1922 года я действительно приехал в своих стоптанных сапогах к моей Никифоровне в Москву, и мы за какие-то большие миллионы купили ей на рынке новые галоши.

А я стал устраиваться на работу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОКРОВСКИЙ ПРИЕМНИК

Когда я прохожу теперь мимо пивных ларьков с их разношерстной клиентурой, выстроившейся в длинные терпеливые очереди, я их называю «биржей труда». Горькая шутка. Это потому, что при этом у меня всегда всплывает в памяти въевшееся в душу, как угольная пыль в кожу шахтера, воспоминание о таких же длинных и терпеливых до безнадежности очередях в Московской бирже труда тех далеких лет. Помещалась она в большом красивом доме в Рахмановском переулке, где теперь находится наше союзное Министерство здравоохранения.

Громадный зал, до отказа, впритык, набитый людьми. Они часами выстаивали в очередях, которые, извиваясь и переплетаясь между собой как змеи, тянулись каждая к своему окошечку, а в окошечках их встречали до изнеможения усталые и от этого часто тоже люто, по-змеиному злые девчата. «Работы нет». «Работы нет».

Вот тут я на практике, на своей собственной шкуре понял, что значит — пролетарий. Я тоже день за днем, как пролетарий, выстаивал в этих очередях, в переполненном человеческими запахами зале и каждый день слышал убийственные по своей безнадежности ответы — «работы нет». А у меня нет и дома, нет крыши над головой и постоянного места на ночь. Зато у меня есть забеременевшая второй раз жена, следовательно, семья, о будущем которой нужно думать уже сейчас. Поэтому я еще и еще иду в этот гудящий безнадежностью зал, подхожу к осточертевшему злому окошечку и слышу: требуется педагог в Покровский приемник. Пойдете?

— В Покровский приемник? — недоумеваю я.— А это что такое?

— Пойдете — увидите. Ну как? Решайте быстрее, не задерживайте очередь. Согласны?

— Что за вопрос? Конечно.

И я получаю направление в этот непонятный для меня Покровский приемник.

Сама трагедия разыгралась в прошлом году, двадцать первом, когда солнце, словно очумелое, жгло месяц, другой, третий над всем Поволжьем и всеми прилегающими к нему губерниями, когда в воздухе стояла духота, будто в жаркой, натопленной печи, сухая, мертвящая; когда земля раскалилась и начала трескаться, и все, что с весны зазеленело на ней проснувшейся радостью и силой жизни, стало блекнуть, сжиматься и сохнуть, и над измученной и истощенной семилетними войнами страной нависла зловещая тень Царь-Голода. Люди сушили тогда и толкли солому, мох, липовое дерево, ели лошадей, собак, кошек, другие, обезумев от ужаса, ехали куда глаза глядят от надвигавшейся неминучей смерти.

Об этом страшно вспоминать, и не всякий этому теперь поверит, но это было.

Помог мне вспомнить это и всю атмосферу того времени мой очерк «Ася Давидовна Калинина», напечатан-

ный в журнале «Красная новь» в 1932 году, когда я уже стал писателем, и особенно один использованный там официальный документ.

«Война, голод, эпидемия с каждым часом все больше и больше уносит в могилу отцов, матерей. Количество сирот и беспризорных детей растет с ужасающей быстротой. Дети неорганизованной беспорядочной массой идут куда-то на юг, соединяются, образуют целые эшелоны, раскидывают целые лагеря. Волна беспризорности, порожденная разрухой, войной, все шире разливается по Советской России, напрягающей последние силы в борьбе с контрреволюцией. Не хватает средств вобрать всю эту массу бродячей детворы в детские дома. Детские дома, рассчитанные на 40—50 человек, вынуждены вмещать 150—200 человек детей. Ни о каком оборудовании здесь не может быть и речи. Целые дни дети проводят в лохмотьях, прямо на полу, ложатся на охапки соломы, на стружки, которые меняются крайне редко и все кишат паразитами, заживо объедающими детей. Посуды нет, дети едят из каких-то грязных баночек из-под консервов... Острый недостаток кухонной посуды заставляет готовить один суп в две-три смены в течение всего дня, и дети, как голодные зверьки, часами простаивают у дверей кухни, толкаются, дерутся, рвут свою долю из рук, едят обжигаясь и давясь...»

«Ткани в 1920 году выдано по 6 вершков на ребенка,— говорится в другом документе.— Ползолотника ваты на ребенка, одна пара холодной обуви на 39 человек и одна пара валенок на 312 человек, одно одеяло на 312,4 человека и одна пара чулок на 214 человек.

Местные работники, отчаявшиеся что-либо сделать, предлагают пустить детей по миру».

Это был доклад А. Д. Калининой, в прошлом прошедшей через годы подпольной работы, тюрьмы и эмиграции, а в советские годы в течение десяти лет возглавлявшей в Москве борьбу с беспризорностью, награжденной за это орденом Ленина.

«Стыдно: позор сказать, что эти дети — наше будущее, наша опора, гордость и сила» — так заканчивается этот ее доклад Феликсу Дзержинскому.

Только большевик мог с такой беспощадностью вскрыть беды и недостатки того дела, на котором он сам работает и с которым связаны лучшие его идеалы и цели. Это не обывательское паникерство, не клеветническое

наушничество, а боевая большевистская самокритика. Так же, по-большевистски, воспринял этот страшный доклад и Дзержинский, нравственную сущность которого я почувствовал и по его тюремным дневникам:

«Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть и очистить от грязи современной жизни».

Любовь и ненависть, но не корысть.

— Как я сильно пережил все это! — сказал он Асе Давидовне, прочитав ее доклад, и со своей железной решительностью взялся за дело: сделал личный доклад Ленину и заручился его поддержкой.

Так появилась сначала комиссия по улучшению быта детей при ВЦИКе, а потом, с увеличением размеров бедствия,— ДЧК, Детская Чрезвычайная Комиссия, во главе с самим Дзержинским, потому что детей действительно нужно было спасать в самом буквальном и чрезвычайном смысле.

Для полноты картины я позволю себе привести отрывок из того же очерка о поездке в Чувашию, прикрепленную по правительственной разверстке к Московской губернии.

«Теперь отправить пяток вагонов продовольствия дело, может быть, нескольких часов, а тогда поездка собиралась целых мучительных две недели — эти пять вагонов нужно было еще собрать из добровольных рабочих отчислений. Нужно было собрать теплые вещи для отправки детей в Москву. Все это длилось бесконечно долго, когда каждый день промедления стоил тысячи жизней.

Наконец поехали.

Четыре женщины ехали в холодных товарных вагонах, сидя на мешках на пятидесятиградусном морозе, стряхивая по утрам иней, покрывавший их за ночь. Нормальной езды до Шихран — сутки. Они тащились пять дней. Не помогли ни аршинные мандаты, ни красные плакаты на вагонах: «Не задерживайте помощь голодающим». У самой Москвы на станции Сортировочная простояли почти двое суток, и только телефонное обращение к Дзержинскому ускорило отправку. И дальше все то же—скандалы с железнодорожниками, убеждения, просьбы, ругань, угрозы арестом и медленное переползание от станции к станции. А на длинных, как сама бесконечность, остановках, особенно по ночам,— посменные дежурства у вагонов, охрана порученного груза, оберегание каждого зерна.

Чем ближе к месту, тем больше признаков голода: обозы беженцев, толпы крестьян на станциях, безмолвно провожающих грузы, предназначенные другим.

Шихраны...

На вокзале большая толпа худых, изможденных людей. Тихой, но нескрываемой радостью загорелась она, когда узнала, что груз дальше не пойдет, останется здесь, им, их детям, и в один час вагоны были разгружены. Работали все, не считаясь ни с чем, шатались и падали под тяжестью мешков, подбирали вместе со снегом рассыпавшиеся зерна овса и, как лошади, жевали их в неуемной жажде насыщения.

А дальше — путь до Чебоксар, столицы Чувашии, скорбный, полный незабываемого ужаса. Однообразная степь, мертвая и безжизненная. Только снег поскрипывает под полозьями саней, которые еле тянет истощенная крестьянская лошадь.

Деревня полтораста дворов. Но и она такая же мертвая, такая же безжизненная. Ни ребячьих криков, ни собачьего лая, ни баб у колодцев. Большинство изб заколочено — целые семьи или уехали, или вымерли. Но вот дверь не заперта. Входят. На кровати лежит мертвая мать, а рядом с ней ребенок сосет окоченевшую грудь. Больше никого. Дальше — мертвый отец и двое детей. Мертвый ребенок и обезумевшая мать. Царство мертвых.

И через весь этот ужас четыре женщины, четыре работницы несли коллективную волю московских пролетариев спасти эти тысячи людей, сохранить их для новой жизни, идеи которой горели и в этом страшном дыхании смерти».

Детей вывозили эшелонами из Чувашии, Татарии и других голодающих районов, и сами они бежали, кто как мог, наводняя Москву, превращаясь в беспризорных. И, как пункт первой помощи, как медсанбат в прифронтовой полосе, организуется Центральный детский приемник — Москва, Бакунинская, 81 — в бывшем женском монастыре «Покровская община», а в просторечии тот самый Покровский приемник, в который я и явился со своей путевкой от биржи труда.

Туда, в эти огромные, по-казарменному расположенные, квадратом, корпуса, вливались разные потоки разных человеческих несчастий — из вагонов, эшелонов, с вокзалов, из подвалов и котельных, из уличных асфальтовых котлов и отделений милиции. Кстати, по данным

того же документа, за 1921—1922 годы по всей стране было изъято с улицы и так или иначе устроено семь с половиной миллионов беспризорных детей. Это был поистине фронт.

К нам приводили и к нам сами приходили ребята — кто в остатках домашнего тряпья, кто в дамских туфлях с отбитыми каблуками, кто в поповской шляпе или замызганном красноармейском шлеме, мы их одевали, обували, мы им давали постели с чистыми простынями и шерстяными одеялами, мы их лечили — от лишаев, от конъюнктивита, трахомы и многих других болезней — и, чему можно в этих условиях, учили. И изучали. У нас была специальная психологическая лаборатория, из которой вышел ряд известных впоследствии психологов,— мы составляли на детей характеристики, обсуждали их на педсоветах и направляли по детским домам.

В этом котле отражалась вся пестрая картина социальных противоречий и сдвигов, происходивших в стране.

В этом котле я варился семь лет — был воспитателем, заведующим отделением и заведующим приемником для особо трудных, здесь я познал и трудности так называемого трудного детства, и первые радости их преодоления. Все это очень пригодилось мне впоследствии.

...Проверещал милицейский свисток, и в быстром течении московской привокзальной улицы вдруг закружился небольшой людской водоворот. Дама в меховом манто, ученик с сумкой, замасленная молочница с бидоном за спиной — все, кому минуту назад было некогда, вдруг, забыв о делах, заглядывают через плечи других — что случилось?

А в середине — щуплый парнишка на костыле с подогнутой ногой и здоровенная баба в мужицкой поддевке и валяных сапогах с калошами. Ее пунцовое, обветрившееся лицо покрывалось белыми пятнами, меняясь в тон ее крикливому рассказу. А кричит она о том, что у нее только что утащили мешок с телятиной. Кто? — она не знает, их было много, этих «огольцов», но все разбежались, остался только этот на костыле.

— А какая телятина-то была! — всхлипывает она.

— Сама ты телятина! — обрывает ее мальчуган.— Что ты видела? Когда ты меня видела, дура мордатая?

Он со злобой плюет ей в лицо. Толпа кричит, негодует, а парень сыплет отвратительнейшей матерщиной. Лицо его от грязи совсем черное, лохмотья, или, как он потом выражался, лапсердак, еле держались на его плечах, и сам он, шагая на костыле, как-то странно дергался всем телом.

Подошедший милиционер и его и бабу доставил в отделение милиции.

Потом этот парнишка оказался у нас в Покровском приемнике и даже прижился в нем. Он был такой же худой, но уже чистый, в казенном, но аккуратненьком, вместо своего «лапсердака», костюме. Он работал в сапожной мастерской, был старостой группы и наконец вступил в комсомол. Тогда он и признался мне, что мешок с телятиной действительно украли они с ребятами, устроили «шухер», пустили «на перетырку», значит по рукам, а сам он со своим костылем стоял «на стрёме», и нога у него была подогнута тоже «понарошку». От нас он был направлен на производство, работал на обувной фабрике, имел квалификацию мастера, стал ударником и даже получил там комнату.

Все это давалось очень непросто, с большим напряжением сил, часто на последнем пределе, когда жалость и любовь перемешивались и боролись с естественным возмущением, негодованием, а то и озлоблением, когда ослабевали тормоза и люди переходили границы человеческого терпения. Упомяну в связи с этим и показательный судебный процесс, когда ряд педагогов по материалам, поднятым «Комсомольской правдой», был осужден за побои. Были побеги, индивидуальные и коллективные, с хищением одеял, одежды и другого имущества. Были трагические происшествия со смертельным исходом. Все было.

Покровский приемник являлся поэтому не только школой, через которую проходили, с разными, конечно, успехами и результатами, сотни и сотни беспризорных и часто очень трудных ребят. В этих трудностях и схватках со множеством разнообразных, самобытных и исковерканных характеров получили закалку и те, кто с ними работал, люди тоже различных склонностей и талантов. Из нашей психологической лаборатории вышел А. Смирнов, будущий вице-президент Академии педагогических наук, в коллективах наших отделений работали талантливые, макаренковского склада, педагоги, начинающие худож-

ники, будущие артисты и ряд писателей: ныне покойная Любовь Копылова, вятич, кряжистый, словно дуб, Кожевников Алексей Венедиктович, будущий автор романов «Брат океана» и «Живая вода», не наживший тогда еще своей знаменитой бороды, и Каманин Федор Георгиевич. Раньше всех оставил нашу педагогическую стезю Кожевников; написав о беспризорных несколько книжек, он уехал потом на строившийся в те годы Турксиб, результатом чего был его первый роман «Магистраль».

Самой старшей и опытной из нас была имевшая за спиной уже собственные книги Копылова Любовь Федоровна, женщина со скорбным лицом и светлой душой. В нашем приемнике она написала и поставила со своими воспитанниками какую-то, не помню уже названия, но очень интересную музыкальную сказку, из которой ребята запомнили и долго распевали полюбившуюся им наивную веселенькую песенку.

Где ж ты, заинька, где ж ты был?
Где ж ты, серенький, где ж ты был?
В огороде, милый мой, в огороде, дорогой,
В огороде, милый мой, в огороде, дорогой.

А глядя на Любовь Федоровну, я, помнится, разродился небольшой самоделкой, посвященной событиям 9 января 1905 года, и сам же поставил ее силами ребят своего отделения.

Но ближе всех мы сошлись с Федором Каманиным. Для нас, да и по существу, он тогда еще не был писателем, а просто высоким красивым парнем, с пышной волнистой шевелюрой, в длинной военной шинели. Он был выходцем из Брянских, или, по-древнему, Брынских, лесов, всю жизнь не порывавшим связи с этим своим природным корнем. По характеру это был человек мягкий, доброжелательный, безобидный и необидчивый, вообще светлая душа, и за это жена его, такая же добрая и милая Наталья Васильевна, звала «солнышком». Эту общую их, нутряную и искреннюю, без всякого наигрыша, доброту мы скоро почувствовали на себе.

А у нас окончательно выяснилось, что моя Мария Никифоровна снова ждет ребенка, а учится в трудном, не очень интересном для нее институте и живет в студенческом общежитии, на пятом этаже, а я — здесь, тоже в общежитии. Что за жизнь? И мы, поразмыслив, решили, что в этих, реально складывающихся, обстоятельствах в

основу своей жизни нужно положить все-таки формирование семьи.

Мария Никифоровна бросает институт и переходит опять на педагогическую работу, к нам, в приемник. Администрация дала согласие на это и обещание в будущем дать комнату. В будущем... А пока?

Вот тут-то и проявили себя наши друзья Каманины. Занимали они длинную и узкую, что называется «холстиком», комнату с одним окном и предложили нам до этого «будущего» поселиться у них, сами предложили, по своей инициативе и доброте.

— В тесноте, да не в обиде. Мы тут, вы там. Помиримся! — весело и непринужденно, указывая на противоположные углы комнаты, сказал Федя, хотя сам он до старых лет в письмах, когда приходилось, подписывался попросту, по-деревенски — «Федька».

Так мы стали друзьями до тех же старых лет, хотя жизнь его была сложная: он то жил в Москве, то уезжал в свои Брянские леса, то попадал в тяжелейшие переплеты, которые подстраивала ему злодейка-судьба, то вдруг, самому себе на удивление выкарабкавшись из них, снова появлялся в Москве.

И тогда мы встречали его, как родного, а наш маленький Вовка с нескрываемой радостью прыгал и кричал: «Дядя гым-гым приехал!»

Что значит «гым-гым», не понимал ни Вовка, ни сам дядя Федя, не понимали, конечно, и мы. Да это и не имело значения. Это была просто игра: Федя строил из пальцев «козюлю», делал страшные глаза и пугающим тоном произносил свое «гым-гым». Вовка в полном восторге смеялся и прыгал. А когда Феде случалось у нас переночевать, то утром, едва проснувшись, Вовка просил: «Дядя гым-гым, расскажи сон». И «дядя гым-гым» рассказывает. А сны он видел всегда самые удивительные.

— Ходил я, братец ты мой, на охоту. Настрелял целую сумку разных там уток, куропаток, иду домой. Глядь, а сумки-то у меня и нету. Остались только две утки, и то жареные, и одеты они у меня прямо на ноги, вместо штанов. Ну ладно! А только подхожу я к деревне, а навстречу собаки, большие, кудлатые. Учуяли они, братец, моих уток, как набросились на мои утиные штаны... Я закричал и проснулся.

Дети вообще отличают душевных людей, и Вова с «дядей гым-гым» стали друзьями. И всегда, когда он появлялся в нашем доме, для сына наступал праздник — смех, возня и разные россказни.

А рассказывать Федя любил и умел, с интонациями, с тонкостью ви́дения, с детальностью изображения и юмором. Если он начнет рассказывать, то рассказывает все: как собачка бежала, как хвостик держала, и как он заблудился в лесу, и чего испугался, и чем оказалось то, чего он испугался, и какой сон видел, и перескажет этот сон во всех подробностях и переживаниях. Начав рассказывать о какой-нибудь бабке Агафье, он с такой же обстоятельностью расскажет и о ее зловредной дочке Анютке, и зяте Никитке, и как они поссорились, и из-за чего, и какие слова при этом говорили, и как чуть не подрались, а если попутно зацепит кого-то еще, то расскажет и о нем, и все так же весело пришепетывая и смешливо поблескивая глазами, с тем же задором и увлечением. Это увлечение сначала увлекает и тебя, и ты пробуешь следить и за бабкой Агафьей, и за зятем Никиткой, и за их перебранкой и перепалкой. А потом точно раздается какой-то щелчок, и ты, по требованию собственного логического строя, говоришь себе «стоп» и начинаешь раскручивать все обратно, прослеживая эту непрерывную, словно без точек и запятых, нить рассказа: а с чего все это началось, и к чему ведет, и вообще — что к чему? Словно кочан капусты — снимаешь один лист, другой, пятый, десятый и где-то в самой середке обнаруживаешь логическую сердцевину рассказа. Это утомляет, иногда сердит, Федя это чувствует, но не обижается, а просто переадресует свои рассказы к моей Марии Никифоровне, которая причудливо сочетает математичность своего ума с чисто женской страстью поболтать и, следовательно, послушать. А потом и я перестаю сердиться и начинаю понимать, что это не простая и вовсе не пустая болтовня, здесь тоже своя логика, логика восприятия и художественного мышления, логика его личности и незаурядного и самобытного таланта, которому начинаешь завидовать.

Так мы и сдружились, почти по Пушкину — «вода и камень», «лед и пламень».

Ну, «лед и камень» — это явно для красного словца, а если проще, то по типу и складу своему друг мой был больше художником, и я ему иногда в чем-то завидовал, а во мне все-таки больше сказывалось логическое, «мыс-

лительное» начало, и потому я внутренне продолжал свою старую «коронную», вернее, кровную тему религии.

Но работа есть работа, и поэтому основную массу времени и сил брала, конечно, она — прямая, трудная и требовавшая знаний. Иной раз это заставляло углубляться в такие детали, как, например, форма ручки слесарного молотка, и по этому вопросу — так как в приемнике у нас была и слесарная мастерская — я ходил на какой-то семинар в существовавший тогда «Институт труда» Гастева на Петровке.

Да и вообще работа требовала расширения знаний, и общих и педагогических. Сделал я попытку поступить во второй Государственный университет на Усачевке (ныне пединститут имени Ленина), экзамены сдал, но в приеме мне простой почтовой открыточкой было отказано по социальному происхождению. Пришлось пополнять образование самостоятельно. Об этом напоминают мне теперь сохранившиеся каким-то образом очень подробные и обстоятельные конспекты:

Каптерев — «История русской педагогики», Пере — «Дитя от 3 до 7 лет», Мейман — «Лекция по экспериментальной педагогике», Бехтерев — «Психика и жизнь».

С особым интересом я и теперь перечитываю конспект книги Лазурского «Классификация личностей». Мы так увлеклись разными общими проблемами — ролью труда, местом политических знаний, методическими, а что еще хуже, административными требованиями в деле воспитания — и забыли, что и воспитатель и воспитуемый — личности. А личности-то, оказывается, разные и по внутреннему богатству, и по объему и направленности интересов, и по уровню развития, и по характеру, и интенсивности психических проявлений. Есть личности пассивные, активные, рассудочные и аффективные, покорные и волевые, приспосабливающиеся и приспосабливающие, а есть и извращенные, упрямцы и насильники, расчетливые эгоисты и беззаветные альтруисты, вожди и жертвенники.

Ой, какие разные, оказывается, люди!

А параллельно я занимался в антирелигиозном семинаре при Бауманском райкоме партии под руководством известного антирелигиозника тех лет Федора Путинцева, который дал мне очень важную и интересную тему «Социальные корни религии в СССР».

Пытался я вкрапить антирелигиозные вопросы и в свою педагогическую работу. Вот на нескольких исписан-

ных расплывшимися чернилами страницах какие-то и для чего-то тезисы «Основы антирелигиозного воспитания» с тремя большими разделами: 1. Философские предпосылки. 2. Эмоциональная основа. 3. Педагогический подход.

А вот — совсем уже курьез! — пачка анкет, по которым я проводил индивидуальные беседы с воспитанниками, беседы наивные и в социологическом отношении неграмотные, с лобовыми, навязчивыми вопросами. Обычно из этого ничего не получалось, и я отмечал это в своих записях.

«Говорит с иронией, с усмешкой — «басни это», надсело про басни говорить, и действительно говорит неохотно».

«Говорит не очень охотно, иногда насупившись, иногда усмехаясь. Часто заметно, что он просто не решается говорить. При обосновании своих религиозных взглядов проявляет недостаточную живость мысли, как будто вспоминая что-то, для чего он не находит нужных слов, а заученные слова забыл. Наоборот, при рассказе о пережитом, например о смерти отца, рассказывает охотно и живо».

Хотя попадаются среди этих анкет и любопытные вещи.

«Сурков Василий 11 лет.

Пяти лет потерял мать, потом отца. Остался жить с бабушкой и дядей. Учился четыре года. Учитель был хороший, коммунист.

В церковь ходил, посылала мать, потом — отец. Зачем ходил, не знает. В церкви нравилось в большие праздники, когда певчие пели, а так — нет, с ребятами баловался.

О чем молился? О здоровье матери, потом отца. После смерти отца — о здоровье дяди и упокоении отца с матерью. Теперь отвык, да и незачем, все равно толку нет».

Теперь в бога не верит. «Здесь, сначала, когда в классе ребят нет, помолишься в угол, чтобы пришел кто-нибудь из родных проведать, выйдешь за ворота, идешь, помолишься, чтобы пришел хоть дядя проведать — никто не приходит. Вот я и решил, что бога нет. Что ж он? Молился о здоровье матери — она умерла, молился о здоровье отца — он умер, молился, чтобы кто-нибудь наведал,— никто не идет — какой же он бог? Чего зря молиться? Да его и нет нигде, ему жить-то негде».

«...Думал ли ты о смерти?» — «Как не думать? Жить-то хотца. А после смерти человек сгниет, ничего не оста-

нется. Земля землей».— «А душа?» — «Какая душа? Души нет».— «Как нет?» — «Ну да, нет. Есть сердце, легкие, мозг, и души никакой нет».

«...Если ты голоден, будешь ты просить у бога хлеба?» — «Какого бога? Его нет. Я скорее у торговок попрошу».— «А если ты попросил у них, а они тебе не дали?» — «Украду».— «Как украдешь? А правда-то на чьей стороне?» — «На моей».

Вот в каких направлениях работала тогда моя мысль. Каманин повернул ее в сторону художественной литературы.

...В химии есть термин и явление — «катализатор», вещество, изменяющее силу и скорость реакции. Федор Каманин был для меня таким своеобразным психологическим катализатором, повернувшим мою мысль в сторону художественной литературы и ускорившим, таким образом, затянувшийся процесс моего творческого вызревания.

Получилось это очень просто, даже обыденно: он стал писать сам и вдруг подарил нам свою первую книжечку, маленькую, тоненькую, но свою — «Пожар» и почти следом другую — «Блоха». Потом он со своей Натальей Васильевной пришел по какому-то случаю к нам в гости в новом, купленном на гонорар, сером в мелкую клеточку костюме и заметно форсил им, а я незаметно, но дико завидовал ему — почему он может, а я не могу?

Дотошный читатель спросит — чему завидовал: костюму или книжкам? Что ж, скажу честно: и тому и другому.

Потом Федор Георгиевич стал брать меня с собой на литературные собрания крестьянских писателей, а чаще на «четверги» литературной группы «Кузница», о которой он прослышал, еще будучи в деревне, и, как он мне впоследствии признался, ради которой приехал в Москву,— потянуло к писательству. Руководящим ядром «Кузницы» были Гладков, Бахметьев, Ляшко и поэт Обрадович, но «четверговые» заседания вел всегда Николай Николаевич Ляшко, милейший человек, с мягким, внимательным взглядом и таким же мягким, тихим — отчасти из-за нажитого на каторге туберкулеза — голосом, что придавало этим заседаниям дух товарищества и какой-то даже домашности.

К «Кузнице» не подходило даже слово «заседание», это были скорее товарищеские встречи, обсуждения, беседы, когда после читки какого-то произведения Ляшко просто обращался к собравшимся:

— Ну, как будем говорить? По солнцу или против?

И говорили все подряд, когда по солнцу, когда против солнца. В случае какой-нибудь заминки Николай Николаевич старался ободрить людей:

— Вы что скажете?

— Я воздержусь.

— Хорошо, подумайте... А вы что скажете?

Случались и вспышки страстей, но Николай Николаевич старался приглушить и их. Когда Новиков-Прибой читал какое-то свое произведение, кажется «Ералашный рейс», и мой Федя Каманин попробовал сделать ему какие-то замечания, Петр Силыч, ходивший уже в «мэтрах», обиделся: «Будете меня учить». Тогда Николай Николаевич так же тихо и спокойно сказал Феде:

— Продолжайте.

Запомнилась мне читка остроумной, проходившей под общий смех повести Сергея Беляева «Как Иван Иванович от большевиков бегал» и сочной, как мякоть кавуна, повести самого Ляшко «С отарой».

На этих обсуждениях я знакомился с разными манерами, стилями, писательскими индивидуальностями и критическими оценками и вырабатывал из всего этого что-то свое. Все это рождало во мне и стремление самому испробовать свои силы в осуществлении громогласно когда-то возвышенных заявок на эпохальный роман не ниже «Войны и мира».

Вместо «Войны и мира» родился «Мед», мой первый напечатанный рассказ, слабость которого я скоро почувствовал.

Было у меня и еще несколько «проб» — «Последний звон», «Обреченные», «Лес», пробы все того же антипоповского характера, как и «Мед», тенденциозные, надуманные, злые и потому плохие.

Особенно огорчала меня неудача с большим рассказом «Лес», на который я возлагал большие и литературные и материальные надежды. Да, и материальные, потому что ставка у нас была 54 рубля и жили мы трудно, рассчитывая не только каждый рубль, но и копейку. Не постыжусь сказать, что мой первый рассказ «Мед» я понес в редакцию журнала «Молодая гвардия» босиком и только там, на каменной ступеньке крыльца против Политехнического музея, надел ботинки — и теперь каждый раз, когда прохожу мимо этой ступеньки, я вспоминаю, как обулся здесь перед тем, как войти в редакцию.

Теперешние «начинающие» этому могут не поверить, но это было.

Одним словом, я очень рассчитывал на свой «Лес», особенно на его начало:

«В зимнюю пору хвойный лес точно в сказке. Издали он сплошною стеной встает среди белого поля, ровной пеленой уходящего в сумрачную даль, а вверху сливается с серым неприветливым зимним небом, покрытым низкими беловато-серыми тучами. Вблизи же он, словно сказочный сад, разукрашен зимним алмазным нарядом, делающим его то эфирно прозрачным (!) сплетением серебристых, алмазных ветвей, покрытым блестящим, сверкающим всеми цветами радуги инеем, то призрачно чудовищным скоплением фантастических образов, какие рисует нам воображение при виде поникших под тяжестью снега ветвей громадных старых елей и заваленных массивными снежными пластами маленьких елочек, принявших действительно странные, необычные формы, как в сказке очаровывает...»

— Послушай! А ты действительно думаешь, что это очаровывает? — спросил меня мой друг Федя Каманин, взявший на себя труд прочитать и проконсультировать это художество.— Все эти елки-палки. И «заяц, след которого вьется на опушке». И страшный волк, и все решительно и тому подобное.

Он смотрел на меня испытующим взглядом, присматриваясь, видимо, какое впечатление производят на меня его слова, и добавил:

— Как это у Чехова сказано: и прекрасное должно иметь пределы. А смотри, что дальше: «...но сказка разрушается в зимние вьюги...» А какие еще вьюги бывают? Летние?.. «Когда могучий ветер, вольно несущийся по ровному белому полю...», ну и так далее... «вдруг закрутит, завертит, вздохнет и пойдет гулять по верхушкам могучих сосен». Откуда ж сосны-то взялись? Все время были ели и елочки, такие, сякие, разэтакие — и вдруг сосны. А потом — «могучий ветер», «могучие сосны». Нехорошо. Или: серое неприветливое небо с низкими тучами и вдруг — алмазный наряд и серебристые ветви, все цвета радуги... и все такое, и так далее. Ты понимаешь, и искры и блески — все это может играть при солнце. А у тебя сплошной сумрак и — радуга... Ты не обижайся, но...

Федя смотрел на меня добрым, просящим, чуть ли не умоляющим взглядом, но ничего другого говорить он не мог, потому что все это действительно была сплошная безвкусица. И, убедившись, видимо, в том, что я не обижаюсь, он продолжал:

— Ну, а дальше... Дальше такое нагорожено, братец ты мой, и наворочено — черт-те что!

И вот я перечитываю теперь это и вижу, что и в самом деле нагорожено и наворочено... другого слова не подыщешь и не подберешь — «черт-те что».

Что было в действительности?

В действительности был лес, составлявший всю поэзию нашей городенской жизни. И был проект будущего храма, который собирались воздвигнуть на месте нашей маленькой церквушки на помин души какого-то помещика, который для этой цели и завещал во время оно весь этот благодатный лес. Проект будущего храма лежал у отца в киоте, под образами, он вынимал иногда его, расстилал на столе и рассматривал — высоченная колокольня и голубой купол с золотыми звездами. Поистине — Храм.

— Пап! — спросил я когда-то у своего отца.— А скоро ты строить его будешь?

— А тебе что?.. Очень хочется?

— Да нет. Это я так. Вообще,— смутился я.

Отец немного помолчал, провел рукой по плану, расправил загнувшиеся кое-где углы и вздохнул:

— Лес жалко... Ты понимаешь... Чтобы строить такую хоромину, нужны большие деньги. А для этого нужно продать лес. Это легко. Ну, тот же Арефьев его с руками оторвет, сведет и вывезет...

— И пней не оставит,— подсказал я.

— Ну, пни-то, пожалуй, останутся, а среди них этакое великолепие. А зачем?

Бутовый камень для фундамента давно уже был заготовлен и лежал, сложенный в штабеля, за кладбищем. А на лес у отца не поднималась рука, и стоял он, заповедный, среди окружающих его деревень. А в деревнях жили люди, мужики со своими хозяйственными нуждами — кому нужно одно бревно, а кому десять. Куда ехать? В попов лес.

Охранял лес церковный сторож, одинокий и сумрачный старик Абрам, заживо заготовивший себе гроб, «деревянный,— как он говорил,— тулуп», стоявший присло-

ненным к сторожке, в которой он жил. В обязанности его входило звонить в колокола, во время службы прислуживать в церкви и присматривать за лесом. И вот картина: Абрам этот приводит к отцу порубщика, и начинается «расправа».

Я уже говорил, что отец любил разные анекдоты и байки про архиереев, в том числе и про двух митрополитов — Филарета Мудрого и Филарета Милостивого.

Филарет Мудрый — это тот, который заковал религиозное учение в железную броню строгих церковных догматов. Эту догматику мы долбили в гимназии на уроках «закона божия» — по специальному учебнику под названием «Катехизис»: «Бог есть один, но троичен в лицах: бог-отец, бог-сын и бог — дух святой».

Что сие значило, объяснялось очень просто: «Тайна сия велика есть». И всю эту тарабарщину нужно было учить чуть ли не наизусть, и только упомянутые выше либеральность и снисходительность нашего «пастыря», отца Иоанна, смягчали для нас жесткость и неудобоваримость всей этой догматики.

А про Филарета Милостивого отец рассказал байку, очень напоминающую эпизод из студенческой жизни молодого Лобачевского, который проехал по городу Казани на корове и за это его привели на расправу к этому самому Филарету. И отец очень смешно изображал в действии эту «расправу». Сначала он дробно топотал на провинившегося и угрожающе произносил одно только слово: «Кавалерист!» Потом отходил в дальний угол и топал, как говорится, по второму заходу: «Я т-тебя, кавалерист!» Затем все повторялось по третьему разу и заканчивалось совсем грозно: «Пошел вон, кавалерист!»

Что-то в этом роде, в разных вариантах, происходило и у нас: отец топотал, кричал, грозил, порубщик падал на колени, умолял смилостивиться, обещал, что «отруби ему руки по локоть» — он забудет дорогу в церковный лес, и кончалось все примерно как у Филарета Милостивого.

А что «нагородил» я?

Тут и жестокий сторож с деревянной дубинкой, и жалкая бедная бабенка, да еще с девчонкой, и суровая расправа с ней, и мужицкий бунт, и контрреволюционный заговор у попа, и вовремя нагрянувшие работники ЧК, накрывшие заговорщиков, и расстрел на месте под злове-

щий шум осеннего леса, и обнажившаяся свежая, оплывшая могила среди воскресающей новой жизни.

Вот это действительно нагородил!

И я никак не был в обиде, а, наоборот, был благодарен моему другу за то, что он вовремя, так сказать, на эмбриональной стадии, помог мне разглядеть и преодолеть главный грех, грозящий писателю,— грех лжи, фальши и приспособленчества.

И еще одна тропка вела меня к большой, настоящей дороге в настоящую литературу.

Над громадами дремлющих башен,
За седыми стенами Кремля,
Всходит солнце всемирное наше,
И вселенская светит земля.

Мне до сих пор помнятся эти строки из учебной книги, по которой я занимался с ребятами в одной из групп Покровского приемника. И помню подпись под этими словами — Сергей Городецкий. И вдруг я узнаю через Наталью Васильевну, жену Каманина, что в Центральном доме работников просвещения, где она работала, существует литературный кружок, которым руководит он, Сергей Городецкий, тот самый, настоящий, известный поэт, связанный в свое время с Блоком и Бальмонтом, затем ставший литературным крестным отцом Сергея Есенина. А как я потом лично от него узнал, он в это время писал новый, ныне общепринятый текст к опере «Иван Сусанин».

С внутренним трепетом пришел я к нему в литературный кружок и долгое время просто прислушивался к ходу занятий. Понравилось. Работать у Сергея Митрофановича было интересно — чувствовался вкус, культурный диапазон, а главное — подкупающая и ободряющая доброжелательность по отношению к «будущим гениям», как он в шутку именовал нас, своих подопечных. С той же доброжелательностью он отнесся и ко мне, вынудив меня в конце концов нарушить молчание и показать то, что привело меня в его кружок. А привело меня следующее.

В летнее, отпускное время я с семьей иногда наведывался в свои родные медынские и городенские края и каким-то боком соприкасался с развертывающейся там жизнью. На этой основе у меня получился новый стихотворный опус, нечто вроде поэмы, под названием «Лебе-

да». Речь шла в ней об одной истории с деревенской кооперацией, истории, которую я якобы подслушал «в одной замызганной чайнухе», о том, как в эту кооперацию «попали люди-то не наши, а свои».

Вот если б все служили честно,
Кооперация была бы повсеместно.
А только, сват, в том и беда,
Что в нашем огороде завелася лебеда.

Такова, как говорится, преамбула, а дальше начинается анализ. Тут и сельский нэпман, «такой пройдоха, прямо дока», тут и «артист, фотограф, музыкант, а в общем деревенский франт», и «человек экстравагантный», тут и бывший комиссар, который «втемяшился» в это дело, «как коммунист рубаха», тут и авторское заключение:

Да, братцы, много лебеды
Затёрлось, верно, к нам в ряды.
Но поросль молодая,
Могучая, живая
Растет.
И вместе с ней идет
Красивое, большое время,
Когда взвращенное, иное племя
Заселит матушку-землю,
Сведя на нет, совсем к нулю
Коренья злые лебеды,
Остатки рабства, нищеты.

Вот этот анализ и понравился Городецкому. Он пригласил меня к себе, и я бывал у него на квартире у тех самых седых стен Кремля, о которых он писал в своем стихотворении, напротив Исторического музея, и в этой квартире, кроме портретов Блока и Есенина, мне по своей необычности запомнилась ярко, красочно расписанная выходная дверь и по ней выполненная старинной славянской вязью надпись: «Уходя — уходи».

Я хорошо помню гортанный, слегка картавящий голос Сергея Митрофановича и общую схему его суждений о моей «Лебеде»:

— Это, конечно, не шедевр. Это явное подражание Демьяну Бедному со всеми его плюсами и еще более — минусами. Но что мне нравится, это не столько поэтические, сколько общелитературные качества — народность языка, знание деревенской жизни, яркие характеры и, при немудреном сюжете, острый анализ жизненных

явлений. Тут что-то есть... А вы хотите попробовать этот сюжет в прозе?

Печатать эту «Лебеду» я и не пытался, об этом говорит рукописная первозданность ее внешнего вида, но оценка Городецкого была тем дополнительным толчком, который усиливал мои «литературные бредни».

Так все тропки вели к одному, постепенно назревавшему скачку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

САМСТРОЙ

«Фронт» кончился, и с семи с половиной миллионов беспризорных детей в голодные годы к 1928 году эта цифра упала до 18 тысяч. Но работа усложнилась. Вместо спокойных и тихих «помголовских» ребят, способных часами сидеть без руководителя и, объединившись группами, петь свои песни (это особенно относилось к татарам, чувашам), теперь — взбудораженная, взвинченная, бывалая публика, прошедшая суровую школу многолетней (3—4—5 лет) уличной жизни, познавшая табак и водку и прочие «прелести», тысячами незримых нитей связанная с блатным и преступным миром и живущая по своим, скрытым для постороннего глаза, законам.

И в это время я оказался на самой горячей точке, как говорится, на самом бую. Я был назначен заведующим приемником для особо трудных в корпусах знаменитого в прошлом Рукавишниковского приюта, совсем рядом, впритык, с теперешней «колокольней» Министерства иностранных дел. Там же я получил и комнату в бывшем кабинете самого Рукавишникова с встроенным в стену книжным шкафом, сейфом и громадными окнами, выходящими на внутренний двор, для обзора.

И вот помню новогоднюю ночь 1927 года. Собрались родные, друзья, время подходит к самому торжественному моменту, и вдруг тревожный стук в дверь. Открываю — передо мной женщина — ночной дежурный педагог.

— Григорий Александрович, у нас что-то неладно.

— В чем дело?

— Не знаю. Не пойму. Кто-то выключил свет, шум, возня, крики. Я боюсь.

Оставив гостей, иду в спальню. Полная темнота и зловещая тишина, от которой тоже становится не по себе. Потом в этой тишине раздается сочное:

— М-мя-у-у.

— С Новым годом, ребята! — говорю я самым что ни на есть бодрым новогодним голосом.

И в ответ — из всех углов этой самой зловещей тьмы дружное, многоголосое:

— Мя-у! Мя-у-у! Мя-у-у!..

Сознание лихорадочно работает, ища выхода. Я один и эта мяукающая тьма. Что кроется и что готовится в этой тьме? Я жду и, когда мяуканье несколько стихает, громко говорю:

— Есть ли тут человек с человеческой душой?.. Хотя бы один!

Мяуканье сразу прекратилось, совсем. Минутная, совершенно глухая тишина — и вдруг голос:

— Ребята! Будя!

По голосу узнаю — Червонец.

Это — высокий, подвижный парень с золотисто-рыжими волосами и такими же веснушками, за что, видимо, и получил такую кличку в честь недавно выпущенной купюры десятирублевого достоинства с золотым обеспечением.

К нам он попал из какого-то детского дома за устроенный им там якобы бунт. Он это отрицает — «бунта никакого не было, а просто пошумели, потому что они сами воровали, а нас голодом держали». Ну, в прошлом теперь разбираться было трудно, а по глазам и всему облику в нем чувствовалась внутренняя честность. И вот в решающий момент она сказалась. С его помощью ребят удалось успокоить, и тогда вдруг обнаружилось, что за это время двое сбежали, забрав с собой одеяла и простыни,— они были организаторами этого новогоднего «праздника».

Вообще было трудно, а я не Макаренко, это я понимал.

Да и в литературных делах к этому времени вдруг наметился некоторый перелом. Ту самую мою многолетнюю тему «Человек или божество?» я переосмыслил, переделал, перелопатил и снес в существовавшее тогда интереснейшее издательство «Атеист». Рукопись понравилась, была принята, понравился и я как автор, мне была предложена вторая тема: «Есенин — есенинщина —

религия», она мне тоже понравилась, и стало ясно: теперь или никогда! Нужен скачок. И я его сделал: кстати, подвернулся проект какой-то реорганизации, и, пользуясь моментом, я подал заявление об уходе с работы. А так как остаться совсем без работы было страшно и непривычно, я устроился в школу взрослых у строителей.

Бараки, куда я пришел, приткнулись к самой окраине Москвы (Карачарово), между двумя железными дорогами — Курской и Нижегородской, среди огородов и болот. Бараки деревянные. Меж двух дощатых обшивок засыпаны опилки. Они сыплются сквозь щели, от них заводятся блохи и прочая нечисть. Крыша толевая, протекает. Внутри два ряда кроватей, но тесноты большой нет.

Однако, войдя в барак, я увидел широкую картину веселья. На топчане, заложив ногу на ногу, сидел гармонист с потухшей папиросой в зубах и вел бесконечную плясовую, какую-то прыгающую мелодию, перед ним плясуны — неимоверно длинный и потому смешной русский парень, в неимоверно больших сапогах и корявой брезентовке, и маленький, подвижной и легкий, точно живчик, татарин, в штиблетах, пляшут «до последнего», кто кого перепляшет. А кругом зрители и болельщики, подбадривающие то одного, то другого. А я сам когда-то был неплохим плясуном, особенно любил «ползунка», и тоже принял участие в общем хоре ценителей и как-то незаметно вошел в общий тон и компанию. Но когда выяснилось, что я буду работать у них учителем по ликбезу, вокруг меня образовался свой кружок и начались разговоры.

— Ну, как живете?

— Да что ж? Наша жизнь комиссарская!

Ответ был явно «с подковыркой», и это обнаружилось очень скоро — непрерывным потоком полились жалобы. Жаловались все и на всё, и сначала трудно было разглядеть индивидуальности. Молодой парнишка, черный, с выдающимися надбровьями и умными глазами, говорил о механизации:

— Везде механизация, а у нас что? Вода заливает, ее «лягушкой» откачиваешь, качаешь, покуль руки отсохнут.

— Да что руки? — перебивает его мужик с отвисшею нижней губой и сонными глазами.— На то и руки. Порядка нет — вот главное. А пойдешь жаловаться, он начинает туды-сюды: «Я бы с удовольствием, но мы не можем, поскольку мы аппарат». Ему, видишь ли, и русскую

горькую нельзя, дохтур не велел, говорит — для кишок вредно, портвейны пользительней. А я что? Я тоже человек и тоже кружку пива хочу.

— Одно слово: за что боролись, на то и напоролись,— подытожил все острый, видимо во всех смыслах, человек с острым носом, острыми скулами и острым взглядом.

— Вы вот что скажите, товарищ учитель: хозяева мы?

— Кто?

— Ну мы, рабочие.

— А как же? Хозяева,— убежденно ответил я.

— Я, стал быть, хозяин, а прораб приказчик.

— Ну?

— А этот приказчик хозяина-то по шапке на три веселых буквы. Так, что ли? Расскажи ты мне эту комбинацию. Я в революцию самый заводила был, помещиков громил, землю отбирал, самым первым председателем был, контрибуции брал, на фронт позвали — на фронт пошел, Сиваш аж по самую задницу переходил, а теперь я ему плох оказался. А куда пойдешь? Чего скажешь? Ведь все говорят, что приказано. Приедет на собрание представитель, ну и дует по записочке. Мужики кричат — довольно! Хватит! Слышали! А он знай свое — потому ему велено сказать. А мужики начнут свое выкладывать, понимаешь, то, что печенку разъело,— не по существу, говорят, демагогия. Нет, товарищ учитель, тут комбинация. Хи-итрая комбинация!

Так я с первого же дня попал в водоворот суждений и настроений, в которых нужно было разбираться и разбираться — что к чему и от чего?

...Это — 1928 год. А следующим летом я поехал культработником на строительство большой новой фабрики в поселке Ивантеевка, под Москвой, и попал в тот же круг суждений, настроений и проблем, только в еще более крупном масштабе, результатом чего был мой первый роман «Самстрой». Это было почти полвека назад, и роман этот, конечно, не сохранился ни в одной библиотеке, а для меня он имеет большое автобиографическое значение не только тем, что открыл мне выход в литературу, но и вообще для моего внутреннего развития и самоощущения. Это было проникновение в иное бытие, в новую социальную и очень своеобразную социальную среду и к тому же в не менее интересное время.

Первая пятилетка, первый год — вот что такое «Самстрой».

Мы строим в неконченном зданьи
По шатким дрожащим лесам,
С надеждой и верой в сознаньи,
С любовию к будущим дням.

Этот эпиграф, взятый из подлинной, натуральной стенгазеты строителей — она так и называлась «Мы строим», предпосланный роману, кидает свой свет на весь его внутренний дух и смысл: все шатко, неоконченно, но все спаяно и надеждой, и верой, и любовью к будущим дням, в которые верит и автор, и его главный герой — строительный десятник с романтической фамилией Соколенок.

Да и вся стройка такая же романтическая по духу, хотя весьма реалистическая, почти натуралистическая по материалу.

Если сейчас современная стройка — сложный организм, порождающий и сложные проблемы, то в те годы эти сложности, пожалуй, были еще больше. Твердая кадровая прослойка постоянных строителей только еще складывалась, а основную рабочую силу составляли сезонники, временные, полурабочие-полукрестьяне, приток которых в те годы усилился, а классовый состав усложнился благодаря происходившей в деревне коллективизации. Это и нашло в «Самстрое» отражение в описании двух артелей — трудовой и кулацкой. Отсюда — острота ситуаций и конфликтов вплоть до забастовки, с которой начинается роман, и реплик, суждений и споров, прямых и острых, раскрывающих дух времени, позволивший сохранить всю искрометность этих столкновений и споров, благодаря чему сохраняется и вся острота и глубина идейно-политических процессов тех дней, без прилизывания и лакировки. А в ходе работы я пытался проникнуть в суть, в глубину этих проблем и процессов, и производственных, и социальных, а потому старался всюду быть, все видеть, все слышать и всюду «сунуть свой нос».

...Отселе я видел потоков рожденье.

Сначала я терялся в этой внешне беспорядочной сутолоке стройки, в бесконечном шуршании гравиемойки, ворчании бетономешалки, в визге лебедок, в дробной перебранке молотков, лязге железа и вспышках автогенной сварки, но потом постепенно привыкал к этому разноголосью и начал улавливать в нем свои ритмы и свой внутренний смысл. Я уже знал, где и что, на каком этаже что делается, что нужно посмотреть и с кем поговорить.

Так сами собой как-то завязывались сюжетные узлы.

Один раз, блуждая по этажам стройки, я оказался на хаотически наваленной куче теса, а глянув вниз, увидел под собой пропасть в четыре этажа. Это была явная небрежность, которая могла окончиться несчастьем...

Со сжавшимся сердцем я быстро отскочил в сторону, зато в романе уготовил эту гибель одному из героев.

Я просматриваю теперь толстую, в 200 страниц, «записную» тетрадь с наклейкой: «Самстрой». Чего там только нет!

«Ползет стена — аврал».

«Сплинклерная система».

«Беременная колонна».

«Температурный шов».

«Простои. Общий процент 9,35%. Причины — отсутствие энергии, отсутствие воды, порча механизмов, завал шахты, дождь, отсутствие материалов».

И проблемы, мысли, споры и наблюдения. Вроде «За человеческой борьбой кроется борьба классов».

Но особенно любил я свободные вечера, когда можно было зайти в любой барак, присесть на какую-нибудь кровать, точнее — топчан, и слушать вольное течение жизни, ее гомон и воркотню, все, что говорит народ, когда остается наедине с самим собой.

«Ты не смотри, что все они в брезентовках ходят, а разберись, что у них под брезентовками бродит»,— сказал мне один тихенький, но, видимо, мудрый, как он сам про себя говорил, «молчок-старичок». Следуя этому совету, я вслушивался и вдумывался в то, что видел и слышал вокруг себя, и мысль моя, подстегиваемая, точно горячими бичами, бесконечными жалобами и спорами рабочих, билась, как в тисках, силясь отделить правду от неправды и стараясь нащупать ту едва уловимую грань, где количество переходит в качество, самокритика — в критику, критика — в недовольство, недовольство — в клевету. Иногда я не выдерживал и ввязывался в разговор со своими стандартными, ничего не означающими советами.

— Жаловаться нужно, добиваться! Советские законы за вас.

Но в ответ получал или пренебрежительный до безнадежности взмах руки, или злой отпор.

— Э-э-э, законы! Вера в Иерусалиме, справедливость на дне моря с якорем лежит, а закон у секретаря на пуговицах. Как была бюрократизма, так и есть, и нету

у рабочего человека ни на что надежи. Эх, грех девятый!

Боже мой! Сколько же боли накопилось в душе у человека!

Особенно тронули меня одни глаза — большие, по пятаку: водянистые, с каким-то болезненным, полусумасшедшим блеском. Они почему-то заставляли чувствовать себя в чем-то без вины виноватым и нести за что-то какую-то ответственность. И только постепенно я стал постигать, что есть люди, несущие в себе груз прошлого: раз ему отказали в восьмушке махорки, он уже зло на весь мир затаил и тогда, в этой злости, может броситься очертя голову, куда и сам не хочет. А в то же время, думалось мне, нет ли у нас того, что не дает выправиться этой больной душе, а может быть, даже наносит ей новые раны? И кричит в ней, может, не уходящее вчера, а неосуществленное завтра.

Это — больные. А есть болеющие.

— Правильный рабочий — он сострадатель,— говорят такие.— Много непорядка у нас — верно это. Туго рабочему. А болеет он. Обо всем болеет. О всей жизни болеет. Понимаем мы, что все рабочие должны быть революционного духа и стремиться в международные объятия людского человечества. Все понимаем. Понимаем мы, что и бороться нужно. Не за себя, так за внуков своих. Ведь ежели я иду осенью в дождливую погоду, должон же я по назначению добраться. Пускай лужи кругом, грязь непролазная, пускай я то одной ногой, то другой в лужу шлепаю, должон же я к огоньку идти, раз он мне издаля подмигивает?

— Дыть, лужу-то можно обойти, а можно выгваздаться по колено,— возражают им.

— Ладно, пусть мы на одну ногу хромаем. Да ведь мы ж хромаем-то! Все равно ведь идти-то нужно! Не ложиться ж нам поперек дороги прямо в эту самую грязь?

...И наконец — активное живое начало, люди, без которых, как говорится, «земля не будет ворочаться». Особенно помнится один, десятник по железобетону, послуживший мне прототипом моего главного героя с романтической фамилией Соколенок. Я любил с ним поговорить, и он любил поговорить широко и свободно, обо всем, что наполняло его упрямой верой, что через пять лет и жизнь будет другая, и мы будем другие. И эту веру ему хотелось

перелить и в «больных» и в «болеющих». Он с предельной ясностью видел то, что у людей «под брезентовками бродит».

— Деревня бьет по нашему строительству, вы понимаете. Крестьянин подсобник, а ядро пролетарское и организация за ним. Сейчас пролетарий находится под влиянием крестьянина и кулака — старшого, а нужно его делать старшим, его, пролетария, нашего брата.

Или:

— Деревня разбивается. А раз он оторвался от деревни, он будет наш, и нам нужно долбить по этому месту.

Вот в углу закипает спор и слышится чей-то задиристый голос:

— Ну чего мы строим? Зачем она нам, такая громадюна. Нужно дать рабочему человеку хорошую жизнь. А что строить для будущего, когда нам сейчас плохо?

— А мы разве фабрику только строим? — ввязывается в спор Соколенок.— Мы жизнь строим, чтоб людям дышалось легче, вольготнее. А кто жизнь делает? Люди. Вот за людей-то и нужно браться.

— Опять, значит, за нас беретесь? — возражает ему чей-то обозленный голос.

— А как же? Вместе с жизнью и самого себя нужно строить. А как иначе?

— Самстрой выходит?

— Да, самстрой.

— Это как граф Лев Николаевич говорил.

— А что? Правильно говорил.

Так определился второй смысл заглавного слова «Самстрой», который оказался гораздо глубже, чем вопросы быта и организации. Хотя этим, конечно, не снимается значение и тех локальных и временны́х проблем, без которых роман потерял бы свое жизненное, реалистическое значение. И тогда само собой возникает вопрос о тональностях этого звучания, точнее — о гранях между реализмом и натурализмом.

В связи с этим мне припоминается мимолетная, но значительная по смыслу пикировка тех давних времен между мной и Александром Митрофановым, ныне давно покойным, автором повести «Июнь — июль», напечатанной в том же номере «Октября», рядом с моим «Самстроем». Это был сравнительно молодой типографский рабочий, но совсем не похожий — по крайней мере, в моем представлении — на рабочего, ни по облику, ни по

стилю, как литературному, так и — шире — жизненному. Я ему как-то мимоходом об этом заметил, а он, в ответ мне, отпарировал:

— А твой «Самстрой» портянками пахнет.

— А интересно, как бы ты в этом портяночном мире без портянок обошелся.

— Обхожусь.

Реализм и натурализм... А если оглянуться назад и ретроспективно посмотреть теперь взыскательным взглядом на себя тех лет, то, конечно, нужно признать естественную возможность и, если хотите, психологическую необходимость, даже закономерность смещения того и другого.

Представим себе только что выходящего из юношеских лет интеллигента, годами копавшегося в вопросах духа, религии, философии и прочих премудростях и вдруг окунувшегося в самую гущу, в месиво самой архипрозаичной жизни с ее новыми и неожиданными проблемами, терминами, понятиями и взаимоотношениями, с ее опалубкой и бетономешалками, нормами и расценками, с артельными склоками, руганью и неизбывным, всеисцеляющим российским матом.

Во всем этом действительно можно было утонуть и захлебнуться, если бы не выработанная предыдущими годами «интеллигентских исканий» способность вдумываться, анализировать и разбираться в существе вещей. Это, видимо, и помогло мне из хаоса и суматохи жизни построить некое логическое и по возможности очищенное от портяночного духа сооружение, именуемое сюжетом, как для первого раза сумел. Ну, а где не сумел, значит, не сумел, там и остался, как от бродящей квашни, нутряной запах жизни — не спорю. Но когда я на каком-то литературном обсуждении в Клубе писателей услышал «кредо» Юрия Олеши: «Я хочу дать хотя и вымышленного, но золотого комсомольца», я взбунтовался: «Нужно искать золотого человека, а не выдумывать его».

Но память сохранила мне и еще один интересный упрек.

— Автор хорошо знает жизнь, но он слишком близко прикоснулся к ней, и она опалила ему крылья.

Это сказал читатель при обсуждении «Самстроя» в какой-то воинской части. Что ж? Может быть, и так.

Пример Икара говорит, что это не всегда безопасно, но я все-таки больше боялся обратного.

...Наполненный захватившими меня своей новизной летними впечатлениями 1929 года, я, не переводя дыхания, за зиму написал роман и в апреле 1930 года принес его в журнал «Октябрь».

Рукопись принял у меня заведующий редакцией, очень милый и доброжелательный человек, Ступникер, или, как его сокращенно звали, «Ступ», а прочитал и сразу же одобрил главный редактор, мой тезка, Григорий Маркович Корабельников.

— Роман нам нравится,— сказал он в первом же разговоре.— Он своеобразен, не облитературен. Замечание одно: стилистическая шершавость. Точно проводишь рукой по неструганой доске. Над этим нужно поработать. Ну, это естественно.

Поработали и сразу же, как говорится, «с колес», сдали в печать — начал печататься «Самстрой» в № 7 «Октября» за 1930 год.

Так я стал писателем. Мало того — я сразу был признан писателем с хорошей прессой, вплоть до того, что В. Ермилов, «столп и утверждение» игравшей в те годы руководящую роль рапповской критики, в одной из своих статей употребил даже слово о «новом Медынском».

Да не заподозрит меня читатель в бахвальстве или самовосхвалении, но истина есть истина и честность есть честность. А тогда при совершающемся воссоздании жизни почему нужно оставлять в архивной пыли начала, которые найдут свое продолжение и развитие в будущих поисках, трудах и утверждениях?

«Роман «Самстрой» не бесстрастное бытописательство, это большевистский эпос о нашей стройке».

«...Писатель не лакирует действительность, он сигнализирует о том, что тормозит работу».

«...Он подчеркивает свою верность действительности, свое нежелание связывать ее элементы нарочито литературными связями интриги».

«...В «Самстрое» больше всего поражает пренебрежение традиционными литературными ситуациями».

«...«Самстрой» — это кузница, где перерабатывается, «самоперестраивается» людской материал от тяжкого наследия индивидуализма прошлого».

Такова пресса полувековой давности,

Но по какому-то чудачеству литературной среды признанием, или, как говорится, «пропиской», в литературе является не только статья, но и «дружеский шарж» и эпиграмма. Такой «прописки» удостоил меня ныне покойный, а тогда еще совсем молодой и тоже начинавший в то время печататься Ярослав Смеляков. Точно сейчас помню его, остроумного, озорного, в меховой куртке из телячьей пятнистой шкуры, когда он, встретив меня против так называемого «Дома Герцена», вдруг выпалил:

Сам пишет,
Сам читает
И сам деньги получает.

Не успел я обидеться на его «сам читает», как он, заметив случайно проходившую мимо машину «Скорой помощи», добавил:

Сама едет,
Сама давит,
Сама помощь подает.

Но то Смеляков!

Однако подлинным и окончательным признанием было принятие меня в МАПП, Московскую ассоциацию пролетарских писателей. Это было для меня полнейшей неожиданностью. Дело в том, что — сознаюсь в этом теперь, «под вечер жизни моей»,— пришел я к этому с некоторым, как теперь принято говорить, «комплексом неполноценности».

В эпоху победоносной пролетарской революции я вошел сыном священника, к тому же не сразу принявшим и понявшим внутренне эту революцию, и принятие ее под впечатлением эсеровского покушения на Ленина — как сказано выше — было для меня первым моим дебютом, дебютом гражданственности. И хотя мои взгляды в течение дальнейшей жизни и работы коренным образом изменились, но ощущение некоторой социальной неполноценности внутренне продолжало давить на меня. С этим ощущением я и пришел в литературу.

Вот почему я даже и мечтать не смел о главенствующей в ту пору и очень высокой, по моим тогдашним понятиям, мерке: Ассоциации *пролетарских* писателей. А проще говоря, ни о какой организации тогда я вообще не думал. И вдруг я без всякого заявления и без всяких с моей стороны усилий как-то и почему-то автома-

тически оказался в этой Ассоциации и даже своим человеком в ее «ареопаге»: Киршон, Авербах, Алексей Сурков, Ермилов, Борис Горбатов, Виктор Гусев (только с Фадеевым мне почему-то не приходилось встречаться). И вообще как бы из небытия я сразу перескочил в некоего рода «известность», отдавшись всему этому со всей истовостью новоиспеченного прозелита — литературные вечера, лекции, семинары, встречи с Серафимовичем, Федором Гладковым.

В то время к тому же начался великий шум-бум; «призыв ударников в литературу». Для этого был создан общемосковский штаб во главе с Киршоном, а я оказался начальником штаба Хамовнического района. И опять — литературные встречи, конференции, издание каких-то брошюрок, плакатов, пригласительных билетов, все как полагается, и, конечно, хождение по фабрикам и заводам в поисках запрятавшихся там талантов. И вот я открываю дверь в класс ремесленного училища при фабрике бывшей Ливерс, и прямо передо мной, на первой парте, сидит коренастый, лобастый, круглоголовый паренек в черной гимнастерке. Это был Сергей Поделков, единственный, как мы с ним потом вспоминали, итог этого шумного многообещавшего «призыва».

Ничего не получилось и еще из одного поручения МАПП, очень важного: двухмесячной командировки на посевную кампанию на Кубань, в приазовский совхоз. Все это было очень интересно — работа на ремонте тракторов в центральных мастерских в станице Роговской, и переезд на первое отделение совхоза «Гречана балка» с одной хатой и двумя не то тремя дощатыми бараками для трактористов, и новый пейзаж — сплошная, бескрайняя степь, и новая форма сельского хозяйства — громадные, по четыреста гектаров «клетки» пшеницы, кукурузы, подсолнуха, и новые, ядовито-зеленого цвета, американские трактора фирмы «Оливер», и американские, от фирмы, консультанты, которые долго присматривались ко мне и наконец задали по-американски деловой вопрос:

— А вы что здесь делаете?

А делал я непонятное и бесполезное, видимо, в их понятии дело: выпускал ежедневные стенгазеты, «молнии», плакаты — все, что положено для поднятия энтузиазма, за что и получил памятную фотографию

с надписью: «Интузиасту посевной кампании». Пробовал даже водить трактор, но под общий смех наделал таких вензелей, что во второй раз не решился сесть за баранку.

Попробовал я написать обо всем этом роман, но не получилось. То ли из-за мапповской беготни — то туда, то сюда — некогда оглянуться и сосредоточиться. А может быть, ослепленный успехом «Самстроя», просто переоценил себя.

Потом МАПП затевает новое дело — создание Кабинета ударника. Мне предлагают руководство. Как можно отказаться, когда предлагает МАПП? Наоборот — польщен. Берусь за работу, закупаю литературу, расставляю ее по полкам, дежурю каждый вечер, жду посетителей, приходят два-три человека в день, веду с ними какие-то беседы, а больше читаю сам, пополняю свое образование. Полки постепенно покрываются пылью.

И вдруг — испуг. 23 апреля 1932 года, вместе с постановлением ЦК о ликвидации РАПП, а вместе с нею, конечно, и МАПП, убийственная эпиграмма Безыменского на Льва Борового, моего непосредственного начальника:

Вчера он говорун лихой,
Герой нажима и приказа.
А ныне просто — Боровой
И автор одного рассказа.

А через несколько дней приходит комиссия во главе с Владимиром Ставским и после краткого знакомства с моим «кабинетом» выносит решение: «Кабинет ударника закрыть».

Так кончается мое преданное до самозабвения служение Ассоциации пролетарских писателей и наступает растерянность. Что это? Как? Почему? Что это значит? И что будет дальше?

Из этой растерянности выводит меня Леопольд Авербах, бывший вождь РАПП, теперь возглавлявший уже не всю «пролетарскую литературу», а только главную редакцию горьковской «Истории фабрик и заводов». Но для меня, ничего не понявшего в происшедшем, он был по-прежнему носителем пролетарского, то есть передового и революционного, начала в литературе, и потому я сразу же с радостью и даже гордостью отозвался, когда он пригласил меня к себе «по важному делу».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ИСТОРИЯ МЕТРО

Авербах и внешне оставался таким же, как прежде,— в защитном, военного образца тех времен, но какого-то особенного, светлого оттенка, костюме, туго затянутом широким кожаным ремнем, в пенсне без оправы и с бритой до блеска головой.

В отличие от Киршона, которого я встретил незадолго перед тем идущего уже пешком, в своем синем шелковом плаще, унылого и какого-то потерянного, Авербах был по-прежнему бодр, подвижен, являясь как бы носителем аккумулированной в нем энергии.

Он быстро вошел в кабинет, в котором я его ожидал, сбросил резким движением легкое пальто и бросил:

— Я просил бы вас принять участие в очень важном и интересном деле. Мы пишем истории уже существующих заводов, имеющих ее. А в Москве, у нас под носом, творится история, которую нужно схватить за хвост и зафиксировать на ходу, на лету. Это рождение метро. Там уже что-то делается, но мы хотим послать вас туда своим представителем, для помощи. Соглашайтесь! Это — большое общественное дело. История метро должна быть и рычагом в борьбе за метро. Бригадиры и отдельные ударники должны бороться за право быть упомянутыми в ее анналах, а отстающие должны бояться попасть в нее как срывщики. Соглашайтесь. Не пожалеете!

Я согласился и — скажу, забегая вперед,— очень пожалел потом об этом, настолько это была тягостная и бесплодная история.

По идее все так и должно было бы быть, как нарисовал Авербах,— как широкое общественное дело, возглавляемое партийной организацией и осуществляемое специальной редакцией «Истории метро» с большим штатом и, кажется, неограниченными средствами. Она должна была организовать всю предварительную, подготовительную работу — отмечать и фиксировать наиболее важные и интересные этапы и аспекты работы, процессы, случаи, детали, изучать людей, особенно отличившихся на производстве,— одним словом, собирать материал, на основе которого кем-то и когда-то должна

быть написана история этого уникального по тому времени строительства.

Вот этой подготовительной работой, организацией бесед, дневников, рассказов инженеров и рабочих, я и занялся в качестве так называемого литконсультанта.

Откровенно сказать, у меня была надежда, даже уверенность, что в конце концов я приму какое-то участие и в этой завершающей стадии — написании самой истории метро, но пока со мной об этом никто не заговаривал, а я считал и участие в подготовительной работе очень важным и интересным делом.

Замах был широкий — с большим специальным штатом, совещаниями в МК партии, с участием больших людей, со множеством торжественных собраний и других пышных мероприятий, вроде выставки скороиспеченных картин, посвященных метро. Но не было главного — и это я считаю основной ошибкой замысла,— не было тех, для кого готовился весь этот материал, кто будет обобщать его и писать саму реальную историю метро, и вообще не было ни плана, ни направляющей идеи и воли.

Авербах вскоре исчез вслед за Киршоном. Главную редакцию «Истории заводов» возглавил тогда Тихонов-Серебров, личный друг А. М. Горького, культурный, хороший, но пожилой уже и слишком мягкий человек, не сумевший понять то, что творилось в редакции «Истории метро». А там воцарился дух ее ответственного секретаря Кулагина, лживого, подлого и самовластного человека, погубившего все дело.

Отдался я этому делу со всей непосредственностью и страстью, потому что оно было действительно грандиозно и действительно увлекло меня. Это — одно. Другое: дневник как литературный жанр, и не просто дневник — это не ново,— а массовое и организованное ведение дневников как накопление огромного жизненного опыта масс,— в этом есть и идея и проблема. А умение систематически ежедневно отчитываться перед самим собой в проделанной работе, способность анализировать свой рабочий день, проверять его загрузку — разве это не фактор общекультурного значения?

Так я понимал свою задачу рабочей пчелки, собирающей нектар с буйно расцветающей вокруг меня жиз-

ни. Я даже не ставил перед собой вопроса о конечной цели — она была для меня светла и возвышенна: история метро. Светло и возвышенно рисовалось мне и будущее, к которому приведет осуществление этой цели.

Вот приходит ко мне молодой человек и приносит свою повесть о том, каким будет метро и что это значит. «Лестница-чудесница»... «Вы ступаете на первую ступеньку, и все. Она вас поднимает или спускает глубоко под землю. Если вы неаккуратно или неудачно встали, она поправит вас, подвинет вашу ногу... Вы стоите на платформе, ожидаете поезда, и воздушная волна, создаваемая им, вас освежает, и вы не чувствуете никакой подземной затхлости, хотя над вами двадцатиметровая толща земли».

Примерно так были описаны будущие прелести того, чего мы теперь не замечаем, пробегая по ступенькам эскалатора.

А это на самом деле было великолепно и захватывающе по сравнению с тем, что творилось тогда на улицах Москвы.

В прошлом веке в Москве ходили конки — зародыш общественного транспорта. Потом появился трамвай— тоже чудо того времени. Теперь это чудо превратилось почти в бедствие, особенно в центре, на Лубянской, ныне площади имени Дзержинского. В самом центре ее, на месте, где стоит теперь памятник «Железному Феликсу», был широкий нелепый фонтан. Фонтан бездействовал, а вокруг него проходили линии многих радиальных трамвайных маршрутов. Когда-то это, может быть, и было хорошо, но теперь эта «лубянская карусель» создавала и сулила в будущем такие пробки, которые грозили уличному движению города полной атрофией. И поэтому замысел строительства московского метро был, несомненно, мудрым, смелым и мужественным, в него можно было верить, и люди в него поверили.

Верил в него и я— чувствовал себя участником большой и интересной, государственной важности стройки, исторической важности стройки, потому что — как говорилось на большом и широком совещании в МК — «...московские тузы, «отцы города», с девяностых годов прошлого века вели разговоры о метро, но до самой революции так и не собрались ничего сделать. Да они и не могли этого сделать, а мы сделаем, потому что мы

большевики. Это в порядке вещей. И сделаем по-своему, лучше, чем в других, капиталистических столицах. Это тоже в порядке вещей, потому что это строительство мирового значения, и трудности в порядке вещей, и нечего тут плакаться. Метро не входило в первый пятилетний план, оно вырастает на нем как одно из вещественных доказательств его пере — это надо понять! — и перевыполнения. А когда в плацкартный вагон входит безбилетный пассажир, да еще этакий солидный дядя, так наше метро, естественно, становится трудноватым и тесноватым. Но на то мы и руководители, чтобы все утрясти и предоставить новому пассажиру достойное ему место».

Вот какая это была стройка, являвшаяся к тому же нашим экзаменом на техническую зрелость — надо ведь было пройти под Москвой, под домами, под рекой и удержать все это на своих головах. Москва над нами. Разве можно было на такой стройке работать без страсти?

Я листаю теперь мои метростроевские материалы — и «минувшее проходит предо мною, волнуяся, как море-океан».

Вот листовка «Напишем большевистскую историю метро», на рисунке — выходящие из тоннеля поезда и приветствующий их метростроевец в брезентовой робе, с отбойным молотком на плече, и надпись: «Дадим первую линию метро к 17-й годовщине Октября».

Вот фотографии: Демьян Бедный, Безыменский и Бруно Ясенский в одной из шахт метро, Вс. Иванов, Л. Авербах, Б. Лапин и К. Горбунов беседуют с рабочими Метростроя, вот Вера Инбер и начальник Метростроя П. П. Ротерт.

А вот моя методразработка — «В помощь активу «Истории метро» — как вести дневник? «Здесь, как во всей работе по истории заводов, сама масса, творящая жизнь, обобщает свой собственный опыт, собирает и фиксирует его. Поэтому ведение дневников, концентрирующих производственный и политический опыт строителей метро, на данном этапе имеет особенно большое значение». И дальше — круг вопросов, охватываемых дневниками: партия и ее ведущая роль, роль инженера, лицо комсомола, интернациональные моменты, женщи-

на на метро, быт и культура, метро строит вся Москва, метро строит весь СССР.

А вот и сами дневники, разные, всякие — и сухие до протокольности, и лирические до вычурности, литературной красивости и фальшивого энтузиазма («...в глазах наших искры затаенного смеха... этот смех прорвется в неистовый хохот веселья, в лихую пляску под гармошку, в звучную разливающую радость песню, если мы победим. А мы победим...»).

А вот дневники и серьезные, аналитические, отражающие характеры и общественные отношения людей,— дневники Савушкина, Акимова, бригадира бетонщиков Трушина и особенно очень обстоятельный дневник уже не молодого, вдумчивого человека, участника гражданской войны, заведующего компрессорной станцией шахты № 18 М. Бондарева.

Вот он присматривается к молодому инженеру Вовикову. Сын кузнеца, он работал слесарем в депо, ездил в поездах помощником машиниста, попал на учебу, выучился на инженера-механика, имеет диплом, на метро работает третий год, выполнял ряд ответственных заданий по установке кранов, лебедок и других механизмов. «Но порой его из-за чрезмерной откровенности затирали,— замечает М. Бондарев,— и не пойму я, в чем тут дело». Он начинает присматриваться, изучать и видит, что затирает Вовикова директор цементного завода № 2 Шемет.

«А напрасно,— замечает он в своем дневнике.— Из Вовикова может выковаться хороший специалист: работает он с энтузиазмом, если нужно — и несколько ночей не спит, засучив рукава сам работает вместе с рабочими, слесарями, он на работе в ряду с ними, и они его любят».

А кто такой Шемет?

«Очень плохая черта у Шемета,— читаю я в дневнике Бондарева,— он много вам пообещает, но очень мало сделает и мало дает для того, чтобы можно было сделать ту или иную работу, а потом приедет, нашумит, накричит, поругает и уедет. Конкретных указаний, помощи, плановости в работе у него нет... Он, правда, везде побывает, везде погоняет, даст хорошую взбучку, не разбирая, заслужена она или нет, много пообещает, но ему мало верят и руководители и заказчики, потому что он не выполняет своих обещаний».

А вот Харитон Михайлович Шмидт, инженер, строитель станции «Кропоткинская» (тогда она называлась «Дворец Советов»). Из всего многообразия людей, с которыми сталкивала меня «История метро», он мне както особенно полюбился, и я, в конце концов, написал о нем очерк, напечатанный тоже в одном из номеров «Истории заводов».

На строительство метро он приехал с Днепростроя, где работал инженером под руководством П. П. Ротерта, ставшего теперь начальником Метростроя. Была осень 1931 года. Управление занимало тогда две небольшие комнаты в доме № 3 по Ильинке, а в остальных выселяемые учреждения перевязывали тюки своих дел. В комнатах пусто и неуютно — столы плохенькие, залитые чернилами, шкафов совсем не было, в углах стояли рулоны бумаги. Шмидт понимал, что эта внешняя неустроенность отражала сегодняшний день строительства. Метрострой только организовывался, и Шмидт был рад, что попал к самому началу. Но начало это рисовалось ему другим — он будет, конечно, строить тоннели и что-то еще, чего он сам в точности не ведал, ясно было одно, что специалистов этого дела, по существу, не было. Кое-кто бывал за границей, видел метро, другие просто интересовались, кое-что читали о нем, но не знали, как приступить к делу. А третьи и вообще не представляли того, что и как они собирались строить.

Плохо представлял это и Шмидт, но никак не сомневался в том, что метро у нас будет и сам он тоже не лыком шит.

— Сделаем!

Но Ротерт сразу охладил его пыл, он предложил ему отдел вспомогательных работ — строительство бараков и прочих вспомогательных служб.

— Меня, Павел Павлович, интересуют основные работы,— осторожно заметил Шмидт на предложение Ротерта.— А строить бараки и прочую ерунду...

— Сами вы ерунду говорите! — неожиданно вскипел Ротерт.— Так может говорить тот, кто не понимает дела. Достать первое бревно и первого рабочего и дать ему крышу над головой, отыскать жилье для рабочих, которые начнут строить для будущих рабочих,— да из всей этой ерунды, как цыпленок из скорлупы, выходит все строительство. Глупости вы говорите, Харитон Михайлович. Вы днепростроевец и должны понимать.

Упоминание о Днепрострое устыдило — Днепрострой для Шмидта был незабываемым куском жизни, и видел он его не с одной, а с разных и очень разных сторон. Вернее даже, он не просто видел его, а пережил. Днепрострой был для него ярким образцом того, на что способна Советская страна. И никогда не раскаивался Харитон Михайлович в том, что из двух возможностей — аспирантуры в Ленинграде и Днепростроя — он в свое время выбрал последнее. Днепрострой дал кругозор, большие горизонты жизни и громадный организационный опыт. Днепрострой разрушил предрассудок о сезонности строительного дела, он поднял его до степени индустрии и стал школой большого социалистического строительства.

А Ротерт тем временем продолжал:

— Успех строительства решают не отдельные удачи и тем более не мелкое тщеславие, а лишь разворот работ, организация, система строительства. А все это определяется в подготовительном периоде. Вы прошли днепростроевскую выучку и нужны именно здесь. Да и к характеру вашему это подходит. Ведь вы — непоседа. А с основными работами успеете. Метрострой только начинается. Поработаете и вы. Всем хватит.

Одним словом, Харитон Михайлович согласился, а согласившись, увлекся,— такова натура, и впрямь — непоседа.

Несколько дней он ходил не поднимая глаз — ему было стыдно, что в таком великом деле он оказался где-то на запятках, и он терзался самыми противоположными переживаниями. Но терзаться было некогда, нужно было работать. А как работать, если метро втискивалось в сверстанные уже планы, действительно как безбилетный пассажир в плацкартный вагон? Нужен лес. Говорят, что в Архангельске занаряжено 85 вагонов, отгружено два, а в наличии несколько возов. Нет кирпича, совершенно неясны источники поступления алебастра, фанеры, теса, досок. И постепенно откуда-то приходило сознание, что все исправимо, и теперь ему стыдно было оттого, что он, как настоящий оппортунист, временные затруднения принял за непреодолимое препятствие. А потом и эти переживания, перебродив, перегорали, так как дело требовало своего.

— Харитон Михайлович, как с гвоздями? Гвоздей нет.

— Ну, если нет, будем старые дергать.

Дергали старые гвозди, выпрямляли. Не было инструмента — «собирали по жителям — где лом, где лопату»,— вспоминает бригадир Савин. Прораб Жуков принес свой личный инструмент и сдал в общее пользование.

— Что поделаешь? Не сразу Москва строилась.

Одним словом — тысяча дел и все срочные. И в этом закипающем потоке строительных будней нашла свою стихию горячая натура Шмидта. В кожаной куртке и такой же фуражке, в больших болотных сапогах, он рыскал по Москве, выискивая дворы и уголочки, где можно было приткнуться с шахтой, пристроить гараж, мастерскую, ездил вокруг Москвы, выглядывая участки для рабочих поселков. А являясь в управление, он приносил с собой шутку и бодрость своей натуры — Шмидт всегда говорил громко, взволнованно, с богатой мимикой и широкими жестами, потому что его все задевало и он ни к чему не был равнодушным. Бывают ведь слова холодные и мертвые, как ледышки. А в каждом слове Шмидта — жизнь.

Он говорил убежденно, горячо, говорил зло, возмущенно, говорил радостно, но никогда не говорил равнодушно. И людей он не любил холодных и бесстрастных, с ничего не выражающими глазами, не любил бездушного отношения к делу. И люди любили его.

...А Ротерт был прав: успеете, всем хватит.

И вот Шмидт в Метропроекте, начальником отдела основных работ. Перед ним карта — геологический профиль всей трассы. Три громадных языка плывунов, образованных долинами когда-то протекавших речек Ольховки, Чечер и Рыбинки. Когда-то здесь крепостные мужики гатили вязкие болотины, бабы полоскали белье в илистых речках и ребята ловили плотву. Теперь над Ольховкой стоит Казанский вокзал, а по берегу Рыбинки прошел Митьковский путепровод. Вот пятнадцатиметровая подушка плывунов под улицей Кирова. Ее нужно прорезать вертикальными шахтами и под ней уже пойти тоннелем. Вот такие же массы плывунов в глубинах Арбатского и Фрунзенского радиуса, там трасса пройдет над ними, мелким залеганием.

Ни в одном из городов, где строилось метро, не было такого сложного и путаного профиля. И, глядя на карту, Шмидт хватал иной раз себя за давно не бритую щеку: «Работы-то! Сколько работы! А главное — сроки!»

Все это заставляло не просто перенимать опыт других, капиталистических столиц, а по-новому продумывать каждый шаг, каждый этап работы. Но это не пугало, а подзадоривало.

Подзадоривали и иностранные эксперты, съезжавшиеся в Москву для консультации,— немцы, англичане, французы. Шмидта порой раздражал их авторитетный тон, это молчаливое посасывание трубки, роговые очки и многозначительность тона, будто у постели больного. Через целые тома их заключений лейтмотивом проходила мысль — трудно, долго и дорого, а за всем этим стояло одно — закажите нам щиты, пригласите нас. Шмидт слушал их, порой поддакивал, что-то мотал на ус и про себя думал: «Ничего! Сделаем сами».

И сделали: двадцать первую шахту, например, у Красных ворот заезжие консультанты рекомендовали проходить косым шпунтом, а пройти ее удалось только опускными колодцами — «биноклем».

Решением парткома Метростроя Шмидт идет на пятую дистанцию — Волхонка, Дворец Советов.

А эта пятая дистанция оказалась на редкость интересным делом. Не уходя в землю на большие глубины, как при закрытом способе, и не вскрывая всю улицу, как в Сокольниках, здесь, на задворках Волхонки, нужно было построить тоннель по частям, не нарушая равновесия грунтов, от которых зависела безопасность окружающих зданий. Правда, особо ценное здание было одно — Музей изящных искусств с его знаменитой колоннадой и отчасти — здание Комакадемии, остальные — кандидаты на слом, в том числе один совсем древний, как говорят, помнивший смуту и воцарение династии Романовых. Но чтобы сломать, нужно куда-то выселять людей, а куда? Когда? Ведь — сроки, сроки!

Делали так, как никогда и нигде еще не делали: вдоль линий, где по плану намечались стены тоннеля, через большие промежутки рылись колодцы и заполнялись бетоном, между ними рылись новые колодцы и так до тех пор, пока из них не получались готовые стены. Так же, по частям, на эти стены подводились перекрытия, и дома незаметно оказывались стоящими на сводах тоннеля. Теперь — только вынуть оставшийся под сводами грунт, и тоннель готов.

Я помню это время — зашел в контору пятой дистанции на Волхонке и вижу стенгазету, в стенгазете вопрос:

«Что снится Шмидту?» На рисунке был изображен человек-коротышка, с мясистым носом, высоким, выдающимся лбом и орлиным взглядом, на голове наполеоновская треуголка, а кругом... бесконечный лес знамен. Под рисунком — ответ на вопрос: «Отвоевать все метростроевские знамена».

Шмидт усмехнулся, но не возражал. Да, это были «волочаевские» дни!

...Потом встречали первый пробный поезд на станции «Дворец Советов». Блестящий и торжественный прошел он мимо радостных строителей станции. Шмидт встретил и проводил его взволнованно поднятой рукой. А когда в тоннеле скрылись хвостовые фонари поезда, он вдруг сказал:

— Ну вот и всё. Кончили! Последний день.

И вспомнился первый день, морозный день 10 декабря 1931 года — в Сокольниках начали опытный участок, пробную шахту. Только начали и на метр еще не ушли в землю, а на место работы уже приехал один из секретарей ЦК. Он смотрел, как рабочие кувалдой долбят мерзлую землю и лопатами бросают ее наверх. Было похоже, что это роют деревенский колодец, а не начинают мировое строительство.

— И так вы думаете строить метро? — спросил секретарь ЦК.

В тот же день у него состоялось совещание о механизации работ.

Таков был первый день метро.

Я вспоминаю все это — хотя это далеко не все, что всплывает в памяти,— и думаю: какая это была бы интересная и поучительная история — «История метро», написанная по ее живым следам,— если бы все в ней было так, как это было замыслено вначале, если бы не завелся и не воцарился в ней злой дух ее самовластного ответственного секретаря Кулагина.

В нем, в его самодовольном виде («с благоговением нос свой носит»,— сказал о нем один остряк), в холодном взгляде, в жестяном голосе, в не допускающих никаких возражений репликах, указаниях и директивах, в его лживых увертках, беспардонном вранье, сногсшибательном хлестаковском бахвальстве я видел такие чело-

веческие качества и свойства, с которыми не мог мириться.

Впрочем, только ли это его личные качества и свойства?

Это человек, не способный к серьезному и деловому, поистине ответственному руководству, к вдумчивому анализу действительности и систематической работе. Парадность, шумиха, очковтирательство, с одной стороны, командование, администрирование — с другой,— вот что определяет стиль кулагинщины.

Это человек, совершенно лишенный чувства самокритики и не терпящий никакой критики со стороны («здесь не дискуссировать», «не полемизировать, это не простое собрание, а совещание при ответственном секретаре Кулагине» — его слова).

Это человек, не способный аргументировать, заменяющий доказательство окриком.

Это человек, отличающийся анекдотической лживостью, изворотливостью и интриганством, человек, который не моргнув может назвать черное белым и белое черным.

Это самодур, способный пойти на преступление, например на уничтожение протоколов и других неугодных ему материалов, для того чтобы замести какие-то свои проступки.

Это, наконец, человек, всей своей деятельностью, начиная с крупных дел и кончая деталями своего поведения (отношение к работникам, посетителям и т. д.), дискредитирующий звание члена партии.

Все это, конечно, его личные качества, но единичные ли? И не перерастают ли они в некоторый обобщенный образ, который и до сих пор выскакивает в нашей жизни то там, то здесь?

Вот почему моя работа в редакции «Истории метро» проходила в постоянной и непримиримой борьбе с этим злым духом. А так как в этих спорах, столкновениях и конфликтах коса нашла на камень, то Кулагин дважды ставил перед Главной редакцией «Истории заводов» вопрос о моем увольнении и дважды получал отказ. В третий раз этим вопросом занялся Сокольнический райком партии, по просьбе которого я написал обстоятельную записку «о стиле кулагинщины» и все это изложил.

В конце концов я ушел из этой организации.

Что сталось с Кулагиным в дальнейшем — я не знаю и, по правде сказать, не интересовался этим, но думаю, что он долго еще с тем же благоговением носил где-то свой нос, лгал, кричал и стучал на кого-то кулаками. Меня беспокоило и беспокоит другое: как хорошо все было задумано, сколько людей работало над осуществлением этой задумки и сколько людей обмануто в самых благих обещаниях и начинаниях, сколько средств было ухлопано, и кончилось все это ничем.

Конечно, в итоге полугодовой работы и остались материалы, дневники, но при правильной постановке дела всего этого могло быть неизмеримо больше. Но главное — никакой истории метро, как она была замыслена вначале, не получилось.

А для меня это было большим уроком жизни — как один человек, бесчестный, но облеченный бесконтрольной властью, может погубить большое общественное дело. И новой ее ступенью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГРАНИ

Ах, если бы это был один урок, единственный!

Но вот я опять в роли горластого, неуемного петуха, который, взлетев на забор, хлопает крыльями и орет во всю глотку, думая, что его слышит весь белый свет. А что поделаешь, если натура такая?

Нельзя ведь не кричать! Как не кричать, когда видишь торжествующую морду торжествующей подлости? Нельзя не кричать, если сам не хочешь быть подлецом!

И вот что из этого получилось.

1936 год. Время первых выборов в Верховный Совет и связанных со всем этим больших ожиданий и надежд. Так именно я воспринимал это время и верил в него, в завершение строительства социализма и дальнейший переход к коммунизму. Да, верил! Отсюда и торжественные волнующие замыслы, которые тогда я пробовал воплотить в драматургии: «Москва над нами» (строительство метро), потом «Дни нашей жизни» и, наконец,

«Грани» — о стирании граней между физическим и умственным трудом, о том, как молодой врач приехал в деревню, полюбил молодую колхозницу и что из этого вышло.

Примитивнейшая заданность и умозрительное, хотя и совершенно честное, стремление писателя идти в ногу с жизнью и «попасть в такт» ее основополагающим принципам. У кого-то из этого что-то получилось, но у меня ничего не вышло. Выпытав где-то о хорошем враче, который организовал в деревне образцовую больницу и вообще проявил чудеса в своей врачебной деятельности, я ринулся туда, в глубинное воронежское село Колыбелка, с верой в то, что там я найду полное подтверждение своему, самому современному, самому передовому, отвечающему самым последним требованиям жизни, тезису о стирании граней между городом и деревней.

Приехал я туда на пароходике по знаменитому тихому Дону, на берегу которого стояло это село, приехал ночью, и мое знакомство с жизнью началось с того, что меня никто не пустил ночевать, и скоротал я ночь на каких-то бревнах возле правления колхоза. Утром меня устроили «на постой» в белую мазанку против здания сельсовета к грузному и добродушному «дядьке» с одной рукой, другую он потерял на гражданской войне. Жена у него была, наоборот, худощавая, как говорится, поджарая, работящая и, ведя, по сути дела, весь дом, довольно строговата была к своему беспечному мужу, за что он звал ее «унутренний враг».

С этого «плацдарма» я начинал свое «знакомство с жизнью», знакомство, которое вылилось в конце концов в то письмо к моему хорошему другу Владимиру Петровичу Ставскому, которое я сейчас приведу,— правда, из-за его очень больших размеров с некоторыми сокращениями. Со Ставским мы печатались вместе в журнале «Октябрь»: его «Станица», «Разбег», очень интересные документальные очерки о коллективизации на Кубани и мой первый и тоже почти документальный роман «Самстрой» — о стройке времен первых лет первой пятилетки.

Это нас и сдружило, хотя первое знакомство было довольно оригинальным. Владимир Петрович был человек на первый взгляд грубоватый, внешне даже мужиковатый, с крупными и резкими, точно вырубленными топором, чертами лица и таким же не то что резким, а прямым и честным характером, за которым не сразу

открывалась большая душевность и искренность. И вот, узнав, что моя паспортная фамилия Покровский, он меня прямо в упор спросил:

— Послушай! А может, ты из тех? Из недобитых? А то у нас на Кубани был генерал Покровский. Ты не из этих?

Узнав, что я не из «этих», а из «тех», из колокольного, как он выразился, сословия, из которого, кстати сказать, вышли в свое время и Чернышевский и Добролюбов, он сразу поверил мне и протянул свою большую и очень сильную руку.

Впоследствии, когда Ставский стал главным редактором одного теперь полностью забытого, а тогда только что основанного журнала «Великий перелом» и я принес ему тот самый совершенно недоработанный роман о кубанской весне, он, после подробного разговора, резким движением закрыл его, прихлопнул рукою и сказал, как отрезал:

— Плохо!

Я этому поверил и больше за этот роман не брался.

Так мы с ним подружились и одно время были знакомы семейно. Сам не нюхавший пороха, я его уважал за участие в гражданской войне, за мужество, о котором узнавал из его рассказов, а главное — за честность и большую, высокую принципиальность. В моем представлении это был большевик, подлинный, настоящий большевик, как я представлял себе тогда значение этого слова. Да он и был таким и именно таким, и так он, уже в больших, чуть ли не генеральских чинах, погиб во время Великой Отечественной войны.

А тогда, на съезде партии, он был избран в Центральную комиссию партийного контроля — «орган партийной совести», и именно поэтому именно ему я решил написать обо всем.

«Так вот о положении этого колхоза и всего сельсовета я и хочу написать тебе, дорогой Владимир Петрович, как члену Комиссии партийного контроля.

Колхоз имеет все данные для безбедной и даже зажиточной жизни: $1^1/_2$ тыс. га прекрасной черноземной земли, 74 лошади, 90 быков, 180 голов рогатого скота, около 1000 овец, два сада общей сложностью в 20 га, две пасеки в 250 семейств, мельница, грузовик, шелковичная

плантация, и все это на 700 трудоспособных членов колхоза. Жить можно, и хорошо жить. Только работай.

Что же мы видим в действительности?

В двух километрах от Колыбелки, за Доном, на гораздо худшей песчаной земле, колхозы Петропавловского сельсовета получают по 2—3 кг на трудодень. Здесь же выдали по 500 граммов аванса и больше, вероятно, давать не будут, так как даже посевной фонд наполовину израсходован.

Из этого делаются невеселые и политически нездоровые выводы: «Скильки лет существует колхоз, а нет такого вывода, як лучше робыть».

Я живу здесь давно, довольно глубоко вошел в жизнь колхоза, участвую в бригадных собраниях, разговариваю с людьми, езжу с ними на заготовку веточного корма для прикорма скота. И с кем бы я ни говорил — с бригадирами, рядовыми колхозниками, учителями, врачами, зоотехниками,— Я НИ ОТ КОГО, НИ ОТ ОДНОГО человека не слышал сколько-нибудь положительного отзыва о колхозе, о его работе и т. д. «Ничего не радостыт», «И богато трудодней, да хлиба нема», «День с хлебом — три дни так».

Сравниваю с той же Петропавловкой. Там общий голос, лейтмотив: «У нас хорошо!» Там строят баню, строят клуб, строят электростанцию, и сами колхозники живут этим, они говорят: «Мы строим». Там колхозники настолько охотно идут на работу, что бригадирам приходится отсылать некоторых обратно.

Здесь — точно другая республика. Сейчас все поголовье скота стоит под угрозой гибели, так как корма хватит только до половины зимы.

Процент выхода на работу ничтожный, трудовая дисциплина в убийственном состоянии. Смешно сказать — люди не хотят работать. Руководители объясняют это леностью людей. Какая ерунда! Откуда ей быть, этой лености? Колыбелка в прошлом — одно из самых угнетенных и эксплуатируемых сел. Вся масса крестьян батрачила и испольничала у миллионеров-помещиков Станкевича и Тельяшева, земли которых стеснили Колыбелку со всех сторон. Еще в 1905 г. здесь поднимаются стихийные крестьянские бунты, и глухая борьба против помещиков не прекращалась до самого Октября. В гражданскую войну Колыбелка дала свой партизанский отряд. В коллективизацию она вступила первой по всей округе,

и жизнь в колхозе сначала радовала. А теперь — полный развал.

«Стыдно смотреть,— говорят колхозники.— Наша первая деревня была, а теперь самая отсталая, какая-то старинная стала деревня. А кто был отсталым — перегнал нас». «По нашим людям даже невозможно предполагать, чтобы было такое отношение к колхозу».

В чем же дело?

«Нет правильного руководства правления колхоза, а КТО-ТО РАСПОРЯЖАЕТСЯ». «У нас дисциплина пала с самого правления».

И все мои личные наблюдения над ежедневной практикой колхозной жизни полностью подтверждают это: «ИСТИННАЯ ПРИЧИНА всех зол лежит в РУКОВОДСТВЕ колхоза и сельсовета».

Дальше я рисую развернутую и документированную картину хозяйничанья этого руководства — председателя сельсовета Каребина (по кличке «Каряба»), бестолкового, глупого председателя колхоза Гусакова («Гусак») и всех его присных. Убийственная картина бесконтрольности и безответственности, когда все делается помимо конторы и счетовода, продается и меняется скот, хищнически — машинами, подводами, мешками — на глазах у людей разворовываются, расхищаются яблоки из колхозных садов. Все это видят и делают логический вывод: «Если воруют руководители, почему не воровать нам?»

В результате складывается страшная философия, которую публично на собрании бригады в присутствии председателя колхоза сформулировала одна колхозница: «Что украдешь, то и получишь». «Понимаешь, Ставский, это ж страшно! — продолжал я свое письмо.— Колхоз, который должен быть — и за Доном, в Петропавловке, является — орудием социалистической переделки людей, здесь стал средством их деморализации, нравственного разложения человека. Здесь воспитываются те же жулики и тунеядцы, которых так горячо бичевал Ленин в статье «Как организовать соревнование». Ну, ты об этом знаешь лучше меня.

И воспитывает это — руководство колхоза всей системой хищений, бесконтрольности и безответственности. Да и как могут жулики бороться с жульничеством?

При общем нежелании работать есть две отрасли хозяйства, где не знают отбоя от рабочих рук: сад и овцеводческая ферма (стрижка овец). Это как раз теплень-

кие местечки, где *можно* украсть и крадут. А руководители на все это смотрят сквозь пальцы.

Колхозница Корнюшкина Маланья, работая на стрижке овец, набила полные рейтузы шерстью, украв таким образом 10 фунтов шерсти. Она, правда, была поймана с поличным. Но это вызвало в колхозе не возмущение, а смех. «Добро б фунт-два, а то десять!» — формулируют свою точку зрения работники овцеводческой фермы. Сколько же этих «фунт-два» расходится там ежедневно? А правление? Сначала оно даже не знало об этом, а когда я рассказал, это вызвало смех: «В рейтузы? Ха-ха-ха!» И вся реакция.

Выпустил я стенгазету (которой здесь, конечно, не было), написал там обо всем этом и потребовал в ней отдать Корнюшкину под суд. Ничего! Ноль внимания, фунт презрения. Я пытался доказать свое, но мне было заявлено, что постановлением правления это дело передано прокурору. Последующая проверка с моей стороны показала, что это полная ложь и очковтирательство.

Понимаешь, Владимир Петрович, не терпит душа!

В чем же причина такого безобразнейшего положения вещей?

Причина одна — в несоблюдении устава колхоза.

Этот устав, сам замечательный дух его, здесь не только не понимают, но часто и не знают — или сознательно забывают и искажают. Основное положение устава, что «общее собрание является высшим органом управления артели» (стр. 20), здесь абсолютно не соблюдается. Всеми делами вертит правление, и даже не правление, а группа воротил.

В течение нескольких лет беззастенчиво игнорировалась, убивалась всякая инициатива колхоза, его самостоятельность, его хозяйственный рост, общественная активность. Результаты налицо: колхозная масса не имеет никакого голоса, а делами ворочает кучка воров.

А ведь есть великолепные люди: бухгалтер Рудиков, бывший председатель колхоза Мошонкин — умный, выдержанный, энергичный; селькор Недиков, кандидат партии,— романтик, начитанный, руководитель драмкружка, он разъезжает со своими постановками по соседним деревням и после спектакля, приоткрыв занавес, с детской непосредственностью спрашивает: «Ну как? Понравилось?»

Эти люди пишут в газеты, обращаются в район, но без толку. Один раз, правда, по их жалобе на Каребина приезжал следователь, но уехал тоже без всякого результата.

У тебя может возникнуть вопрос: а где же парторганизация? Я, очевидно, просмотрел ее? Нет, не просмотрел. Я живу против сельсовета и каждый день вижу, как парторг территориальной организации Николай Кондратков слоняется без дела, сидит с девчатами на лавочке, возит в сад ящики для яблок, ходит из сельсовета в колхоз и обратно. «Парень шаткий. И туда и сюда»,— определяют его колхозники.

Лица партийной организации совсем не видно. Кондратков — крайне безынициативный, пассивный и замкнутый парень. А главное, и он оказался запятнанным. Будучи председателем соседнего колхоза, он за короткое время сумел задолжать 500 руб. и до сих пор не расплачивается. «Все они перемазаны и рта не разевают»,— говорят колхозники и ни во что не верят.

Даже ревизионной комиссии фактически нет.

Но как же могло получиться подобное положение, такое явное и грубейшее нарушение установок партии, сталинского колхозного устава на глазах у всех?

Причина этого, еще раз скажу, лежит в руководстве, и только в руководстве сельсовета. Голое администрирование, грубейшее нарушение элементарнейших прав колхоза, явное попирание революционной законности, зажим, окрик, запугивание, своевластие и самодурство,— в течение двух лет хозяйничанья нынешнего председателя сельсовета Каребина, или, по-здешнему, «Карябы», привели к полному снижению общественного тонуса в Колыбелке, приглушили ростки здоровой, советской демократии и создали атмосферу запуганности, забитости и страха.

«У нас напужка большая». «У нас народ боится начальников». «У нас председатель как крикнет, так все и разбегаются». «Мир напуган».

Кузнец Ракитин: «А скажешь, поведут в сельсовет и начнут гробить — я тебе покажу да я тебя упеку».

Ты, конечно, можешь усомниться: карикатуру, мол, нарисовал парень. Нет, Ставский, болью сердца продиктовано это письмо и растерянностью — что делать? Я живу ведь здесь на положении постороннего соглядатая, но не терпит душа, возмущается все советское,

что во мне есть. А вместе с тем ввязываться в открытую борьбу, не имея на это ни права, ни полномочий, не решаюсь. Тем более что районное руководство во всех безобразиях тоже значительно виновато. Ведь ревизионная комиссия колхоза утверждается по уставу президиумом РИКа. Как же в таком случае «Гусак» комплектует себе ревкомиссию по своему вкусу? Почему же районный исполком не поинтересуется отсутствием актов о ревизиях? Почему местные активисты не верят в район? Вот почему я решил обратиться к тебе с убедительной просьбой помочь нам. Конечно, я не думаю, чтобы лично ты или центр непосредственно займется этим делом (хотя политический эффект от этого был бы громадный), но я надеюсь, что ты двинешь этот вопрос куда нужно, но с тем, чтобы вплотную им занимались инстанции не ниже областной.

Будь другом, помоги».

Я не хочу обижать память друга, но я и не могу не рассказать о том, как все это обернулось дальше. Тем более что винить я его ни в чем не виню,— он сам, как это выяснилось из нашего разговора впоследствии, был в плену иллюзий и, отослав в область мое письмо, был уверен, что поступает правильно, а все дальше пойдет тоже правильно. А когда я рассказал ему, как дело обернулось на практике, он, помолчав, ответил своей любимой и очень емкой поговоркой:

— Цэ дило трэба разжуваты.

Но «разжуваты» ему не удалось — шли сложные предвоенные годы, и какая-то несчастная Колыбелка потонула в общем водовороте дел и событий. А письмо мое, видимо, проделало свой обычный путь — сверху вниз, до тех самых низов, о которых в нем шла речь.

Когда я впервые приехал в Колыбелку, меня приняли с распростертыми объятиями, как невиданную залетную птаху, даже не спросив документов, и вдруг через полтора месяца меня вызывает тот же самый парторг Кондратков и требует мои «верительные грамоты». Теперь у него и отношение и тон совсем другой — сухой, официальный и зловещий, что-то уже предвещающий. А потом случилось совершенно непредвиденное обстоятельство, которое повернуло весь ход дела совсем в другую сторону. Почувствовав как-то острую боль в животе, я пошел в больницу. Врач оказался в отъезде, и принял меня пожилой и, видимо, малосведущий фельдшер, который дал

мне касторки. Он не знал и не предположил, что у меня мог быть приступ аппендицита, а при этом обострении касторка крайне опасна: она вызывает резкие сокращения кишечника, в том числе и аппендикса, и может вызвать его разрыв.

Так у меня и получилось: я свалился с очень высокой температурой и в боку у меня вздулся, как подушка, громадный инфильтрат. Несколько дней я провалялся под присмотром своего однорукого хозяина и его заботливого «унутреннего врага». Ко мне никто не решался заходить, кроме Тихона Пантелеевича Недикова, селькора, открытого и непримиримого борца против засилья каребинской шайки. Даже врач, ради которого я сюда приехал, навещал меня только ночью. Врач перевел меня в больницу, а потом дал телеграмму жене и в Союз писателей. И вот я лежу в полубредовом состоянии, с грелкой на боку и слышу звук самолета. Сначала я не придал этому значения, но под окнами раздался вдруг топот многих десятков ног: это ученики находившейся рядом с больницей школы, сорвавшись с уроков, бежали к приземлившемуся поблизости самолету. Меня быстро собрали, одели и на носилках, на глазах у всего честного народа, погрузили на маленький санитарный самолетик.

Вот из каких когтей вырвал меня этот самолетик в августе — сентябре 1936 года.

Я помню, как, прорвавшись сквозь облачную гряду, мы оказались в волшебном мире с белоснежными горами, морями, невиданными какими-то, тоже белоснежными существами и с ярким, смеющимся солнцем. Помню, как где-то, над какими-то полями и лугами, за Воронежем пилот спросил:

— Не холодно? А то спустимся, погреемся.

Но греться я нигде не хотел и рвался в Москву, где меня ждала жена, погибший впоследствии при защите того же Воронежа сын и Боткинская больница. В больнице мне, ныне покойный тоже, чудотворец-хирург профессор Очкин, которому теперь в Боткинской больнице поставлен памятник, сделал операцию, длившуюся вместо положенных при аппендиците 15—20 минут целых полтора часа. Получилось это так.

Внутренне подготовленный к тому, что меня ожидает, я в довольно спокойном состоянии лег на операционный стол. Мне сделали какой-то укол для местной анестезии, и профессор сделал разрез, который я совсем не

почувствовал, но в подвешенное над столом зеркало видел, как он что-то начал делать с моим животом и вдруг сказал:

— Ой, что у него там делается. Маску!

Мне надели анестезирующую маску, и я постепенно стал погружаться в какие-то туманы. Но сквозь эти туманы я увидел или почувствовал, как профессор облокотился на операционный стол так, что локоть его, по-моему, даже касался меня, и как ни в чем не бывало стал рассказывать кому-то, как он летом ездил на озеро Рица. А мы с моей Марией Никифоровной тоже, чуть ли не в этот год, тоже ездили на это изумительное горное озеро, и, как мне казалось, я слегка усмехнулся:

— Вот черт! Тут человек, можно сказать, между жизнью и смертью находится, а он сказки рассказывает.

Потом я смутно почувствовал, что меня кто-то дернул за ногу — это была проба глубины сна. Больше я ничего не чувствовал и проснулся уже через сколько-то часов в палате. А на другой день, при обходе, профессор первым подошел ко мне и своим бодрым и взбадривающим голосом сказал:

— Ну, батенька, вам повезло. Могло быть плохо. Совсем плохо.

Оказывается, разрыв кишечника был такой, что только каким-то чудом это не вызвало перитонита, а искусство хирурга, вычистившего оттуда прорвавшиеся нечистоты, спасло мне жизнь.

— Ну, теперь будете жить! — сказал на прощанье профессор.— Вы ведь оптимист.

— Какой я оптимист! — ответил я.— Может, когда-то и был, а жизнь так потрепала...

— Ну, не скажите! — возразил профессор.— Мы определяем характер человека, самую его основу по поведению под наркозом. А вы вчера так заразительно смеялись, что нам всем стало весело.

— Как — смеялся? — удивился я.— Я помню, что усмехнулся про себя на ваш рассказ об озере Рица.

— Это — то, что вы помните,— сказал профессор.— А что не помните, в этом и выражается глубинная сущность вашей натуры. Оптимистическая сущность. Запас прочности.

Сорок лет прошло со времени этого памятного и мудрого разговора, и я до сих пор не знаю — так это или не так? А может, и действительно так? Может, это и дает

мне силы переносить все и пережитые и последующие удары жизни?

Во всяком случае, вырвавшись из когтей сначала одного, а потом другого Чудовища, я, по выздоровлении, пошел в редакцию выходившей тогда «Крестьянской газеты» и рассказал о всех колыбелковских делах.

Редакция послала туда специального корреспондента, проверила и напечатала об этих делах статью. Был суд. Каребин получил четыре года, «Гусак» — два. Но общее положение в колхозе, как писал мне тот же Недиков, видимо, изменилось мало.

«Районные организации не хотят доводить дело до конца. Я живу в ненависти, вы знаете, как здесь ненавидят, когда говоришь правду».

Так закончилась эта столь грозная для меня эпопея.

МЕЖДУГЛАВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

СТОН ДУШИ

«Только что отгремел салют. Занят район Мазурских озер. Там генерал Самсонов осенью четырнадцатого года погубил целую армию и уложил себя красивым выстрелом в висок. Теперь в какие-нибудь несколько дней наши войска подошли к Кенигсбергу. Величественно и неукротимо идет наш народ — разгневанный народ — на своего оскорбителя, на своего давнего врага, идет, как судьба.

Мне представляется море, прибой. Одна за другой, одна за другой идут на берег волны и, шурша, откатываются назад. Но вот наступает момент: где-то и почему-то накапливается большая, особая волна. Она идет, зловеще переливаясь на солнце, она подтягивает под себя, от берега, воду, песок, гальки, камни, все, что можно от него взять, а потом вдруг вырастает стеною, как ставшая на дыбы львица, и, сверкнув белым гребнем, опрокидывается вдруг и несется в каком-то неистовстве, в бешенстве, гремя и швыряясь камнями и дымясь миллиардами брызг.

Да простится мне эта красивость, но именно такую, вставшую на дыбы, львицу напоминает мне сейчас наша армия».

Это из записей того времени.

Хотя стыдно, может быть, писать мне эти возвышенные слова, мне, не принявшему непосредственного участия в этом великом походе.

А может быть, и нет. Не знаю. Вины моей я за собой не чувствую. Я не прятался, не уклонялся, не притворялся, я жил и действовал как рядовой гражданин, по законам этого, моего, вставшего на дыбы государства, по его державной воле. Им я был освобожден от войсковой службы по физической непригодности еще в горячем 1919 году, в самый первый советский призыв в Красную Армию, шедшую на смену Красной гвардии, и так, по сути дела, всю жизнь проходил в «белобилетниках».

Правда, после знаменитой обращенной к народу сталинской речи от 3 июля 1941 года я записался в народное ополчение, но пробыл в нем только три дня, а потом, при ближайшем знакомстве с личным составом, наше ополченское командование меня забраковало.

— Нам нужны бойцы, а вы... Простите! У нас вы будете балластом,— сказали мне.— Война предстоит большая, она вам место найдет.

А потом... я не знаю, как это забыть? Да и можно ли? Да и нужно ли? Тот, сорок первый, даже точно — 16 октября, день, начавшийся самой лаконичной за все время войны утренней сводкой: «Положение на Западном фронте ухудшилось». И... растерянность, а у кого-то, может, и озлобленность. «Бегут!» А куда бежать? Зачем? Как будто можно убежать от войны, от судьбы, от России, но все равно: «бегут»,— чуть ли не с ненавистью бросали вслед людям с чемоданами, спешащими в поезда. Правда, на деле оказывалось, что они вовсе не бегут, а просто едут, по командировкам, мандатам, едут куда-то и по разным, очень важным делам — строить заводы среди чистого поля, налаживать какие-то порванные войной связи, выполнять очень срочные, по-военному срочные поручения. Но... Но чувство растерянности оставалось. Да как ему не быть, если Малоярославец стал фронтовым городом? Как? Когда настежь открыты двери опустевших учреждений и пепел, как черный снег, почему-то носится в воздухе. Как?! Как подавить в себе черный тоже, холодящий ужас от своей беспомощности и безнадежности?

Да, все это давно ушло и, можно сказать, забыто за победными залпами и ликующими вспышками салютов,

но это было, и все это прошло через душу. Прошлое не мертво, и душа ничего не забывает.

А как забыть вечер, когда мы с Анатолием Глебовым, чудесным человеком и честным писателем, первым, пожалуй, в своем рассказе «Правдоха» нарисовавшим образ нашего советского правдоискателя,— когда мы шли с ним из клуба писателей, где во дворе мы, все не призванные в армию, проходили военную подготовку, занимались нелепой шагистикой и бросали деревянные «гранаты». А рядом, тут же за углом, на площади Восстания, три мальчика в мешковатых солдатских шинелях устанавливали пушку дулом к зоопарку и дальше через Красную Пресню, на запад. И от этого похолодело сердце. «Неужели, действительно, в Москву ждут?»

А потом я медленно брел по Москве, такой же ушедшей в себя, как и я сам, шел домой, на свою Смоленскую площадь, и думы, как черный снег, кружились и кружились в моей голове.

Неужто ждут?.. Как же так получилось? И почему? Об этом мы только позже, много позже, стали сначала догадываться, а потом разбираться, пока на страницах «Правды» не появился полный текст пьесы Корнейчука «Фронт», пьесы, обошедшей вслед за тем все сцены Советского Союза и обнажившей все, о чем мы не говорили, а думали про себя. А тогда... Ведь, пожалуй, не везде, не со всех еще стен были содраны плакаты совсем недавних дней — «Воевать на чужой земле малой кровью».

Такой же примерно плакат, красочно оформленный, я совсем недавно видел в 56-й школе на Можайском шоссе, где моя Мария Никифоровна была классной руководительницей десятого, выпускного класса, почти целиком ушедшего в ополчение во главе со своим директором Григорием Ефимовичем Косаревым.

Мне невольно вспомнился тогда Тюрин, паромный перевозчик из рассказа Короленко «Река играет», когда он в отчаянную, решающую минуту взял в руки багор и провел свой паром через буруны взыгравшейся реки. Скажут, масштабы не те: великое и малое. Но великое растет из малого, в том числе и из Тюрина, из толстовского капитана Тушина, из Ивана Сусанина, в конце концов из Ильи Муромца, из духа народного. И неужели теперь не найдется?.. Нет, найдется, конечно, найдется какой-то Тюрин и теперь, потому что русский народ не может

погибнуть, как не может погибнуть и та великая идея правдоискательства и правдостроительства, то историческое дело, которое он взвалил на свои плечи.

А потом... Само государство указало мне потом место, когда фронт подошел к Наро-Фоминску, и я с семьей в составе целого эшелона писателей был эвакуирован в далекую глубинку, в Казахстан, где и подсмотрел свою «Марью» в ее первородных истоках и зародышах.

...Дождливая, предвесенняя пора. Степь. И в степи, под мелким, моросящим дождиком, пашут одиннадцати-двенадцатилетние ребята, на быках, в легких пиджачишках и промокшей обувке, и не сходят с борозды, пока не выполнят норму. А вечером, при тусклом свете «летучей мыши», идет собрание, премируют этих ребятишек.

— Как победитель в соревновании пахарей премируется поросенком Матвеев Петр... Петька! Петро! Где он, паршивец, запропастился?

А победитель свернулся калачиком здесь же, под столом президиума, и спит без задних ног. Смех и грех!

...А еще позднее, в последний год войны, на крайнем напряжении сил, я, изначальный, с 1919 года, «белобилетник», тоже был призван в армию и стал солдатом запасного полка. Но когда там производился набор в роту самокатчиков и я записался в нее, то и здесь я получил от ворот поворот: «очки соскочат»,— сказали мне.

И в результате медицина признала меня годным опять-таки только для нестроевой, тыловой службы, и я год проработал на заводе, изготовлявшем знаменитые «катюши» и мины, и как контролер ОТК пропустил через свои руки не одну сотню, а быть может, и тысячу этих чугунных мстительных чушек.

А ратному делу я, вместо себя, отдал самое дорогое — единственного нашего сына.

Я ощутимо, до боли, помню наш прощальный мужской поцелуй в Семипалатинске, где я поймал Володю — так получилось — в самый последний момент отправки воинского эшелона, у теплушки, в которую он вскочил уже на ходу поезда.

А вот его последнее письмо, писанное для емкости бисерным, еле различимым почерком на миниатюрненьких клочках бумаги.

«Пишу, сидя в окопе в 500 метрах от немцев. Пережил уже два боя, два раза ходил в наступление. Пока жив. А только вчера вынес с поля боя своего друга, с

которым у нас была крепкая договоренность — помогать друг другу в случае ранения. Разрывная пуля выворотила ему наружу все внутренности, вряд ли выживет. Пришлось волочить его метров 200 по-пластунски под пулями и минами. Вообще мина здесь самый страшный враг, от нее одно спасение — зарываться поглубже в землю. И бомбежка.

Здесь я узнал, что такое настоящая бомбежка. Это не то, что в Москве, когда «гансы» летали на большой высоте ночью и бросали бомбы фактически наугад.

А здесь они заходят против ветра и с высоты 100—200 метров бросают сразу по 4—5 штук.

Вообще, говоря откровенно, шансы мои теперь здорово понизились. А жить хочется. Ведь я еще фактически не жил.

Пишу я эти слова, как живой человек, у которого есть сердце и нервы. Это не мешает мне, однако, люто ненавидеть врага и в нужные минуты презирать смерть по русской поговорке: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Так мне повезло.

Ну, дорогие мои старички, кончаю. Сейчас в прозрачном августовском воздухе свистят мины, а мне представляется живая картина: маленькая уютная комнатка на Красноармейской улице в Алма-Ате и в ней мирный, но упорный труд моих, самых милых и родных папухи и мамухи.

Крепко обнимаю обоих. Ваш горячо любящий сын

Володя».

Вечная ему память!

Я стою у могилы. Хотя могилы, собственно, не видно: она завалена цветами. Больше венки от организаций и — что, пожалуй, еще важнее и трогательнее — множество маленьких букетиков. От людей. От каждого. От каких-то отдельных, самостоятельно бьющихся и живущих своей жизнью сердец. Но, значит, все-таки не отдельных и живущих не только своей узкой и личной жизнью. Значит, есть какие-то связи, глубокие, внутренние связи между тем, Неизвестным, кто лежит здесь в земле, и теми, живыми и разными, которые идут сейчас мимо его могилы, поднимаются по ступеням, снимают шапки, стоят у Кремлевской стены — а у стены опять венки, венки, венки — и медленно обходят могилу, не спуская с нее долгого прощального взгляда.

Значит, есть эти связи. Конечно, не одинаковые, конечно, разные по своему наполнению, жизненному и эмоциональному.

Вот стайка девчат, присмиревших и торжественных. Может быть, они пришли сюда сейчас же, прямо с выставки, расположенной совсем рядом, через дорогу, в залах Манежа. «Разгром фашистов под Москвой»... Может быть, девчата видели там все «то» на картинах, фотографиях и по-своему поняли и прочувствовали это, как можно прочувствовать мертвые фотографии. Но сюда они принесли свои живые сердца.

Вот букетик с простой рукописной надписью: «Моему папе».

А вот: «Дмитрию Соловьеву, пропавшему без вести, от жены, сына и внука, носящего имя твое».

А вот пожилой человек, мужчина морщинистый и лысый, согбенный, слегка загребающий ногами. Он идет и вытирает глаза снятой шапкой. Нет, это уже не от фотографий, это от той неистребимой боли, от той незаживающей раны, которая кровоточит в его, видимо, много пережившем сердце.

Кровоточит оно и у меня, разрываясь от того, что не выплачешь и не выкричишь. Вот по этому Александровскому саду, мимо этих кремлевских стен шел когда-то мой сын Володя, шел с девушкой и обошел с нею весь Кремль, и было для них в этом, видимо, что-то святое, то, что поднимает сердце, и высекает в нем озаряющую искру и раскрывает для самых светлых и благородных чувств. И было это, видимо, настолько огромно и так чисто, что он принес это нам, отцу и матери, и мы были тронуты этим.

Это было перед самой войной. А после войны эта девушка пришла к нам проведать, узнать о судьбе Володи, и мы вместе поплакали с ней.

С тех пор прошло двадцать пять лет, четверть века, а все это живет и не уходит из памяти. Да и уйдет ли? Да и нужно ли, чтобы ушло? Течет река времени, и пройдет еще четверть века, или, может быть, меньше, или, может быть, больше, я не знаю — да и вряд ли кто знает, сколько времени еще потребуется, чтобы снять зловещую тему фашизма. Но даже и тогда нельзя будет забыть о ней, как мы не можем забыть об инквизиции, о нашествии гуннов и татарском иге, как нельзя забыть о самой идее порабощения. Она слишком живуча, она — об этом

говорит суровый опыт жизни! — способна отращивать новую голову даже тогда, когда кажется совсем, навеки обезглавленной. Она, как ядовитый цветок, способна вырастать из любого соцветия слов.

Это нужно помнить!

Это нужно помнить всегда и обязательно тем, кто нарождается вновь, для которых жизнь — неоглядное и нехоженое поле с немеркнущими звездами кремлевских башен и девичьих глаз, а война — это картинки, увлекательные кинофильмы и скучные поучения стариков.

Мы тоже так думали и тоже пели о последней, всеочищающей войне, о последнем бое, после которого воспрянет род людской. Все оказалось куда сложнее. За мир и счастье еще нужно бороться и бороться. Пусть не умолкнет тревожный колокол Бухенвальдского набата и предупреждающий голос Юлиуса Фучика: «Люди!.. Будьте бдительны!» Пусть не обольщаются, особенно они, молодые люди, новые подросшие Володи, видимой безоблачностью жизни.

Об этом и о многом другом я думал там, у могилы Неизвестного солдата. По обе стороны от нее стояли часовые почетного караула, а ярко начищенные сапоги сверкали парадным блеском. А мимо шли и шли люди, и, вглядываясь в них, вдумываясь в их думы, я старался постигнуть те внутренние связи, которые объединяют их, незнакомых друг другу и обособленных как будто бы друг от друга людей, которые через минуту разойдутся в разные стороны и займутся каждый своим делом.

Да, у каждого из нас свои дела и заботы, и большие и малые, и для каждого, конечно, очень важные. Но есть одно главное дело и одна главная, всех объединяющая забота — забота о своем большом доме, о стране, о Родине и о народе, так много пережившем и так много совершившем. И о том, что нужно еще сделать и завершить, и о том, чтобы осуществить те святые и великие исторические цели, которые он себе поставил. Да и не только себе. Чтобы спокойнее и теплее было жить на земле. И разумнее. И честнее. И справедливее. А главное, чтобы победить страх, смерть, истребление, порабощение — зло, недостойное человеческого звания.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

КАК РОСЛА «МАРЬЯ»

К глухой алтайской деревне с выразительным названием Волчиха мы подъезжали, когда начал разыгрываться обычный, затянувшийся потом на неделю, сибирский буран. Деревня, горы, угадывающиеся вдалеке, дорога, хвост лошади — все постепенно тонуло в сплошной пелене стремительно несущегося снега. И вдруг сквозь эту пелену почувствовалось какое-то движение, неясные тени людей и среди них фигура женщины, в коротком ватнике, стоявшей на каком-то возвышении, по-видимому, на сугробе снега. В одной руке ее была лопата, а другую она простирала вперед и, очевидно, что-то кому-то кричала. Голоса ее я не слышал, лица не видел и вообще потом ее не встречал, я просто проехал мимо и спросил возницу — что здесь делается?

— Сложку перетягивают на другой участок,— ответил он.— Вовремя-то не обмолотили, вот теперь нагонять приходится.

Да, колхоз, отдавший почти всех мужчин фронту, не справился с уборкой, и хлеб ушел под снег. Но фронт требовал своего, и сюда, в Волчиху, пришел приказ Родины: обмолотить и сдать хлеб. И вот сложную молотилку, «сложку», отработавшую на одном участке, нужно перевести на другой: тянет ее трактор, а женщины расчищают ему дорогу.

Это было давно, в самый разгар Сталинградского сражения,— как немилосердно летит время! — но женщина с лопатой в руке, ее обвязанная платком голова и треплющееся по ветру платье до сих пор стоят у меня перед глазами. Из этого видéния родилась «Марья».

Я знал колхозную работу и раньше, видел женщин в этой работе, но это были будни. Теперь перед глазами возникло явление — образ и осветил все. В этой фигуре я сразу почувствовал все то бремя, которое легло на советскую женщину в годы войны, весь ее невыразимый никакими словами подвиг, всю ее незаметную, но такую покоряющую нравственную красоту, что я уже не мог не писать об этом. Мне хотелось воспеть, именно воспеть и именно ее — нашу русскую женщину, верную жену, мать, труженицу и гражданку, которой в труднейшие минуты

жизни Родины приходилось решать сложнейшие общественные и нравственные вопросы.

И именно потому, что мне хотелось воспеть ее, я не разрешил своей Марье полюбить Дубкова, инвалида войны, своего постояльца. Драматургически это было так заманчиво: жена получила «похоронную» на мужа, вышла за другого, а потом вернулся муж. Какой сердцещипательный конфликт, кстати, использованный в одном нашумевшем романе того времени! Но он так снижал весь образ, настолько лишал его народной нравственной силы, что я не смог разрешить себе принять его. И читатели, надо сказать, все это поняли и оценили.

Над «Марьей» я работал семь лет. Я изъездил и исходил пешком десятки колхозов, читал лекции, помогал людям в работе, много бесед «по душам» провел в зимние вечера после бурных колхозных собраний, или в полевых станах во время обеденного перерыва, или в ожидании поезда на железнодорожных станциях, и везде, на каждом шагу я встречал эту многоликую «Марью».

Так зародилась и начала складываться у меня мысль о романе. Сначала все было туманно, неясно: не было людей, не было точного сюжета, и лишь постепенно намечались в сознании образы героев. Лишь много позднее, когда я, уже после войны, поехал в колхоз, а за ним в другой, в третий, все стало заполняться живой плотью.

Откровенно говоря, был момент, когда я готов был изменить своей «Марье». В последний год войны, когда армия наша освобождала Польшу, я, вычитав у Герцена, как при подавлении польского восстания 1863 года ряд офицеров царской армии переходил на сторону восставших польских патриотов, очень заинтересовался этим как симптомом международного братства, возвещенного Мицкевичем, и весь этот год занимался изучением Польши и польских дел того времени. Но вот кончилась война, и я сразу же вспомнил о своей «Марье». После беседы в Союзе писателей я пошел в МК партии и встретил там полную поддержку.

— Вам Марья нужна? — пошутил принимавший меня товарищ.— Ну что ж, мы вас к Марье и пошлем.

Меня направили в колхоз, в котором председательствовала Марья Ивановна Зорина. Знакомство с ней во многом помогло мне осмыслить колхозную жизнь, но все-таки это была не та Марья, которую я искал. Она хорошо вела хозяйство и в тяжелых условиях военного вре-

мени удержала колхоз на высоте. Колхозники ее очень ценили, но... не любили. Бывает так в жизни. Она была энергична, хозяйственна, очень требовательна, даже придирчива и резковата, но в ней не было той душевности, человечности, без которой, на мой взгляд, не может быть советского руководителя. Руководитель советского хозяйства — прежде всего руководитель коллектива людей. Он — руководитель, но в то же время он и член коллектива — на то и колхоз. Он идет впереди, но при всем этом всегда должен быть с народом, и только тогда народ идет за ним сознательно и охотно, плечо к плечу.

Этой черты, этой демократичности не было у той Марьи Ивановны. От нее я взял ее хозяйственность, распорядительность, решительность, организационную хватку. Другие черты, необходимые для того типа руководителя, для того идеала, который я себе составил, я брал у других — у Ивана Степановича Егорова, председателя дмитровского колхоза «Победа», у М. А. Домахиной (Горьковская область), Е. А. Лепешовой (Владимирская область), А. М. Глашкиной (Тульская область) и многих других.

Было ли это идеализацией или лакировкой, как могут теперь сказать, оценивая «Марью» сквозь толщу прошедших годов? На мой взгляд, нет. Это сделано было не в угоду и угождению времени, а естественно вытекало из того эмоционального всплеска, полученного в ту памятную встречу в алтайском селе Волчиха, когда мне захотелось воспеть ту безымянную и обобщенную, промелькнувшую в буране событий русскую Марью. Одним словом, это была типизация, когда мысль автора, логически развивая эмоциональный заряд, отбирает рассеянные в живой жизни черты и черточки и, группируя их, объединяет и цементирует своим пониманием образа.

Тем же методом типизации, но с диаметрально противоположным и тоже вытекающим из опыта авторским отношением, был создан и образ пьяницы и безобразника Порхачева, председателя колхоза, в борьбу с которым не по капризу автора, а по логике событий и характеров вступила Марья.

Во время работы над романом мне пришлось видеть все. Я видел изумительных по своей внутренней красоте людей — волевых, кристально чистых, точно светящихся изнутри; видел рядовых колхозников, стремящихся стать «государственными людьми». И в то же время видел вся-

ческую дрянь и гниль, подчиняющую все своим корыстным, часто низменным интересам; я видел полную, безграничную и непоколебимую веру в колхоз, в его возможности и силы, и видел растерянность, неверие, даже уныние перед трудностями и сложностями жизни.

...Правление передового колхоза, кабинет председателя, на стене распласталось переходящее Красное знамя, под знаменем сидит ОН, владыка колхоза. На моих глазах, не стесняясь моим присутствием, он берет не угодившего чем-то ему колхозника за шиворот и собственноручно выталкивает его в дверь,— я буду помнить это до конца дней.

...Не могу забыть и парторга другого колхоза, старика в синих бумажных штанах. На каких-то задворках, оглядываясь, как бы кто не заметил, он рассказывал мне, заезжему писателю, о проделках своего владыки. А колхоз был славный и организован был в первые годы советской власти еще как коммуна, организован был пришедшими «до дому» моряками-балтийцами и назывался святым именем «Аврора», и он, этот парторг, был одним из его организаторов. А теперь он оглядывается и дрожит перед колхозным сатрапом.

...А как забыть потрясающий пример житейской и политической пошлости не где-нибудь в «тьмутаракани», а в столичной Московской области уже после войны?

Роман «Марья» шел к завершению, а одной из кульминаций его было строительство межколхозной электростанции. Для тех лет это было новшество, о котором в то время много писалось в газетах, и я решил использовать его в «Марье». Значит, нужно посмотреть, как это выглядит в жизни. И прослышав, что в таком-то колхозе такого-то района идет строительство подобной станции, я поехал в этот район. А в районе происходило в этот день собрание партийно-хозяйственного актива. На собрании присутствовал, и выступал, и горячо за что-то ратовал, и к чему-то призывал председатель как раз того самого колхоза, куда я держал путь,— молодой и осанистый, в самой силе мужчина, у которого эта сила, как говорится, из всех пор перла.

— Вот с ним и поедете,— сказал мне секретарь райкома.

Ехали мы на грузовике — «хозяин» в кабине, а «народ», в том числе и я,— в открытом кузове. Дело было в июле, и где-то в пути, в лесочке, на берегу речки, в кра-

сивом уголке, машина остановилась — привал. Привал этот затянулся на целый час. Люди купались, выпивали и терпеливо ожидали, я в конце концов не выдержал и кого-то спросил: «Чего мы ждем?»

Ответом была чья-то многозначительная ухмылка и — шепотом — столь же многозначительный ответ:

— Хозяина ждем... С милкой своей в особое местечко пошли. Натешатся — придут.

И действительно, через какое-то время пришли — сначала она, пунцовая, с мокрыми волосами, и как ни в чем не бывало стала усаживаться среди других девчат, тщетно стараясь полуулыбкой прикрыть свой стыд; потом — он, дымя папироской, тоже будто так и надо, сел в шоферскую кабину и кинул:

— Поехали!

И таким пакостникам, подумалось мне, предоставляют трибуну, позволяют, а то и «поручают» говорить высокие и святые слова, «мобилизующие» призывы и заверения. И хлопают!

Какое растление души! И какая сила должна быть в народе, чтобы уберечь в себе что-то действительно святое и незыблемое! Какой запас прочности!

Но этот запас был. И несла его Марья и ей подобные, чистые.

Одним словом, я видел, что в деревне идет глухая, но напряженная внутренняя борьба сил утверждающих и сил разрушающих. Вопроса о том, на чью сторону стать, для меня не существовало. Вопрос был в другом: как и чем поддержать социалистическое начало в жизни нашей деревни? И тогда встал вопрос о Порхачеве.

Порхачевых я видел во многих обличьях, и во всех обличьях они представлялись мне носителями зла, потому что я видел, как мучаются и как борются с ними честные люди колхозной деревни. А что может сделать писатель со своим скрипучим перышком для поборения зла? Изобличить его, вскрыть его и человеческую и общественную сущность и в этом двуединстве показать ее читателю. Это я считал своим гражданским и писательским долгом. Отсюда — жизненно и логически неминуемое столкновение двух главных фигур романа, Марьи и Порхачева.

Так постепенно складывалась у меня центральная тема романа — проблема руководства колхозом, а говоря расширительно, проблема руководства вообще.

С наибольшей полнотой эта «расширительная проблема» развита в главе «Возрождение», и я не могу удержаться от того, чтобы не остановиться на ней подробнее, потому что глава эта глубоко синтетическая, она вся как будто бы выдуманная и в то же время вполне реалистическая, почти документальная, основанная и на конкретных, до ощутимости, впечатлениях, и на официальных материалах, которыми снабжали меня товарищи, работавшие в Совете по делам колхозов.

А кстати, когда я эту главу, вчерне еще, прочитал своему другу, тому самому Феде Каманину, он сказал:

— Ты что? С ума сошел? Разве это пройдет?

— А посмотрим,— ответил я.— Испортить всегда можно. А чем черт не шутит, когда бог спит.

Но бог не спал.

Говорится в этой главе о том, как Марья поехала по делам в один из соседних колхозов, председателя не застала, а разговорилась с приветливой и умной, словоохотливой женщиной, тетей Шурой, и та стала делиться с нею своими болями, что раньше жили они не хуже добрых людей, а теперь «вот оплошал колхоз. Что ж тут говорить? Погас колхоз».

«— Отчего ж погас-то? — спросила Марья.

— Да я уж и не знаю, ясынька ты моя. Мы и сами иной раз подумаем. Поглядим на вас и подумаем, сумежно мы с вами живем, а жизнь разная... У хорошей хозяйки все идет, у плохой — ничего не вяжется. А первое дело, я считаю, председатели часто меняются — не успеет вожжи пересчитать, а их уже сдавать надобно.

— А отчего меняются? — добивалась Марья, которой хотелось до конца разгадать всю механику упадка колхоза.

— Седой их знает! — ответила тетя Шура.— То он нам не нравится, то мы ему не нравимся. Всякие люди-то бывают. То хапун попадется, то какой нескладный. Председатели-то приходят и уходят, а мы все тут остаемся. Всяких видели. Был у нас старикашка один — тот все ошибиться боялся. Только и твердит, бывало: не отставай и вперед не забегай, никогда не ошибешься... А другой был — у того своя поговорка, солдатская: «Все в порядке, носки и пятки». Тот все вперед забежать норовил, уж больно старался перестараться, хотелось и самому выхвалиться. Выступать начнет: я да я! Только и слышно! Вся жизнь-то, послушать, пупом на нем выпер-

ла. А от района бумажкой прикрывался. Уж мудрил, мудрил... А все отчего? Себя высоко поставил. Хозяина забыл. С народом обращения не было. Только и слышишь: вы — лодыри! Несознательная масса! А какая мы масса? Народ как народ... А ведь мы тоже хозяева. Мы хозяева-то! И еще один враг у колхозника есть,— подумав добавила тетя Шура.— Всяк его видит, да никто не обидит, потому он сам всех забижает. Поллитра зеленая. Опять же не то плохо, что председатель пьет, а то, что меры не знает и вокруг него бражка собирается. А уж как переплетутся все, перемажутся, тут их и сам шут не разберет.

— Неужто у вас все председатели такие? — усомнилась Марья.

— Зачем все? Были и хорошие. Есть, матушка моя, и хорошие люди на свете. Чего бога гневить? К примеру, теперешний наш председатель, Алексей Калистратыч. Ничего плохого про него не скажешь. Хоть и не принял его спервоначалу народ, а ничего не скажешь — самостоятельный мужик.

— А отчего ж его народ сначала не принял? — допытывалась Марья.

— И не говори, драгоценная! Седой сам тут не разберется. А больше всего, я считаю, этот самый пожарный начальник виноват.

— Какой пожарный начальник?

— Да наш, районный, родимец его принес».

И вот как дальше тетя Шура описывает эту сцену:

«— Приехал к нам этот пожарный начальник, значит, на собрание. Ему бы нужно было благонько да тихонько рассказать все народу о новом председателе, которого рекомендует: кто он да что он. А он, значит, и начал: я предлагаю да я предлагаю, все свое да свое, а сам кулаком по столу да из лица сурьезный такой. А колхозники теперь знаешь какие. Их криком-то не больно возьмешь. Не хотим и не хотим!

— Ну-ну! — не терпелось Марье.

— Ну что ж? Отодвинул он нашего дядю Степана, какого мы председателем собрания выбирали, и давай голосовать. Семь раз ставил на голосование,— никто руки не поднимает. А под конец... «Кто, говорит, против? Нету? Принято единогласно. Собрание закрыто». И пошел. И дверью хлопнул. Посидели колхозники, помолчали, а потом уборщица и говорит: «Что ж, мужики?

Чего без толку сидеть? Светать скоро будет, а мне еще контору подметать. Во насорили-то!»

— Подожди, тетя Шура! — усомнилась Марья.— А не напутала ты чего-нибудь?

— Нет, шелковая ты моя, ничего не напутала. Сказывают теперь, что выгнали того начальника. И правильно, я скажу, что выгнали! Районный человек должен обхождение с людьми иметь. А этот... Нет! Да разве такого барбоса, что на людей бросается, можно держать? Вот так Алексей Калистратович и стал у нас председателем. Только веры у народа в него еще мало... Ты говоришь — хороший. Ему тоже трудно, хорошему-то! Ему все переламывать нужно. Тут тоже геройство требуется. Потому от каждого прохвоста корешки остаются. Им порядок не нужен, на порядке они ничем не попользуются. Вот они и мутят воду. Телега трынь-брынь, колеса курлы-мурлы, а лошади ни туды ни сюды — вот что им требуется.

— А народ? — спросила Марья.

— Народ-то? — в умных глазах тети Шуры блеснула грусть.— Коль на то пошло... Что ж. Прямо скажу. Разобиделся народ! Те по грибы, а мы по ягоды. Соберемся на работу, ну и сядем, обсуживаем, как наш председатель плохо руководит. Ну, а мы, значит, ему помогаем. Пока обсудили — обед. А после обеда и приниматься некогда. Ан день и прошел. Ни дела, ни покоя. Вздохнешь покрепче... А работать-то хочется! Трудиться дюже люблю! Не трудиться — не жить!

— Каковы сами, таковы и сани! — вздохнула Марья.— Вот государство и дожидайся.

Тут только стала ясна ей полная мера вреда, который причиняется «таковским» руководительством. Точно ржа, начинает разъедать души людей обида и неверие, уныние и равнодушие. Появляются «мы» и «они» — злая граница, за которой исчезает правда.

— А люди... — что-то еще хотела сказать тетя Шура, но Марья уже не могла.

— Люди? — вскипела она.— Какие это люди? Хоть в пень колотить да день проводить — разве это люди? Пускай все снегом запорошит, завалит, а в поле не выйду из-за какого-то там обормота, который колеса спьяну растерял! Люди!.. Люди, я считаю, это те, кто в хорошее верит, кто стоит и не отступается. А кто, как курица, перед всякой пакостью сторонится, дорогу освобождает, это... это люди тоже таковские!»

...Не могу не упомянуть попутно и еще один, более крупный барьер, который пришлось преодолеть при решении проблемы руководства. Это — образ председателя колхоза Порхачева, пьяницы и безобразника, против которого восстала и которого сменила на этом посту Марья.

— Ведь он же член партии,— сказали мне.— Его придется и из партии исключать.

— А что из этого?

— Ну все-таки!

— Знаете что?..— вскипел я.— Как хотите, тогда я ставлю вопрос о книге...

— Да нет! Зачем же? Ну все-таки как-то получше.

— Получше? — давайте искать, как получше. Но от Порхачева я не откажусь.

Когда работа над первой книгой романа, посвященной годам войны, была наполовину закончена, я почувствовал настоятельную потребность проверить себя и еще раз подкрепить жизнью свое представление о том, что я пишу. Я поехал в Краснохолмский район Калининской области, где райком организовал для меня в трех колхозах читки написанных глав романа.

Я никогда не забуду, например, вечера, проведенные в колхозе «Красная Русь». Правление колхоза битком набито народом. Люди сидят на лавках и прямо на полу, от стола до самого порога, и, под аккомпанемент посвистывающей за окном вьюги, в течение трех вечеров подряд слушают повесть о Марье. И не просто слушают: то слышатся всхлипывания женщин, то раздается смех, то реплики: «Правильная женщина!», «Молодец — себя уберегла!».

Это дает уверенность: значит, доходит до сердца человеческого, значит, правильно я рисую свою Марью, люди ее понимают.

А когда я читаю о Порхачеве, вдруг раздается возглас: «Да ведь это же наш Белоусов!» Посыпались рассказы об этом самом Белоусове, тоже едва не погубившем колхоз, и о том, как ему дала бой рядовая колхозница, женщина чистейшей души, Александра Николаевна Коршунова, и как потом сменила Белоусова на посту председателя Прасковья Ивановна Шилова. Именно ей принадлежат слова, являющиеся вершиной духов-

ного роста Марьи: «Государственным нужно быть человеком». В ней, а позднее также в лице П. В. Великановой, М. Е. Копыловой, А. А. Гавриловой, Героя Социалистического Труда А. М. Глашкиной я получил жизненное подтверждение того образа советской женщины, который рисовался моему воображению, и я уверенно стал заканчивать работу над первой книгой романа, как говорится, подводить дом под крышу.

Но еще во время читки в колхозе «Красная Русь» слушатели очень интересовались дальнейшей судьбой героев романа, и прежде всего Марьи.

— А как же Семен-то? Придет он или не придет? — спрашивали женщины.

— Не знаю,— ответил я.— Еще неизвестно.

— Пусть придет! Марья баба хорошая, ее порадовать нужно.

Я согласился с ними, и так мы порешили, что Семен, муж Марьи, благополучно вернется с фронта.

Но после этого возник другой вопрос:

— А как же тогда Марье быть? Останется она председателем или уйдет Семена обиходить?

В тот раз мы этот вопрос не решили.

Я писал книгу о подвиге женщины в годы Отечественной войны и о послевоенных годах, честно говоря, не думал. Но через какое-то время в другом колхозе («Победа» Тульской области) при такой же читке, когда уже определилось, что Семен вернулся, был задан тот же вопрос:

— А как же теперь Марья с Семеном жить будет?

— А как по-вашему? — спросил я в свою очередь.

И начались споры, горячие и страстные. В них сказались разные точки зрения, направления и оттенки мыслей, разные нравственные оценки и разная глубина человеческих переживаний. Тогда поднялась девушка, член звена высокого урожая свеклы, и сказала:

— А по-моему, Марья должна остаться председателем и колхоз ее должен стать передовым.

Мысль читателей, мысль народа, перешагнувшего через точку, которую собирался поставить писатель, помогла ему расширить и до конца осмыслить тему.

Кстати, с этим полностью перекликалась статья преждевременно ушедшего из жизни очень тонкого критика

А. Н. Макарова по поводу первой части «Марьи», опубликованной в «Новом мире» за 1947 год,— «Заявка на большую тему».

Разработке этой темы и были посвящены вторая и третья части романа. Женщинам, прошедшим сквозь огневую закалку войны, теперь, в послевоенные годы, нужно решать ряд важных и личных, семейных и общественных вопросов. Нужно было расти дальше, нужно было сочетать личное и общественное, отстоять себя и в своем лице достоинство советской женщины, ее способность разрешать большие и хозяйственные, и политические, и нравственные проблемы, вставшие перед страной. По этому пути и пошла Марья.

А Семен?

Уходя на фронт, он оставил жену-хозяйку, хлопотавшую у печки. На том зиждилась жизнь: муж работает — жена дом вяжет.

А теперь? К чему он пришел и что он нашел?

Она, Марья,— общественный деятель, «государственный человек», а он — «Марьин муж», можно сказать, никто. Это он-то, фронтовик и по характеру совсем не простой, а очень даже «суковатый мужик».

И началось: то не так и это не этак, все шло враскос, грозило полным развалом, и вот уже Марья под горячую руку бросает ему: «Не мешай ты мне, Семен! Не мешай!» «Знать, по судьбе нашей борона прошлась»,— по-старому, по-крестьянски думает и мучается Семен, но тут на помощь ему приходит новый опыт, нравственный опыт войны.

«В эту войну словно заново рождались люди, рождались сразу и сразу же удивляли всех, кто видел их и знал до этого. Лежали в душе человека пласты, а под ними — скрытые воды. Но вот сдвинулись пласты, и забил ключ, его не закидаешь никакими кирпичами, и человек идет на геройство. Все это видел Семен, сначала удивлялся, а потом и удивляться перестал. Так почему же он удивился этому в Марье? И почему захотелось ему закидать, заглушить забивший в ее душе ключ?»

Одним словом, нужно было искать новые пути жизни и утверждения себя в ней. И Семен выбрал путь хлебороба, вдумчивого, въедливого, борющегося за урожай, за плодовитость земли.

И вот когда я думал и мучился над всем этим, мне вдруг блеснула искра.

В газете было опубликовано постановление правительства о присвоении звания Героя Социалистического Труда колхозникам, добившимся высоких урожаев. Список был большой — кажется, двадцать человек в разных областях и районах страны. Из этого списка мне бросились в глаза два колхоза из одного Богдановичского района Свердловской области. Два Героя в одном районе — еду туда! Иду в редакцию «Правды», предлагаю свои услуги и получаю командировку. Красота!

А на месте оказывается еще лучше: два колхоза с «героями» — совсем рядышком, через небольшой ложок, соседи. Но какие же они разные, эти соседи.

...Рубцов Александр Ильич, из колхоза «Колос». Внешне он совсем другой, чем тот, каким я видел его на газетной фотографии.

Там он был бритый, сухощавый и действительно несколько суровый или, во всяком случае, официальный — с орденом, медалью и только что полученной звездочкой Героя Социалистического Труда. Побрился он тогда, по его словам, по двум причинам: сначала выдавал замуж племянницу и по этому случаю решил примолодиться, а потом получал высокую награду. Теперь все эти неожиданные события прошли, и передо мною — обычный крестьянин, старик с мясистым носом, паутиной морщин, опутавших его лицо, и с небольшой, но окладистой белой бородою.

— Сколько ни молодись, а годы ушли, никуда не денешься,— не то с горечью, не то с иронией шутит он сам над собою.

Но едва он узнал, что перед ним корреспондент «Правды», сразу взмолился:

— Товарищ корреспондент! А как бы сделать, чтобы снять с меня это геройство? А?

— То есть как? — удивился я.

— Ну какой я герой? Мужик как мужик. А ко мне вон парень уж из института какого-то приехал, опыт изучать. А что я ему скажу? Какой у меня опыт?

— Как какой? — возражаю я.— Недаром же вам Героя дали?

— Да ведь как получилось-то с этим геройством? Товарищ корреспондент!

И он рассказывает историю того, как это получилось.

Было здесь, на этом участке, во время войны подсобное хозяйство какой-то крупной организации, которая без меры и счета навозила сюда разных удобрений, вот оно и сказалось. А когда война кончилась, подсобное хозяйство ликвидировалось и этот удобренный, а может, даже перекормленный участок попал в руки звена Александра Ильича.

— Вот оно и все геройство! — говорит он.— Не заслужил я его. А перед людьми совестно: за что?

Но вот мы идем с ним по полям. Я смотрю на его морщины, на белые волосы, прикрытые выцветшей на солнце кепкой, на согбенную спину и вижу: да, старик! Шестьдесят пять лет. Действительно, никуда не денешься — старик. Но он идет ровной, прямой походкой. Потом присаживается на корточки и большими узловатыми руками уходит глубоко в землю, приподнимая ее, черную, лоснящуюся, рассыпающуюся на мелкие, сдобные комочки.

— Посмотрим,— многозначительно говорит он и пытливо всматривается в раскрывающуюся перед нами жизнь земли.— Видишь, какая корневая система проворная! — замечает он, разминая пальцами комочки и обнажая белые разветвленные корешки растений.— Это овес... Это — тоже овес. А это — овсюг, полетай. В пшенице его легко узнать, та — цветом голубее. В ячмене тоже перо другое. А от овса различить — трудное дело. Только по зерну-матке узнаешь.

Овсюг — самый злой недруг хлебопашца в этих краях. Раньше — старики говорят — его и знать не знали. А в засуху 1891 года привезли семена откуда-то со стороны, а вместе с ними завезли и овсюг, и с того времени, уже больше полсотни лет, воюют с ним: головню вывели, полынь почти вывели, а овсюг до сих пор непрошеным гостем является на колхозные поля.

Александр Ильич говорит о нем с особой неприязнью, даже враждебностью в голосе, как об очень коварном и подлом существе. Он знает все его повадки и хитрости. Овсюг созревает на две недели раньше хлеба и осыпается, засоряя землю. Он проходит непереваренным через кишечник животных и возвращается в землю вместе с навозом. Он годами может лежать в почве на любой глубине, ожидая, когда его поднимут наверх, в слой прорастания. Он может прийти с полой водой. Он сам ходит в воде, перебирая усиками.

— А вот вам на факте! — говорит Александр Ильич, показывая на ярко зеленеющую, неправильной формы, луговину, омывающую два больших, полуистлевших березовых пня.— Сюда весной хлынула вода, прошла тут, там и остановилась. И вот видите: точно посеяно что-то. Это овсюг. С водой пришел, нехристь.

С такой ненавистью он говорит и о других сорняках — об осоте, пырее. Потом нагибается и поднимает корешок полыни. Он срезан плугом, изуродован, выдернут из земли и лежит сверху, на сухих, неприветливых комьях, и все-таки пустил корешки и уже раскрыл серо-зеленые розетки листьев.

— Вот тварь какая! — говорит Александр Ильич, рассматривая это упорное, злое существо.

Так мы идем, копаемся в земле и беседуем. Много из того, что рассказывает он, мне знакомо, другое я узнаю впервые, но меня интересует эта большая пытливость, эта любовь и пристальное внимание к земле, к растению, к их жизни и взаимоотношениям. Затем мы сидим на куче прошлогодней соломы, отдыхаем, и Александр Ильич рассказывает свой «корень рождения»: средняя крестьянская семья, хлеборобы, отец рано умер, и Александр Ильич сначала жил с братьями, работал. Много лет отняли войны — первая германская, потом гражданская, а по окончании их он сел на землю, и с тех пор — на земле.

— Природен к этому, потому — хлеб основа всему, все государство этим живет. А если я к этому природен, меня от этого не оторвешь. Кто к чему прильнет. Так и я — с порождения заражен сельским хозяйством. Закаленный хлебороб.

Я слушаю Александра Ильича и думаю о природе его «геройства». А подлинное «геройство» его в этой природности его крестьянского таланта, в любви к земле и беспокойстве за ее будущее, потому что во главе колхоза стоит слабый, безынициативный, но грубый и не любимый всеми человек. А потому, говорит Александр Ильич, «и из молодого народа многие ни к чему не прилипают, ни к земле, ни к хозяйству, и удивляешься: как они жить думают? А ведь отцовский живот — не живот, когда свой наживете — будет живот».

«Таких старичков бы десяток на колхоз, глядишь, дело-то и пошло бы»,— говорят о нем люди.

На другой день я пошел через ложок в соседний колхоз, к другому Герою.

Я узнал его сразу по большой и броской фотографии, которую перед отъездом видел на яркой глянцевитой обложке «Огонька» во всю ее красу. Это — прежде всего борода, пышная, богатейшая, совершенно классическая борода, этакое растительное буйство природы, заполнившей все лицо, где только можно, и из нее, как из сибирской глухой тайги, выглядывают зоркие, жуликоватые, хитрющие, но умные глаза. Он понимает, кажется, все: и что хотят от него, и что хочет он сам для себя, и как это связать, увязать в один только ему одному известный, замысловатый узел — что нужно обойти и как обойти, кого нужно «объегорить», чтобы добиться своего, потаенного, скрытого в этой дремучей заросли, и чтобы остаться неразгаданным, как неразгаданной кажется не то улыбка, не то усмешка, не то ухмылка, прикрывающая все это искуснейшее хитросплетение настораживающих непонятностей.

Это чувство внутренней настороженности, рожденное во мне фотографией в «Огоньке», не исчезло, когда я встретил моего «героя» в натуре. Наоборот, усилилось — от того, как он много говорил о себе, как он держался с другими, с девушками-колхозницами, членами своего звена, как они держались с ним, от тех тонкостей, которые бывают иной раз важнее самого явного. По полям он не пошел, а повел меня к «показательному», как он выразился, участку. Участок этот представлял из себя сравнительно небольшую клетку земли, на которой весь дерн был снят и аккуратными кирпичиками сложен вокруг этой клетки в виде барьера. А середина, лишенная, таким образом, всего гумуса, была мельчайшим образом, до пыли, измельчена, и из нее пробивались какие-то росточки.

Все это было настолько агрономически неграмотно и явно рассчитано на показуху, что я не мог не высказать ему этого. Но «герой» мой был явно непробиваем, особенно, видимо, теперь, когда он оказался на самой верхней высоте деревенского мира,— он только смотрел на меня своими хитрыми глазами и ухмылялся.

А в заключение, выбрав удобную минуту, ко мне обратился колхозный завхоз:

— Товарищ корреспондент. Как же нам теперь быть? Ведь мы на него хотели подавать в суд.

— Ка-ак?

— Он украл у нас большой колхозный ларь. А как же теперь? Разве Героя тронешь?

...Ну что можно было написать об этих «героях»? Я ничего и не написал. Я пришел в редакцию и откровенно рассказал все, что видел. В ответ было недоуменное пожатие плечей — мне не поверили. А потом по моим следам был послан другой человек, для проверки. Результатом был его очерк опять-таки только о Рубцове, очень простой и пресный очерк, как о простом старике хлеборобе — кем он и был в действительности,— без всякого упоминания о том высоком звании, носителем которого он стал вопреки своей собственной совести. А о том, втором, разрекламированном на всю страну «герое», с шикарной бородой и классической бессовестностью, вообще не было сказано ни слова — совесть не позволила.

Значит, мое понимание всей этой ситуации оказалось правильным: дана идея, к которой нужно было подобрать людей, и бюрократический аппарат постарался это сделать, но сделал это, в силу своей сущности, бюрократически.

Однако идея была правильная — пробуждение внутренних сил, выявление героического начала в сельскохозяйственном труде. Эту идею я принял для моего Семена, живущего «на взлете». И в этом милом старике, Александре Ильиче Рубцове, я увидел внутреннюю, психологическую основу образа «закаленного хлебороба, зараженного сельским хозяйством». А попутное знакомство с сортоиспытательным участком и прекрасным агрономом Петром Михайловичем, работавшим там, подсказало развитие этой старокрестьянской «мужицкой» основы, может быть даже подосновы, в ее современном, научном направлении.

Так, сложными путями, пришлось мне творчески создавать образ Семена, идущего в ногу с Марьей. Не скажу, что мне все и во всем это удалось — получился, на мой взгляд, некоторый перебор, особенно в третьей части, по линии чисто хозяйственных, крестьянских задач и усилий, приведших его в конце концов к «геройству».

Дело ведь не в одних заботах и тяготах и даже не только в проблемах. В художественном произведении

важен эмоциональный настрой, отношение писателя к этим самым тяготам и проблемам, любовь и ненависть.

Поясню это примером. В «Марье» есть нежно любимый мною образ девушки, представительницы той части женского населения военных лет, которую можно назвать тоже своего рода жертвой войны. Безмужние и бессемейные, эти не успевшие выйти замуж девчата стали «рабочими пчелками», основной рабочей силой в колхозах военных лет с невеселой и безнадежной перспективой остаться, как это в народе говорится, «вековухами».

К одной из них, очень скромной и работящей девушке, оставшейся со стариком отцом, мне удалось близко присмотреться. Звали ее Любой, и в откровенном разговоре она как-то с грустью сказала:

— Работаешь и работаешь, а счастья-то нет.

Мне стало жалко и ее и всех обездоленных ее сверстниц, и мне захотелось порадовать их, дать им луч надежды: ничего, мол, не потеряно и, если сохранить душу, счастье тебя найдет. И вот я силой своего авторского права переименовал ее в Наташу, дал ей хорошую, тонкую душу, женил на ней Андрея, вернувшегося с фронта, первого, как говорится, парня на деревне, и «устроил» им счастливую жизнь. Что это — лакировка? Нет, это желание поддержать дух человеческий — пусть порадуются!

Пусть радуются и живут люди — вот тот эмоциональный финал, которым завершается развитие Марьи.

«Земля для блага дана человеку, и многих она может порадовать. Надо только, чтобы не лежал человек мертвым камнем на земле... И сами-то мы к коммунизму с чистой душой прийти должны. А то иной говорит о коммунизме, а сам, как волк в сказке, хвостом к проруби примерз... Он ведь отовсюду строится, коммунизм-то, и снаружи и изнутри. Я так думаю».

Это говорит Марья на последних страницах романа. Это уже не та баба в ватнике и с лопатой в руках, из которой она выросла:

«Она сидела, крепкая, полная зрелой здоровой красоты — румяные щеки, белым инеем подернутые брови и выбившиеся пряди волос. А кругом — снег, и ослепительные блёстки, и голубая высь, и придорожная березка, серебряная, сквозная, уходила в эту высь, точно призрачная, озаренная солнцем».

«Это лакировка!» — сказал на это, вернее, написал через 25 лет молодой критик, не нюхавший того времени, его проблем, тягот и радостей.

Нет, это не лакировка! Идеализация? Может быть. С этим согласен. Как символическая птица-тройка, завершающая щемящую тоску и скрытый гнев гоголевских «Мертвых душ». Ведь жил-то я и писал свою «Марью» в атмосфере своей эпохи, той суровой и во многом жестокой эпохи. Видел я и раскрытые, точно ребра полуободранной лошади, крыши сараев, солома с которых пошла на корм скоту. Видел и опухших от недоедания людей, вместо хлеба ел и «макуху», жизнеопасный для человека жмых из подсолнуха.

Видел — сам, своими глазами,— видел и то, как трое ребят, забившись на русскую, добрую русскую печь, на которой когда-то старики залечивали свои «болести», а теперь ребята дрожали и плакали от холода, потому что в этой безлесной стороне ее топили всегда соломой, а солома стала колхозной и каждую вязанку ее нужно было выпрашивать, а в поле стояли заповедные стога, которые по весне — случалось и так — сжигали, чтобы освободить землю под пашню. И я знаю случай, когда женщина, солдатка, была осуждена за вязанку соломы.

Время было суровое, порою жестокое, и по трудностям своим и по тяготам. А это не одно и то же. От трудностей у русского человека есть одно привычное и испытанное средство — подтянуть ремешок. Но когда душу обременяют непонятности и несправедливости — это тяготы, для которых нужны другие решения.

Одним словом, было все — и трудности, и тяготы, были беззакония, пакости и непотребства, творимые разными Порхачевыми и Коребиными, но были и чистые, светлые души, труженицы и подвижницы, и Марьи, и другие, безымянные, но достойные быть воплощенными в медь и мрамор монументов. И это о них, много позже, на Шестом съезде писателей, произнес Федор Абрамов свое вдохновенное слово:

«Ведь это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой еще в сорок первом году открыла второй фронт. А как, какой мерой измерить подвиг все той же русской бабы в послевоенную пору, когда она, зачастую сама голодная, раздетая и разутая, кормила и одевала страну, с истинным терпением и безропотностью русской крестьянки несла свой тяжкий крест вдовы-солдатки, матери по-

гибших на войне сыновей!.. И мы должны осмыслить и удержать их духовный опыт, те нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжких испытаний. Малограмотные и чересчур доверчивые, порой граждански невоспитанные, но какие душевные россыпи, какой душевный свет! Бесконечная самоотверженность, обостренная русская совесть, любовь к труду, к земле и ко всему живому — всего не перечислишь».

Да! Все это было.

А литературу нельзя строить только на мелком и обыденном и тем более на низком и низменном. Без возвышенного нет искусства, как нет без него и жизни. Всегда, даже в самые мрачные периоды человеческой истории, оно, это возвышенное, было, пусть порой только теплилось, но все же было, жило, а то и разгоралось — и чем мрачнее, тем, может быть, ярче — в пламя и всегда находило свое отражение в искусстве, душе человечества. Оно дает воздух книге, перспективу — читателю, а писателю — силу и право на критику: с высоты положительного можно критиковать все, что необходимо критиковать, чтобы преодолеть злое и утвердить доброе начало жизни.

МЕЖДУГЛАВИЕ ПЯТОЕ

...Преодолеть злые и утвердить добрые начала жизни. Как это хорошо звучит и какими неожиданностями откликается иной раз в читательских письмах.

Я не буду говорить о чисто оценочных отзывах: «интересно — не интересно». Не буду говорить и о письмах типа: «Прошу сообщить мне адрес Марьи Карповны, ибо хочу установить с ней контакт при посредстве писем» или «А откуда вы все это взяли — из жизни или из головы?». Из головы ничего взять нельзя, потому что «голова» живет тем, что она получает от жизни. В том числе и голова писателя. Но писатель не просто «отражает» жизнь, он преломляет ее в своей душе, что-то утверждая и что-то отрицая и осмысливая ход жизни, и в таком преломленном, осмысленном и просветленном виде возвращает народу все, что от него взял. А читателю только тогда и нравится художественное произведение, когда он вместе с его героями живет и мыслит, и чувствует, переживает то, что ему хорошо знакомо, или идет дальше, узнавая новое, ставя себе вопросы и делая какие-то выводы для дальнейшей жизни.

Вот этих читателей я не мог оставить без ответа.

«Товарищ автор, Григорий Медынский!

Мне 23 года. Я — ленинградка, работаю на фабрике «Красное знамя». Я прочитала Вашу книгу «Марья», и от нее осталось что-то светлое, волнующее мысль. Я любила деревню, мечтала о ней, так как деревню не знала и почему-то верила книгам, думала всегда, что здесь должна быть частица правды. Жизнь вне пределов Ленинграда я не знала. При выходе замуж у меня не ослабла любовь к книгам, я не пропускаю ни одной новинки. И если бы я прочитала «Марью» в Ленинграде, я бы опять мечтала о деревне.

Сейчас я после болезни отдыхаю в деревне в Воронежской области, в Ольховском районе. Я дочитала книгу, и у меня спросила мать мужа — о чем? Я ответила: «О деревне».— «Чем книгу читать, лучше бы посмотрела, как наши колхозники живут».

Тошно смотреть, товарищ автор, пришлось убедиться... Горечь охватила сердце.

...Очень прошу, дайте ответ: почему до сих пор существуют такие люди,— ведь мы проливали кровь, сколько не вернулось отцов, братьев с поля брани, боролись за счастье, чтобы одинаково жилось что в городе, что в деревне.

...Товарищ автор, поймите меня: очень больно сознавать свою беспомощность. Боль. Я не могу примириться с этим, что здесь делается. Не могу понять, дайте ответ, разъясните, возможно, я ничего не понимаю, а этот колхоз надо расследовать, по-моему, и обязательно.

А книга мне очень нравится, от нее, как прочитаешь, веет счастьем. Мы умеем бороться, и думаю, что со временем нигде не будет бесчестья, люди равны».

Мог ли я не ответить на это письмо?

«Товарищ Сергушенко!

Я получил Ваше письмо, навеянное моим романом «Марья». Очень рад, что чтение моей книги оставило у Вас, как вы пишете, «что-то светлое», что от нее «веет счастьем». И я хотел бы, чтобы это ощущение светлого и счастливого в жизни у Вас осталось, чтобы Вы по-прежнему верили книгам. Наши советские книги основаны на жизненной правде, в них говорится и утверждается правда, и верить им нужно. Но ни одна книга не может охва-

тить всей жизни, во всем ее объеме, и каждый читатель может видеть вокруг себя что-то новое, иной раз заставляющее задуматься.

С этим, очевидно, столкнулись и Вы...

Очень прошу Вас, т. Сергушенко, не теряйте этой веры в торжество светлого. Я же, поскольку Вы обратились ко мне со своими недоумениями, сделаю все возможное, чтобы помочь тому колхозу, о котором Вы пишете. Его действительно, как Вы говорите, «надо расследовать», и расследовать как следует. Поэтому Ваше письмо я пересылаю в Совет по делам колхозов при Совете Министров СССР, который, надеюсь, примет необходимые меры».

Это было в 1952 году. На все это не ответил мне ни Совет по делам колхозов, ни сама Нина Сергушенко,— не поверила она мне или уехала в Ленинград,— но голос ее возмущенной совести и все ее боли душевные звучат для меня до сих пор.

И как бы в ответ ей, через ряд лет, совсем из другой области и из другого колхоза — не «Большевик», а «Заветы Ильича» — название тоже обязывающее,— пишет другая колхозница, Надя Африкан, тоже горячая душа, тоже ищущая и жаждущая правды, и пишет о том же.

«От души благодарю Вас за роман «Марья». Я очень люблю книгу и люблю не только прочесть ее и отложить в сторону, а вместе с ее героями я переживаю то, что они переживают и добиваются. Ведь это люди из нашей среды, из нашего народа, они где-то рядом с нами, и очень хочется встать рядом с ними, в один ряд и шагать все дальше и все смелее.

Вот теперь я выскажу то, что тревожит мою душу. Мы с мужем три года работаем в колхозе «Заветы Ильича», на МТФ, он — скотником, я — дояркой. И меня мучает одно: ну почему люди в других колхозах могут добиваться своей цели, могут переделать свою жизнь, сделать ее счастливой, а главное, дружной. А у нас, у наших колхозников я не вижу веры в свое будущее, и они работают с холодком. Чем все это объяснить? А работать и жить хочется, как и другие.

Очень хочется найти тот корень, который мешает и разрастается колючим кустом в душах колхозников, найти и вырвать его, и отбросить его, и перестроить все заново, и твердо шагать по пути, который указал нам Владимир Ильич. Ведь и колхоз у нас «Заветы Ильича», а не выполняем мы его заветы, и нам очень стыдно пе-

ред партией, перед нашими отцами и дедами, которые отстаивали и трижды в кровавых схватках с врагами отстояли наше светлое будущее.

Вы уж простите, что я так открылась Вам, но виноват Ваш роман «Марья» — уж очень хорошо все написано в нем, а мы, наверное, никогда не дойдем до этого. А время-то какое, а стройки какие кругом, люди учатся, работают и все куда-то стремятся, ищут, находят и опять ищут,— а у нас ничего этого нет, нет стремления, нет веры в будущее, а без веры трудно жить бесцельно, цель должна быть у каждого человека. А мы точно не такие люди и не под одним небом живем.

А работать хочется. Я очень люблю свою работу. Ведь животные тоже любят ласку, уход, а не то что накормил, подоил, и ладно. Надо знать, как сделать, и подход надо иметь к каждой корове.

Привет Вам от моего мужа, он у меня малограмотный, но я ему рассказываю прочитанное».

Мой ответ:

«Меня очень взволновало и даже встревожило Ваше письмо, такое искреннее, честное и в то же время такое неспокойное.

Вы спрашиваете: «Почему же у нас такое настроение?» Но, дорогая Надежда Павловна, согласитесь, как это трудно решить и сказать за Вас, заочно, на расстоянии. Давайте думать вместе. Тем более что и сами Вы человек, видимо, умеющий думать и болеющий за жизнь. А это самое главное. И потому, при всех своих болях и сомнениях, не теряйте этого качества, не пускайте в сердце свое холод равнодушия. Кто перестает болеть за жизнь, это мертвый человек, живет, как покойник...

И ничем другим не могу я помочь Вам, кроме слова ободрения: не сдавайтесь перед злом, не уступайте ему, и, уверяю Вас, Вы его победите. Зло не может торжествовать в жизни, это противоестественно. Оно живет только до тех пор, пока люди отступают перед ним и опускают руки. Не отступайте! Думайте, и разбирайтесь, и выискивайте на месте тот самый ядовитый корень, о котором Вы так хорошо сказали.

Желаю Вам, сердечно желаю успехов.

И передайте привет Вашему мужу и всем Вашим товарищам по колхозу».

И ее ответ:

«Большое Вам спасибо, наш учитель, за Ваше письмо.

Я не знаю, как Вас благодарить. И не знаю, что ответить.

Хозяйство наше колхозное если и движется, то очень мало. Было у нас собрание и прошло очень бурно, было много критики на правление колхоза и самого председателя, и после требования снять председателя колхоза были бурные, продолжительные аплодисменты. Но председателя не сняли, он дал обещание исправить свои ошибки.

В настоящее время мне очень трудно, ведь у меня хозяйство и четверо детей, но я не сдамся, пока могу принести пользу, хотя бы маленькую.

На собрании меня избрали членом правления колхоза, а на фестивале 2 мая я читала сочиненный мною стишок «Миру мир» из 15 куплетов и получила в премию платок.

Привет Вам очень большой от моего мужа. Он тоже принимает участие в перестройке нашей жизни».

Это переписка 1959 года.

Итак, что же получается?

Роман вырос из самых светлых авторских намерений и побуждений, вплоть до желания воспеть ту безымянную «Марью», образ которой зародился во вьюжном видении грозного 1943 года, и, пройдя через все сплетения и переплетения действительности, через все усилия мысли и напряжения совести, заканчивается на другом, еще более возвышенном витке авторских чувств и восхищений:

«И увидела Марья сон. Идет она будто по широкой дороге, идет в гору, ввысь. Дорога делает большие, крутые повороты, а Марья идет и идет. И солнце впереди... Кругом цветы, большие голубые озера. Красиво, и сердце радуется. Точно всё тут: и искристый рассвет, и солнцем пылающий полдень, задумчивые закаты и щемящая грусть лунных ночей.

А дорога шла все выше и выше, и за каждым ее поворотом открывались все новые и новые дали».

Поэзия далей.

Так почему же?.. Почему же эта, самая искренняя, казалось бы, временами даже цветистая поэзия, столкнувшись с жизнью, породила такие прозаические вопросы и серьезные недоумения?

Суровая логика вещей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Если сказать откровенно, я только после «Марьи» на встречах с читателями и в других публичных выступлениях стал называть себя писателем, стараясь до этого обходиться более скромным, как мне казалось, и официальным титулом: «член Союза писателей». Внутренняя причина этого мне представляется в том, что я серьезнее стал смотреть на звание и на призвание писателя. А обязан я этим одному разговору с А. С. Макаренко.

Давно, еще до войны и до «Марьи», написал я свою первую книгу о школе и воспитании — «Девятый «А». Напечатана она была по рецензии А. С. Макаренко, опубликованной в седьмом томе его собрания сочинений. Он же был назначен и ее редактором, и только смерть помешала ему довести это дело до конца, к великому моему сожалению. Но я хорошо помню наш как бы обобщающий разговор в передней его квартиры в Лаврушинском переулке при последнем расставании.

— Книга интересная, особенно ребята. Печатать, несомненно, нужно. Но сейчас она только явление, а могла быть событием. Не хватает проблематики.

От этой беседы о значении проблематики я и веду, по-настоящему, счет своего писательского бытия и в ней вижу исток всего дальнейшего процесса формирования моей творческой позиции.

Это сказалось уже на «Марье».

Едва демобилизовавшись по окончании войны, я пришел со своим замыслом «Марьи» в Союз писателей к его ответственному секретарю Д. А. Поликарпову. Сам по себе не писатель, а оргработник, он производил впечатление умного, но сурового, даже резковатого человека. Но это было у него, на мой взгляд, не природное нечто, а наносное, от долгого обладания властью. Поэтому, начав слушать меня с некоторым недоброжелательством, затем он несколько смягчился и спросил:

— А зачем вам это? У вас есть хорошая повесть, «Девятый «А», чистая, целомудренная. А нам нужно работать с молодежью. Продолжайте в этом духе.

— Нет, Дмитрий Алексеевич,— ответил я,— сердце занято «Марьей».

— Ну, смотрите. Кстати, а почему «Марья»? Не нравится мне это название.

— А мне нравится.

Дмитрий Алексеевич пожал плечами и молча снял телефонную трубку. Он позвонил в МК партии, рассказал о моем замысле и попросил помочь мне чем можно.

Кстати о названии. Много позже, когда была уже опубликована первая книга романа и слово «Марья» вошло в литературный обиход, появилась статья: «Марья или Мария Карповна». Автор ее, известный по тому времени писатель, утверждал, что «Марья» — это пережиток деревенщины и что для образа современной женщины больше подходит другое, более культурное имя: «Мария Карповна». Но в дальнейших поездках по стране я попал в колхоз, председателем которого была боевая, энергичная женщина, депутат Верховного Совета, и когда, рассказав о теме своей работы, я назвал имя героини, она так и встрепенулась:

— Марья?.. Это должна быть крепкая баба. Марья — это не Наталья и не Дарья. Это все равно что Иван. Русское имя.

Все это как будто бы мелочи, но очень важные.

Отстояв одно — тему, отстояв другое — имя, название, а вместе с тем образ, я отстоял себя, свою самостоятельность, которая легла потом в основу моей творческой позиции.

Я не хвалюсь, я анализирую. А если так, то я хочу проанализировать и еще одну историю.

Первая книга «Марьи» опубликована в 1947 году, в декабрьском номере «Нового мира». А примерно в это же время вышел роман Елизара Мальцева «От всего сердца» о колхозе и колхозных делах. В тон этому выспренному заглавию был и его поэтический зачин: «В синем небе кувыркались белые голуби», определивший и всю его розово-голубую тональность. Роман был выдвинут на Государственную премию, и в связи с этим состоялось его обсуждение в существовавшем тогда клубе писателей с участием представителей ЦК комсомола. Обсуждение шло в том же розово-голубом ключе, столь отличном от моей «Марьи» с ее «амбарушкой», Порхачевым, «человеком в очках», всем тем, что заставило потом Федора Абрамова поставить ее «особняком». Я долго крепился, но в конце концов не выдержал и выступил с осторожными, помню, но определенно критическими замечаниями. В ответ на это Мальцев в заключительном слове дал мне хорошую отповедь — я до сих пор

помню ее тон и сопровождаемое строгим пошлепыванием ладонью по лакированному столу наставительное заключение:

— А товарищу Медынскому нужно меньше сидеть в кабинете, и тогда он увидит жизнь, как она есть.

А я тогда ездил из одного колхоза в другой, собирая материал для продолжения романа, и жена даже дала мне прозвище: «Турусы на колесах».

Так мы и определились тогда с Мальцевым как непримиримые антиподы.

Прошло пять лет, и у меня на квартире раздался телефонный звонок. К моему удивлению — звонок от Мальцева.

— Слушай, Григорий! Давай мириться. Ты оказался прав. Я честно в этом признаюсь. А в доказательство прочитай в журнале «Москва» мой новый роман: «Войди в каждый дом». Прочитаешь?

— Что за вопрос? Конечно.

Я прочитал роман и порадовался: действительно новый, совсем новый роман, по самому духу, по тону и смыслу,— никаких белых голубей, зато «сложная структура жизни» действительно в каждом доме и в каждой душе, и человеческой и коллективной, колхозной, со всеми ее противоречиями и проблемами, даже более острыми, чем в моей «Марье». И вот я просматриваю теперь, через тридцать лет, сохранившиеся, точнее сохраненные мною номера журнала и вижу на полях отметки и заметки того времени — одной чертой, двумя, тремя, галочкой, знаком восклицания — и прорывавшиеся тогда, по мере чтения, реплики: «Молодец!», «Ну и молодец!» В таком духе я и выступил тогда на состоявшемся обсуждении романа.

Через какое-то время в газетной статье под знаменательным названием «В жизнь» («Литературная газета», 1961, 14 марта) Елизар Юрьевич дал обстоятельный и честный анализ происшедшей с ним перемены:

«Весной 1953 года я поехал в Кировскую область. До этого года я часто бывал в деревнях, но посещал в основном передовые колхозы, считая, что именно там можно найти ростки новых явлений, а в остальные заезжал изредка, полагая, что там вряд ли найдешь что-нибудь поучительное.

На этот раз я решил не делать никаких исключений и смотреть и вникать во всё. В Даровском районе мы поехали с секретарем райкома в один колхоз. Секретарь

райкома спрашивает: «С чего начнем?» Я предложил пройти по домам, побывать в каждом доме и посмотреть, как живут люди. После этого многое для меня открылось заново... я видел настоящих людей, которые пытались бороться с недостатками в колхозе и с искривлениями линии партии». Потом «обстоятельства заставили уже не только как писателя, а как человека вмешаться в некоторые дела... Это вмешательство вызвало конфликт с местными руководителями. История этих обостренных отношений с рязанскими руководителями многому научила меня».

И как обобщение:

«Партия назвала писателей своими верными помощниками. Но некоторые писатели понимают обязанности помощников слишком облегченно. Они думают, что будут верными помощниками, если станут только комментировать и иллюстрировать важнейшие решения партии. Но партии нужны люди, способные активно вторгаться в жизнь, замечать в ней то, что мешает проведению этих решений».

И еще:

«Где бы ни был литератор, он не имеет права оставаться пассивным и равнодушным к живым явлениям действительности; будь они отрицательные или положительные, он должен активно вмешиваться и выражать свою гражданскую позицию».

Вот на этой позиции мы и стали с Елизаром не только единомышленниками, но и друзьями. И тут обнаружились любопытные детали. Например, то, что в 1955 году Елизар отказался от переиздания уже набранного, готового к печати того самого романа «От всего сердца», за который он когда-то получил премию, но, как он сам объяснил мне причину того, удивившего все издательство решения,— «изменились времена, и по-другому пошла вся жизнь, появились боевые очерки Овечкина, Ефима Дороша, острые вещи Тендрякова, и куда я теперь выйду перед народом со своей совсем устаревшей розово-голубой романеей? Не хочу! Стыдно!».

Вот отсюда и выросла та статья, о которой только что шла речь.

В чем смысл этого эпизода? Кому-то он может показаться излишним копанием в литературных склоках или, что еще хуже, сомнительным «самовыпячиванием» своей персоны. На самом деле он означает направление и глу-

бину литературных процессов того времени, ломку взглядов, оценок и критериев. Все это, конечно, невозможно без столкновений и даже конфликтов, важно только, чтобы они протекали не на узко личностной — тогда это будет склока,— а на принципиальной основе.

Чтобы покончить с «Марьей», коснусь вкратце и истории присуждения ей Государственной премии.

Первая часть ее была сдана мною в «Новый мир» и лежала там без движения несколько месяцев. Многократно заходил я в редакцию, к ответственному секретарю Н. И. Замошкину, и каждый раз видел свою красную папку в самом низу большой стопы рукописей, лежащих у него на столе. Без всякого движения. И вдруг произошла очередная смена руководства журнала, главным редактором стал К. М. Симонов, и первой из всей этой стопы он выбрал мою «Марью» (1947). Зато с ее продолжением — вторая и третья части — он «проманежил» меня так же долго, а потом порекомендовал их в ленинградский журнал «Звезда», где они и были напечатаны (1949).

Когда роман появился в целом, уже как книга, им заинтересовался покойный Борис Горбатов, с которым мы дружили с рапповских времен, и сказал, что он будет выдвигать его на Государственную премию. Однако он же потом и сообщил мне обратное: через Комитет по Государственным премиям «Марья» не прошла. Огорченный я поехал в Кисловодск и вдруг там, как сейчас помню, в день 8 марта из уличного репродуктора на площади в числе новых лауреатов я услышал свое имя.

После получения премии у меня состоялась встреча с упомянутым выше Д. А. Поликарповым. Интересная встреча, знаменательная.

— Ну, над чем теперь думаете работать, Григорий Александрович?

— Вот теперь я возьмусь за школу,— ответил я, напомнив о прежних его советах.

— А как вы думаете решать проблему совместного и раздельного обучения?

— Я за совместное обучение.

— Что вы? Григорий Александрович! Нужно смотреть на источник идей. А вы же знаете, что раздельное обуче-

ние официально признанная идея, на самом высоком уровне.

Признаюсь, меня несколько огорошили эти слова, и даже не слова, а самый принцип мышления... «Источник идей!» Я помолчал, подумал и ответил:

— Нет, Дмитрий Алексеевич! Я считаю, что смотреть нужно прежде всего на существо идей. А по существу... Я сам учился в раздельной школе, в царской гимназии. У нас была мужская гимназия и женская гимназия. И это было понятно. Но в советском обществе, при равенстве полов...

— Да, но если решили перестроить, значит...

— Война заставила. А теперь...

Со всей точностью, вплоть до обстановки, помню я этот принципиальнейший разговор, с которым впоследствии оказалось связанным очень многое и важное, общественное и личное.

Начну с личного.

Жена моя, Мария Никифоровна, проработав после меня еще некоторое время в Покровском приемнике, закончила, как говорится, без отрыва от производства педагогический институт по специальности математики и получила назначение в нормальную школу, которая носила название «Первая Советская школа имени десятилетия Октября».

Из этой школы и вышла упомянутая выше моя повесть «Девятый «А». А после войны, приехав из эвакуации, Мария Никифоровна была назначена в другую, 59-ю школу, созданную на основе известной в дореволюционное время Медведевской гимназии.

Школа была мужская, хорошо организованная, с сильным педагогическим коллективом. Мария Никифоровна вела математику и была классным руководителем, сделав несколько выпусков. Один из этих выпусков я взял под свое постоянное и пристальное наблюдение на протяжении трех лет — восьмой, девятый, десятый классы. На этой основе и была написана «Повесть о юности». На протяжении этих лет в поисках преодоления ненормальностей, вытекающих из раздельного обучения, в школе родилось интересное начинание — дружба с девочками соседней школы,— тоже нашедшее свое отражение в повести.

Но оно было выражением и более широкого явления и даже движения тех лет, поднятого «Литературной га-

зетой». Главным редактором ее тогда был умный человек Б. С. Рюриков, а отдел коммунистического воспитания вел Николай Сергеевич Атаров, очень честный и принципиальный человек и хороший, талантливый писатель. Они выдвинули этот вопрос, а читатели его горячо, очень горячо подхватили, и в результате возникла широкая общественная дискуссия. Теперь эта проблема решена жизнью и потеряла всякое значение, но тогда, как мне кажется, за этим внешним и частным поводом скрывался ее подлинный смысл — как относиться к существующему, к установленному? Менять или не менять? Думать или не думать? Это был вопрос о принципах мышления, который выразился в упомянутом выше нашем разговоре с Д. А. Поликарповым.

Нужно было выбирать и определять позицию. И я ее выбрал и отстаивал. За нее был и педагогический коллектив, за нее были ребята, очень умные, мыслящие, и девочки. За нее были и читатели «Литературной газеты», и, когда в ней появилась статья директора какой-то ростовской школы, защищавшего раздельное обучение, на него обрушился шквал упреков и возражений. Одним словом, я был «за», и в этом направлении вел свою «Повесть о юности»; описывая школу одного типа, психологически развивал идею обратную, идею совместного обучения, и считал, что истина в конце концов восторжествует.

И она восторжествовала, хотя по пути к ней, как потом оказалось, предстояли еще самые главные бои.

Я закончил «Повесть о юности», и встал вопрос о ее публикации.

Урок первый, значение которого я не сразу понял,— в журнале «устроить» ее не удалось. Оставалось издательство «Советский писатель».

Затянувшаяся читка и противоречивые мнения: повесть интересная, но... А как же с системой обучения? Опять оттяжка, опять сомнения. Наконец вопрос передается на решение редсовета. Сначала обсуждается очередной сборник стихов К. Симонова, тот читает несколько стихотворений, и сборник принимается без обсуждения. За ним — новый роман Ф. Панферова, роман путаный, с обычными панферовскими «загибами», но все это проходит мимо меня, потому что дальше идет моя «Повесть о юности». И опять те же сомнения и те же споры. Чья-то реплика: «Министр Каиров сказал, что этот вопрос не подлежит обсуждению».— «А по-моему, в литературе все

подлежит обсуждению. Важно — как решается вопрос»,— парирую я.

Итог подводит Н. В. Лесючевский, главный редактор издательства:

— Одним словом, повесть интересная, ну а что касается этого спорного вопроса — посмотрим. Будем думать.

Я не очень уверен — знал он подлинное положение вещей или только догадывался, но решение было мудрое, хотя, может быть, и с хитрецой, потому что проходит какое-то время и появляется постановление правительства о переходе школы на совместное обучение.

И я подумал: а что, если бы я послушал всех этих, часто очень авторитетных, вплоть до министерского звания, консультантов, советчиков и рецензентов и написал бы повесть, равняясь на «источник идей»? Она умерла бы на корню, не успев родиться. Значит, нужна самостоятельность мысли, убежденность в своих взглядах и выводах и внутренняя ответственность — да, конечно, ответственность и перед самим собой и перед обществом. И риск. Да, и риск!

Конечно, это частный вопрос, далеко не исчерпывающий всю проблематику «Повести о юности», но и из этого частного вопроса вытекал главный вывод, который я сделал для себя и который впоследствии лег в основу окончательного формирования моей творческой позиции.

«Повесть о юности» вышла в свет в конце 1954 года, когда уже поставлен был вопрос о созыве Второго съезда писателей, через 20 лет после первого. Все возлагали на него большие надежды, в том числе, конечно, и я. Сначала я написал статью «Думы о наших делах», а по мере приближения даты съезда стал готовиться и к выступлению на нем.

Я исходил из непреложного факта: Второй съезд писателей собирается через двадцать лет после Первого. Эпоха! Да еще какая эпоха! Сложности предвоенного времени, война и почти десятилетие послевоенного строительства. Эпоха, равной которой, пожалуй, и не было в истории. Все это нужно было осмыслить и понять и определить свое место в жизни, и свое личное, и место всей литературы. Какую роль должна была играть она в том великом историческом деле, которое творил наш народ?

И чем отличается эта роль от той, что была двадцать лет назад?

И тогда, из сопоставления двух этих дат, рождался образ, образ межпланетного путешествия: летит, предположим, аппарат «СССР-1» с Земли на какую-то другую планету, ну, например, на Марс. Сначала вся его энергия и весь пафос совершающих в нем свой перелет пассажиров-звездолетчиков заключается в одном — оторваться от Земли. Но вот наступает момент, преодолевается какая-то черта, и люди начинают думать о том, как же совершится посадка на видимом уже невооруженным глазом лике Марса и что вообще получится из их предприятия?

Так представлялась мне наша эпоха. Мы ведь совершаем полет с одной планеты на другую, с планеты, переполненной злом, общественными несообразностями, людскими страданиями и горем, с планеты, жизнь которой основывалась на волчьих законах угнетения человека человеком, совсем на другую планету, с новыми человеческими отношениями, с господством нравственно высоких и разумных законов жизни, без войн и эксплуатации, без насилия над человеческой личностью. Только полет этот совершается не в пространстве, а во времени, в Истории.

Но мне кажется, воображаемая механика межпланетных сообщений, которую я попытался себе представить, действует и здесь. Было время, когда на открытие маленькой сельской электростанции в Волоколамском районе приехал Ленин и произнес по этому поводу речь. Было время, когда Ленин радовался первому советскому трактору и с производством ста тысяч тракторов связывал целый переворот в жизни деревни. Теперь этот переворот совершился, трактор вошел в нашу жизнь как самое обыденное явление.

Лихо трахтор трахторуя,
Мои милые, не вру я, ой не вру я,—

как говорится в одной «деревенской» поэме.

А электростанции, не идущие ни в какое сравнение с Волоколамской, пускаются в ход одна за другой!

Так и в литературе.

Было время, когда нашей республике исполнилось десять лет и Маяковский выступил по этому поводу с поэмой «Хорошо!».

И жизнь хороша,
И жить хорошо!

Улица моя! Дома мои! И даже «моя милиция меня бережет».

Мое! — вот пафос. Хорошо! — вот пафос.

Пафос отталкивания от старого мира, пафос содеянного. Но как великолепно и мудро сказал Есенин:

Года текут,
Года меняют лица,
Иной на них
Ложится свет.

Нам уже не десять, нам уже почти сорок лет, за плечами — почти пять пятилеток строительства, за плечами — война, горечь поражений и тяжких дум, сознание совершенных ошибок, и нечеловеческое напряжение перед лицом смертельной опасности, нависшей над Родиной, и труд, и кровь, и мужество, и радость Победы. Это — зрелые лета.

Может ли остаться без изменения и пафос нашей жизни?

Да, мы не забываем того, что сделано.

Хорошо! И наши друзья, которые учатся у нас, говорят — хорошо!

Но мы зрелые люди, и нам уже мало становится одного отталкивания от старого мира. Мы начинаем проверять себя по тем идеалам, которые мы себе поставили, осуществления которых ждут от нас все народы мира. Мы, как и подобает зрелым людям, начинаем смотреть открытыми глазами на то, что содеяно нами, смотреть честно, прямо и мужественно, а кое на что и сдвинув брови.

Будущий историк задумается над интересным вопросом. Марксу романы Бальзака дали куда больше материала для познания капиталистического общества его времени, чем все буржуазные ученые, вместе взятые. Но вот он, этот историк, попробует сопоставить некоторые романы нашего времени о жизни колхозной деревни в военные и послевоенные годы (Мальцева, Бабаевского, даже Галины Николаевой) с важнейшими решениями партии и правительства по этим вопросам, и он, этот историк, поразится тому несоответствию, которое он обнаружит между тем и другим. Решительные, порою суровые постановления партии и полная иллюзия в литературе.

А припомним ленинскую оценку Льва Толстого. За что Ленин называл его «глыбищей» и шагом вперед в художественном развитии всего человечества? За то, что Толстой поставил громадное количество громадных вопросов.

Припомним Пушкина, Чернышевского, Достоевского, Некрасова, Чехова, Горького — сколько больших и глубоких вопросов ставили они своим творчеством. Да иначе и не может быть — истинная поэзия, как говорил Белинский, должна отражать господствующую думу эпохи.

А как часто именно этой-то думы, этих-то вопросов у нас и нет, как часто нашим произведениям не хватает интеллектуального напряжения и гражданской страсти.

А в чем причина? В робости мысли, в недооценке роли литературы, которая должна будоражить мысль, видеть противоречия, ставить вопросы, поддерживать в обществе гражданское святое беспокойство и этим самым двигать жизнь вперед.

И тут мне очень кстати подвернулось интересное письмо.

Я очень глубоко пережил сентябрьские решения партии 1953 года. Ведь многое и многое из того, что сказала партия, я видел — так почему же я не сказал об этом полным голосом в своем романе «Марья»?

Я поставил этот вопрос в своей статье «Думы о наших делах» (журнал «Знамя», 1954, № 9), попытался и ответить на него, но читателя этот ответ не удовлетворил.

«Я внимательно прочел вашу статью, но так и не нашел ответа на этот вопрос,— пишет мне т. Волгин из Кронштадта.— Почему вы не писали о других отмеченных партией недостатках, если вы их видели. Этот вопрос мне кажется наиболее важным. Ведь здесь идет речь о партийности в вашей, писателя, работе, ибо какая там может быть партийность, если писатель скрывает (просто говоря) то, что видит, что считает плохим и вредным».

Принимая этот упрек, такой большой и такой справедливый, считаю, что он относится не только ко мне, но и ко многим другим писателям, произведения которых отличаются иллюстративностью: берутся вопросы, уже решенные жизнью, партией, и потом задним числом пропагандируются в литературе.

Да, я видел многое, много думал, переживал, но как я мог поднять руку на существующее, на государственно установленное? Сельхозналог — это закон! Система рабо-

ты МТС, система выполнения плана госпоставок — все это мне казалось государственно установленным, это — святое, незыблемое. Поэтому из всего комплекса вопросов я взял один, хотя и центральный,— проблему руководства в колхозе. Отсюда — сопоставление двух фигур — Марьи и Порхачева, восходящей и нисходящей линии в развитии характеров.

А что было бы, если бы я смелее и шире вскрыл те противоречия, которые я видел в жизни? Мне, может быть, и даже — учитывая атмосферу того времени — наверное, пришлось бы много перетерпеть с публикацией романа, но зато он больше отвечал бы высшим интересам народа.

Но тогда встает вопрос, не предусмотренный моим кронштадтским корреспондентом: что лучше? — упустить самую возможность публикации романа или уклониться, воздержаться от рассмотрения тех или иных проблем, назревающих, но недостаточно еще созревших в жизни?

Вот в этом плане включается в ход мысли и история с моей «Повестью о юности», вернее, с проблемой раздельного или совместного обучения. Теперь эта проблема решена жизнью, но то, что случилось с нею, должно послужить уроком на будущее. Ведь это закон жизни: то, что установлено сегодня, завтра, может оказаться негодным. Что тогда делать писателю? Ждать нового постановления и включаться в шумную кампанию по его пропаганде или, творчески переосмысливая жизнь, способствовать его появлению?

Литература должна служить глубокому и вдумчивому исследованию жизни, ее противоречий и закономерностей. «Человековедение» — так назвал ее Горький. Но человек не существует вне жизни. Следовательно, литературу с таким же успехом можно назвать и «жизневедением».

Однако нам не нужно академическое и бесстрастное изучение жизни — это известно со времен Маркса, по отношению к литературе — со времен Ленина. «Жизневедение» превращается тогда в высшую форму партийности литературы — в «жизнеделание».

Конечно, и простая пропаганда приносит пользу в жизни, но она лежит отнюдь не на главном направлении развития нашей литературы. Она проводит, вернее, популяризирует политику партии, но, мне кажется, это упрощенное и слишком облегченное понимание задач советского искусства и его отношения к этой политике. Идти

одним курсом с флагманом это ведь не значит — идти в его кильватере. Правда, можно довольно высоко взлететь на волне, порождаемой его могучим ходом, но это все-таки будет кильватерная волна. И, к сожалению, нельзя отрицать наличия у нас таких «кильватерных» настроений у писателей.

Писателю нужно много, очень много нужно для этого. Быть мыслителем! Сметь мыслить, уметь мыслить! И иметь право мыслить. Это — первое. Быть целеустремленной и общественно активной личностью, человеком, заинтересованным в ходе жизни, в осуществлении тех идеалов, которые он ставит перед собой и перед своими читателями.

Быть нравственной личностью и в смысле высоты моральных оценок и в смысле личного своего поведения. «Ведь как бывает грустно, если читателю приходится отказывать любимому писателю в человеческом уважении»— это фраза из одного письма.

Мы должны думать о единстве творческого и человеческого, морального облика писателя, потому что одно с другим связано и одно другим обусловлено. Жизнь — солнце, писатель — капля воды, отражающая ее. И если в чистых, как слеза, каплях росы лучи солнца играют всеми тончайшими переливами радуги, то в грязной луже меркнет и само солнце.

Так я смотрю на нашу работу писателя. Большие задачи предъявляют большие и требования. И как бы мы, во имя своих человеческих слабостей, ни уходили от них, мы никуда не уйдем: положение обязывает. От писателя и его личности зависит — что и как будет художественно отражено из всего многообразия жизни, какие вопросы будут поставлены и как они будут разрешены, как и на чем будут воспитываться люди, которым предназначено историей построить коммунизм.

...Выступление не состоялось. Мне не дали слова.

МЕЖДУГЛАВИЕ ШЕСТОЕ

«Повесть о юности» я посвятил жене моей, Марии Никифоровне, «как другу и помощнику в работе». Не могу я обойти ее и в этом повествовании — без нее не было бы повести «Девятый «А», не было бы «Повести о юности», а без этого, как мы увидим далее, не было бы и «Чести».

Но не только поэтому, не только по тому, какую роль она сыграла в моей работе, хочу я сказать — хотя намного меньше, чем она того заслуживает,— о ней как учительнице и человеке, и не ради каких-то субъективных чувств. Этим я хочу подкрепить тот образ педагога, который выведен у меня сначала в одной повести, а потом в другой. Дело в том, что и та и другая повести, при почти единодушной положительной оценке в прессе и в читательской почте, встречали и сомнение, даже возражения, правда, очень редкие, можно сказать, единичные, но заслуживающие внимания.

«Где автор видел такую школу?» — вопрошает автор одной газетной рецензии на «Девятый «А». И чуткая к душевному состоянию писателя юная читательница спешит его успокоить: «Не верьте! Это писал человек, который не знает ни жизни, ни школы, ни молодежи».

А после выхода «Повести о юности»,— правда, далеко не сразу, а так примерно лет через тринадцать, когда в школе, видимо, произошли какие-то новые процессы и явления,— я получил очень злое, вернее, раздраженное письмо от ученицы-старшеклассницы: «Ну, откуда вы выкопали такую учительницу? Нет таких учителей!»

Вот почему, чтобы подкрепить жизненность этого образа, мне хочется опровергнуть мнение о нем как об авторском вымысле и художественной неправде. По естественным и вполне понятным причинам я не могу, конечно, говорить о жизненном прообразе Полины Антоновны в полную меру, но не могу, как многолетний и достаточно объективный наблюдатель, можно сказать даже исследователь, не отметить и не осмыслить тот комплекс человеческих черт и качеств, которые, в своей совокупности, не только в повести, но и в реальной жизни, создали этот *тип* настоящего, самозабвенного педагога, учителя и воспитателя и одновременно общественного деятеля. Это, прежде всего, конечно, любовь к детям, и любовь к своей математике («девочка-считалочка»), и знание этой математики, и вообще жажда знаний, и жажда деятельности, и поиски, и выдумка, и вообще сочетание ума, увлеченности и чувства ответственности создали тот сплав, в реальность которого кому-то, может быть, и не легко поверить, но который существует со всей несомненностью и видимостью.

Но чтобы читатель не усмотрел здесь, повторяю, элементов субъективности и даже родственности, постараюсь

подтвердить все это объективными, как говорится, показателями. Это — заполненная одними благодарностями и наградами трудовая книжка, и звание заслуженного учителя, и неоднократное депутатство в Моссовете, и многолетняя работа в так называемом УМСе, учебно-методическом совете Министерства просвещения еще под руководством Н. К. Крупской, и доклады на разных совещаниях и конференциях, и, наконец, многолетняя тоже и активная работа в качестве члена бюро и секретаря математического общества средних школ и члена совета московского Дома учителя и т. д. и т. п.

Но самое главное и несомненное — это отношение учеников, лучшая оценка для учителя. Напомню, что сначала Мария Никифоровна работала в одной школе (№ 56), а после войны — в другой (№ 59), и вот, когда все, казалось бы, должно было покрыться дымкой, а может быть, военным дымом забвения, отмечается двадцатилетний юбилей той, 56-й школы, и по этому случаю Мария Никифоровна, работающая уже давно в другой школе, с другими учениками, получает коллективное, за многими подписями, приветствие:

«Как только мы вспоминаем о школе, мы вспоминаем о Вас, дорогая Мария Никифоровна. Вы были для нас требовательным и опытным педагогом, прививавшим нам жажду к знаниям и любовь к труду, заботливым классным руководителем, направлявшим наши первые шаги к жизни, и чутким отзывчивым старшим товарищем, разделявшим наши маленькие радости и горести. Сколько души вкладывали Вы в свою работу! Вы были для нас настоящим *Учителем* и останетесь на все время. Становление наших характеров, воспитание наших чувств — вот чем мы обязаны Вам!»

Прошло еще тридцать лет. Передо мною фотография 1976 года. На ней группа людей, у которых время сгладило возрастные различия, и среди них уже трудно отличить учительницу от ее учениц «образца 1939 года», как написано на оборотной стороне фотокарточки. Это — выпуск 1939 года, в основном женщины, так как из «бывших ребят», а теперь лысоватых мужчин «в результате войны» осталось только четверо.

И вот бывшие «девчонки» в год своего выхода на пенсию решили отметить этот знаменательный юбилей «всем классом» и пригласили на эту встречу свою бывшую учительницу и классного руководителя, ну, а за компанию

и меня. И я там был, мед-пиво пил, все видел, все слышал — и торжественные речи, и слезы при упоминании погибших товарищей, и чтение любовно сохраненного бывшим комсоргом класса дневника тех дальних лет, в котором были записаны и теперь, под общий смех, воскресали проделки и прегрешения теперешних крупных инженеров, научных работников, администраторов, врачей и педагогов, мам, а то уже и бабушек.

А вот письмо из семейного архива, письмо с фронта от одного из многих учеников Марии Никифоровны, не забывавших ее даже и в годы военных тягот:

«Я воевал под Орлом, на Украине, в Белоруссии, в Карелии, Заполярье, в Норвегии, а уж теперь, когда вся наша земля, да и большинство европейских стран освобождены,— теперь фронт в Германии. Но я бы и сейчас с удовольствием стал заниматься в кружке «Юный математик» под вашим руководством, а то я уж немного подзабыл математику. И с большим интересом послушал бы я и вашу лекцию о «воспитании настойчивости и самостоятельности на уроках математики». А это очень важно, так как у многих этого не хватает. Вот и надо как-то заинтересовать школьника, чтобы он сам решил, что только он сам должен решить любую сложную задачу, сколько бы ни пришлось посидеть над ней».

«Дорогая Мария Никифоровна! Ваше письмо заставило меня вспомнить те милые дни школы, которые никогда, думается, не выйдут из памяти. Четыре года войны многих из нас изменили, заставили глядеть на жизнь иными глазами. Здесь, на фронте, мы поняли — до чего хороша была наша жизнь, мы научились еще крепче любить нашу замечательную Родину. Мы не щадили своей жизни, чтобы уничтожить врага, посмевшего посягнуть на нашу юность, и... учиться. Теперь это моя мечта. Здесь только со всей силой ощущаешь свою тягу к учебе, к знаниям. Раньше я как-то не вдавался в такие рассуждения.

Пишите мне, пожалуйста, о теперешней жизни школы, что нового сейчас? Как живет школа в эти дни? Как Вы работаете?»

А вот уже победа — 1945 год.

«Письмо Ваше получил с большой задержкой в доставке по причинам нашей службы.

С печалью и сожалением прочел я в нем траурные строки о гибели нашего бывшего директора, полковника

Косарева. Какие прекрасные люди погибли во имя нашей Родины. Вечная слава героям!»

А вы говорите, что нет таких учителей! Есть такие учителя! Они были и останутся в жизни. Не могут не быть!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

«ЧЕСТЬ»

Когда я писал «Повесть о юности», юности светлой и чистой, с ее благородными целями и высокими порывами, я никак не думал и не гадал, что буду когда-то писать о совершенно обратном — о юности сложной, трудной, даже преступной. Но так получилось: повернулось колесо жизни — и, как в театре с вращающейся сценой, перед вами то богатый особняк с колоннами и вазами для цветов, а то вдруг — кирпичная стена с облупленной штукатуркой и какие-то бочки из-под капусты.

«Капустой» запахло, когда я еще писал «Повесть о юности» с ее колоннами и вазами для цветов. В ней есть глава, в которой на объединенном собрании мальчишек и девчонок обеих школ ведется диспут «о хорошем человеке». Толчком к этому диспуту послужила заметка на первой странице «Комсомольской правды», вернее, небольшое письмо молодого дальневосточного горняка Астраханцева: «Я хочу воспитать в себе лучшие качества советского человека, чтобы люди обо мне могли сказать: «Хороший человек!» Скажите, как это сделать?»

Это письмо вызвало громадный поток читательских откликов, редакция получила шесть тысяч писем. Из них я прочитал около тысячи, все они были, в той или иной степени, интересные и легли в основу этой главы, но одно из них особенное. Потом я их читал, такие, подобные, тоже во множестве, и они тоже были разные, но это было первой ласточкой и потому буквально потрясло меня.

Писал молодой парнишка, сын геройски погибшего на фронте солдата. Оставшись без отцовского руководства, он потерял жизненные ориентиры и, осквернив память отца, попал на скамью подсудимых, а потом — в заключе-

ние. Здесь он все продумал, осмыслил, написал ходатайство о помиловании и был помилован. Но, выйдя на свободу, он остался, уже добровольно, в Воркуте, чтобы трудом своим искупить свою вину перед Родиной. Вот обо всем этом он написал в «Комсомольскую правду» обширное, многостраничное письмо, в котором все рассказал и во всем покаялся перед народом и предупреждал молодых людей от подобных ошибок. И очень жаль, что оно не было напечатано в газете, оставшись в ее архивах, а ведь неизвестно еще, что больше воспитывает — подражание положительному или отталкивание от отрицательного?

Меня это письмо потрясло. «Вот тема! — подумал я.— Шекспировского накала».

Но всякая тема нуждается в жизненном, конкретном наполнении, а его у меня не было — ни я сам и никто из моих родных, близких и друзей, даже в то трудное время, не имел никакого дела ни с судом, ни с тюрьмой. И когда я получил допуск в тюрьму для свидания с героями моей «Чести», начальник снесенной теперь с лица земли Таганской тюрьмы сказал мне: «Вам повезло. Год назад сюда с воли можно пройти было только по особому пропуску».

А теперь я не один раз бывал в этой тюрьме, свободно беседуя с моими подопечными, и, освоившись с этим, начальник даже предложил мне:

— А вы не хотите познакомиться с кем-либо из взрослых?

И он меня познакомил с человеком чрезвычайно сложной и трагической судьбы, приговоренным когда-то к расстрелу и помилованным М. И. Калининым; человеком, проделавшим после того еще более тяжелый и сложный путь и теперь объявившим голодовку в доказательство своей невиновности. В «Чести» ему отведены полторы страницы, он не имеет там даже имени, а фигурирует как «головорез с отмороженными пальцами», а в жизни меня связывает с ним уже около двадцати лет и борьбы за него и руководства им в его дальнейшем тоже нелегком развитии. Пишу об этом для того, чтобы дать читателю почувствовать характер проблем, с которыми я столкнулся в той, другой жизни.

Но это было потом. А тогда, в 1952 году, когда я описывал ничего общего не имеющий с этим диспут «о хорошем человеке» и когда я только интуитивно почувствовал накал открывшейся передо мной темы, ничего этого

не было и не могло быть, и тема моя «отцвела, не успевши расцвесть» — мне нужно было заканчивать «Повесть о юности», потом приниматься за что-то другое.

После «Повести о юности» я хотел писать другую повесть о школе на новом этапе, когда введено было совместное обучение, в школу пришел труд, и, вероятно, из этого получилась бы очередная и малозначащая повестушка. Я ходил по школам, собирая для нее, этой будущей повести, материал, присматривался, примеривался, ходил, конечно, по хорошим школам, приглядываясь к самому хорошему и интересному. И так я забрел в одну школу, новостройку, где-то на Девичьем Поле, видел хороших ребят, комсомольцев, которые устанавливали какие-то станки, приборы, и разговорился с директором, умной и энергичной женщиной, рассказавшей, что и как у них делается по перестройке работы на новых началах.

— Вот так и живем! — повела она разговор к завершению.— Конечно, все бывает, всякое. Случается и ЧП. Ну, тогда мы обращаемся к Марии Маркеловне и вместе с нею находим выход.

— А кто такая Мария Маркеловна? — спросил я.

— Это инспектор детской комнаты милиции. Поинтересуйтесь, советую.

Не долго думая, я пошел в детскую комнату и увидел эту самую Марию Маркеловну. Это была средних лет, немного полноватая женщина, форменный китель ее висел на спинке стула, а сама она была в простенькой шерстяной кофте. Возле нее стояла дворничиха в белом фартуке и что-то говорила об утиравшем слезы небольшом мальчугане.

Мария Маркеловна рассказала о своей работе, как ей приходится возиться, по ее выражению, с «лапшой» — тот разбил стекло, этот подрался, а третий пошуровал по карманам пальто в школьном гардеробе.

— Мелочи. Но из маленького-то и большое вырастает,— закончила она.

Познакомился я здесь и с «большим» работником уголовного розыска, добродушным, с длинными, как у Тараса Бульбы, усами и даже ямочками на щеках. А во время нашей беседы в полуоткрывшуюся дверь показалось востроносое лисье лицо и скрылось.

— А ты входи, входи, сынок, не бойся,— крикнул ему Павел Петрович.

Вошел «сынок» — аккуратный, подтянутый. Он вежливо поклонился, даже расшаркался, совсем как самый скромный и паинька-мальчик.

В действительности он оказался грабителем, специализировавшимся на газетных киосках, в которых «шуровал» вечерами, после окончания их работы. И вот теперь, попав под подозрение, он явился к Павлу Петровичу, по его приглашению, на беседу.

Так я соприкоснулся с этим миром и увидел там жизнь с другой стороны, увидел нечаянно, без злого умысла, не разыскивая ее и не помышляя о ней. И тогда встал вопрос: что с ней делать, как относиться к ней и как понимать? Конечно, мимо этого можно было пройти с самой неотразимой как будто бы аргументацией: это не показательно, это не характерно, я лучше буду писать об отличниках и комсомольцах, которых видел в той самой образцовой школе на Девичьем Поле. Но что же делать с этой, «другой» жизнью?

Из этого «тупикового» вопроса вывел меня телефонный звонок моего нового приятеля, усатого Павла Петровича.

— Григорий Александрович! Тут интересное дело начинается. Не хотите заняться?

«Интересным» делом оказалась та самая история, которая легла потом в основу «Чести»: на скамью подсудимых сели тринадцать ребят, в основном учащиеся, во главе с учеником 10-го класса, сдававшим уже экзамены на аттестат зрелости.

Из этих тринадцати человек у восьми — родители члены партии, у шести — работники МВД, у четырех — педагоги. И я понял, что передо мной открылась громадной важности общественная проблема, пройти мимо которой было бы моим гражданским и писательским преступлением. Я предчувствовал и понимал все сложности и трудности этой темы как в ее разработке, так и в реальности, но отказаться от нее мне не позволила совесть.

И тогда вдруг проклюнулось то самое зернышко, которое запало в душу вместе с письмом из Воркуты и, пролежав там в сухой почве несколько лет, дало вдруг росток: «Вот она, тема! Та самая, ее начало, ее истоки, приведшие на скамью подсудимых в тяжелые военные годы сына погибшего, за него же погибшего героя-отца и вдруг

расцветшие теперь таким пышным ядовитым букетом в совершенно других, послевоенных условиях на скамье подсудимых Московского городского суда. В чем дело?»

Одним словом, выбор сделан.

Но и теперь, коснувшись омута жизни, с его мраком и низостью, я тоже стал писать о нем так же честно и искренне, без всякого сознательного стремления что-то смаковать и очернять. А просто сама владычица-жизнь взяла меня «за шкирку» и повернула, заставив увидеть то, чего я не видел раньше и чего порой не хотели видеть другие.

И началось все то, что в «Чести» делает писатель Шанский: походы по домам, по семьям, по школам — и беседы с родителями, с учителями, с товарищами моих «подшефных» героев, вопросы и анализы: что, как и почему? И суд, длившийся двенадцать дней, и тюрьма, одна и другая, и колония, все то жизненное наполнение темы, о котором раньше нельзя было и мечтать и которое открывалось теперь перед исследовательским глазом писателя все шире и шире. И размышления. И изучение проблемы, история и теория. Все это ново, все это трудно, чертовски сложно и трудно, но открывать неоткрытое, осваивать неосвоенное — в этом и заключается смысл и поэзия творчества.

И опять самые дружеские и сердечные советы и предупреждения «друзей-приятелей». «А тебе что, писать больше не о чем?» — удивился видный критик, член редколлегии известного «толстого» журнала.

— Эта тема вне прекрасного и не может быть предметом искусства,— наставительно заметил профессор философии.— Искусство должно вдохновлять, а вдохновлять может только величественное.

— А ниспровержение низкого во имя величественного? — спросил я.

— Но в этом можно утонуть.

— Утонуть можно и в луже.

Так отвечал в «Чести» своим друзьям-приятелям писатель Шанский и думал. Он шел по улице и думал, ехал в метро и думал, сидел на собрании и думал, продолжая свой спор с друзьями и советчиками, и никуда нельзя было ни уйти, ни уехать от этих дум, и ничего уже другого нельзя было писать, потому что писать можно лишь

«по должности гражданина», и книга, в результате этого, должна что-то менять, что-то ниспровергать и что-то утверждать, она должна быть двигателем жизни и «решителем всех важных современных вопросов», как писал в свое время «неистовый Виссарион».

Полезно вспомнить, в связи с этим, и Маркса с его критикой буржуазной печати, «которая опускается до уровня *промысла*».

«...Поэт перестает быть поэтом, когда поэзия становится для него средством,— говорит он.— Писатель отнюдь не смотрит на свою работу как на *средство*. Она самоцель...» Самоцель... Это — толстовское «нельзя не писать» и «не могу молчать», это — пушкинское «пальцы просятся к перу, перо — к бумаге» и т. д., это внутренние, духовные, подлинные стимулы творчества, не промысел, а потребность, жажда, необходимость общения и воздействия, нравственная потребность души. Отсюда — искренность. Отсюда — эмоциональный настрой книги — восхищение и негодование, радость и гнев, сочувствие и тревога, «Марья» и «Честь».

«Месье Медынский! Вы пишете для нас то-то и то-то. Великолепно! Снимаю перед Вами шляпу. Но Достоевский, Короленко и Горький, думаю, были не менее талантливы, чем Ваша светлость, но они, однако, не рисовали черта углем на стене, они любили своего героя».

Это пишет мне, как он рекомендуется, представитель «шершавого народа», из заключения.

Ну что же? Очень хорошо. Возражение, критика — всегда полезная вещь. Она помогает сделать шаг к истине, оттачивает мысль и читателя и самого писателя.

«Любить человека в преступнике — это не значит любить преступника,— отвечаю я ему.— Достоевский своего Смердякова заставляет повеситься, а Раскольникова — стать на колени и покаяться. А Горький скаредного Гаврилу, поднявшего руку на поэтического бродягу Челкаша, морально убивает словом «Гнус».

Проблемы, всюду проблемы!

И в истоках «Чести» тоже лежит не какой-то нездоровый интерес к низменным, негативным сторонам жизни, не смакование и любование ими, как некоторым может казаться, а то тревожное, гражданское чувство, которое вызвали во мне эти негативные стороны и те проблемы, которые из этого вырастали.

Так родилась «Честь». Но...

Но написать книгу иной раз бывает легче, чем ее напечатать. Об этом мало кто знает, но это так. И так получилось с моей «Честью».

Писал я ее для журнала, с которым крепко был связан и на который, по правде сказать, рассчитывал. Рассчитывал на меня и журнал, если иметь в виду рядовых редакционных работников. Но решает главный редактор, и с ним у меня получился такой, совсем неожиданный разговор.

— Ни одному гению не удалось решить проблему преступности. Не удалось это и вам.

Удар в темя. Я зашатался, но выдержал.

— А я в гении не лезу — это во-первых. И решать проблему не берусь — это во-вторых. Да и вряд ли ее может решить кто-либо единолично, будь он семи пядей во лбу. Это проблема историческая, общественная, а может быть, и вечная. Но посмотреть на нее с точки зрения нашего времени, нашей эпохи и нашей жизни я считал и считаю своим долгом и своей задачей.

— Д-да-а... — неопределенно протянул «главный».— Ну, а тогда все придется основательно перестроить. Первую часть, где ваш герой делается преступником, нужно будет сократить, а вторую, где он становится опять человеком,— расширить.

— А вот этого я делать не буду,— ответил я. — Я просто не могу этого сделать. Это будет нарушением жизненной правды. А это невозможно. Вы сами писатель и сами должны это понять.

— Д-да-а...— опять протянул «главный».— Ну, а тогда что же?.. Тогда придется расстаться.

Я пожал плечами и, немного помедлив еще, видимо в подсознательном ожидании каких-то перерешений, поднялся и пошел к двери, а около двери повернулся и добавил:

— А все-таки эта книга будет напечатана, если не при мне, то после меня.

И вышел.

— Что с тобой? — спросила жена, когда я вернулся домой.— Ты же совсем черный!

— Ничего. Все образуется,— ответил я знаменитой толстовской фразой.

Но до этого было еще очень и очень далеко. Я снова и снова проверял логику моего разговора с «главным», но ошибки в ней не видел. А подлинную суть этого разго-

вора помог мне понять товарищ, с которым он, «главный», советовался перед тем, как принять окончательное решение. «Я убоялся» — так была сформулирована эта суть. Ну что ж! У каждого своя суть.

Но недели через две-три я был приглашен в редакцию журнала «Москва». Не так давно туда был назначен новый «главный», ныне покойный Евгений Ефимович Поповкин, и, видимо, в целях формирования портфеля, пригласил группу писателей «на чашку чая». Я пошел, хотя после полученного удара больших надежд и даже планов не имел и потому помалкивал, выслушивая, что говорят другие. А когда высказались все, Евгений Ефимович обратился ко мне:

— Ну, а как вы, Григорий Александрович?

— Не знаю,— в нерешительности промямлил я.— Есть у меня одна вещица, но это на смельчака.

— А почему вы думаете, что мы не смельчаки? — спросил Поповкин, выслушав мое краткое сообщение о «Чести».— Хотите, пока вы пьете эту чашку чая, секретарь напечатает договор? Тут же и подпишем.

Такая легкость, даже поспешность меня, по правде сказать, смутила, и я растерялся.

— Подумаю.

Но что тут долго думать? Через два дня я дал согласие, а через неделю получил согласие журнала.

— Ну что ж? Будем печатать,— сказал мне от имени редакции Борис Сергеевич Евгеньев, очень уважаемый мною человек, который прежде редактировал и мою «Повесть о юности».— Практически это намечается так: четвертый, пятый, а может быть, и шестой заняты, и мы будем целиться на седьмой.

Но прошло несколько дней, и он снова звонит мне и говорит, что планы перестраиваются и «Честь» начнет печататься с очередного, апрельского номера.

А тем временем случилось вот что.

В процессе работы над «Честью» я был связан с разными судебными, прокурорскими и милицейскими органами и встречал там разных людей и разное отношение к моей работе — от резко отрицательного до резко положительного. Такое, очень доброе и сочувственное отношение я встретил в Министерстве внутренних дел, в отделе детских колоний. А они выпускали тогда даже специальный журнал, который так и назывался «Детские колонии». И вот в этом журнальчике и были напечатаны от-

дельные главы «Чести», ее первые публикации. А так как, повторяю, отношение к «Чести» в этих кругах было разное, то в редакцию пошли тревожные сигналы.

— Я знал, что «Честь» ваша — крепкий орешек,— сказал мне Евгений Ефимович,— но такого количества звонков, разных вопросов и запросов не ожидал. Так что будьте готовы ко всему.

И потому для предварительного обсуждения он решил собрать небольшое совещание. Люди были разные, с погонами и без оных. Голоса тоже были разные — резко «за» и резко «против». Представитель прокуратуры, например, держал длинную речь, доказывая, что книга вредная и печатать ее нельзя. Евгений Ефимович все это слушал, записывал, а потом позвал меня в свой кабинет и, решительно хлопнув ладонью по столу, сказал:

— Трусы в карты не играют. Будем печатать.

Вот почему я навечно буду признателен Поповкину Евгению Ефимовичу и его светлой памяти, и от себя и от имени советских читателей, за ту мудрость и гражданственность, которую он проявил там, где другой, тоже такой же «главный», на том же самом посту, при тех же самых обстоятельствах — «убоялся». Один решился, другой убоялся. Почему?

Личность? Или принцип, творческая позиция?

В одной откровенной беседе мне пришлось, например, столкнуться с подпольной, поразившей меня своей обнаженностью, позицией «верняка». Вот и здесь перекрестились и выявились эти два сосуществующих и противоборствующих принципа: «Трусы в карты не играют» и позиция беспроигрышного «верняка».

«Честь» пошла в печать. Четвертый номер прошел спокойно. Пятый, майский, приурочивался к Третьему съезду писателей РСФСР. А в нем появляется писатель Шанский, а с ним — вся его откровенная проблематика. Во время съезда я смотрю по газетным и журнальным киоскам — нет пятого номера, нет пятого номера. Нет!

— В чем дело? — спрашиваю у своего редактора Евгеньева.

— Ничего страшного,— ответил он.— Там в типографии с бумагой какие-то нелады, а так — все в порядке.

Но так как в это время редакционные планы уже успели перестроиться, то в публикации повести произо-

шел естественный перерыв. Вот почему она опубликована в четвертом-пятом, а потом в десятом и одиннадцатом номерах «Москвы» 1959 года.

Почему я об этом говорю? Потому, что западная печать, например, в статье Колба «Луч света, брошенный на советскую действительность» (журнал «Сэтердей ревью» от 20 февраля 1960 года) успела засечь такое ничтожнейшее обстоятельство, как перерыв в печатании романа, и истолковать его по-своему — что «издателей стал раздражать едкий, язвительный тон Медынского», на него, мол, было оказано давление, в результате чего во второй части романа «тон его стал сдержаннее».

Свидетельствую: все было, как было, как мною здесь рассказано, но никакого давления, никакой дополнительной редакционной работы над второй частью «Чести» не производилось и напечатана она так, как была мною написана, и тон ее остался таким, каким был.

Считаю нужным привести и описание этого случая американским писателем Филипом Боноски, который дважды был нашим семейным гостем и потом написал об этих наших встречах в американском журнале.

«Почему я захотел встретиться с ним? — спрашивает он.— Да потому, что он написал роман «Честь» о преступлении и наказании. Эта книга имела огромный успех, особенно среди заключенных, потому что была на их стороне и восставала против бюрократизма. Книга эта рецензировалась в нью-йоркском «Сэтердей ревью» писателем, который понял ее, как нападение на советскую систему и старался представить Медынского антисоветским писателем. Медынский возмущался этим и попросил моего переводчика прочитать мне кусок из его ответа этому писателю, предназначенного к опубликованию в «Литературной газете».

Все это так, кроме одного: мой ответ под заглавием «Разговор через океан» был опубликован не в «Литературной газете», а в журнале «Иностранная литература».

А писал я там вот о чем.

Читая статью Колба, я поражался крайней степенью ее недобросовестности. Я допускал, конечно, возможности каких-то неточностей в переводе, но неточность есть неточность, а не искажение и тем более не злонамеренные добавления, явно извращающие смысл.

А вот как, например, в статье изображается сцена суда:

«Прокурор, сердито назвав обвиняемых «пережитками капитализма», обращается к галерке (?). «Они наши враги,— заявляет он, — они подонки общества».

«Послушайте, мистер Колб! — отвечаю я ему.— Вы, очевидно, ошиблись. Вы из какого-то другого произведения взяли всю эту сцену. Перечитайте, сняв шоры с глаз, мою повесть, и Вы не найдете в ней ничего подобного. «Они наши враги...» Где это написано? В повести прокурор говорит об ошибках семьи, о недоработках школы, комсомола, об отсутствии между ними контактов и о том, «как при отсутствии этих контактов в образующуюся щель проникает враг и зловеще загораются неизжитые еще родимые пятна капитализма».

А шум? «В зале волнение и шум...» Возьмите книгу и прочитайте. Где Вы найдете шум? Он вам мерещится».

Или:

«Один преступник рассказывает другому, как он потерял все десять пальцев: «Я был послан на работу. Я должен был доставить несколько бревен из леса в лагерь. Было очень холодно, около 50° ниже нуля. Дул страшный ветер. У меня не было перчаток, и, когда я вернулся в лагерь, пальцы были отморожены, их пришлось ампутировать».

Медынский не нападает на тайную полицию открыто, но он замечает, что охранники были в перчатках».

А вот как у меня рассказывает об этом же самом Егорка Бугай, который решил отойти от преступного мира и доказать это своим трудом:

«Таскали мы лес на плечах, и взял я одну лесину. Под нее бы трех нужно, а я один взял — уж очень мне хотелось себя показать. И понес... Чувствую — пальцы начинают неметь. Нет, думаю, справлюсь. И донес. Пальцы только пришлось укоротить. Ну, обо мне доложили по начальству, вызвали тоже, поговорили, потом направили меня на комиссию, сактировали как инвалида и отпустили».

Скажите, где здесь перчатки? Перечитайте всю эту сцену, всю главу и укажите пальцем мне охранника в перчатках. Его нет. Вы его выдумали. Зачем? Чтобы убить гуманистическую идею советского писателя — кстати сказать, взятую, как и сам Егорка Бугай, из нашей советской жизни,— идею возможности перевоспитания преступника и подменить ее своими бреднями о «тайной

полиции», о зловредных охранниках, которые, видите ли, сами натягивают теплые перчатки, а людей морозят».

И так — по всей статье. Чего там только нет — тут и спиритуализм, и нигилизм, и «вызывающеее начало, которое должно возмутить Кремль».

«Медынский принадлежит к тем, кто протестует в России,— злорадствуете вы.— Но ведь протест протесту рознь. Я — беспартийный человек, представитель старой дореволюционной интеллигенции — не мыслю ни своей собственной жизни, ни жизни моего народа вне советского строя. Но, как гражданин своего государства и как писатель, я не мог не выступать против недостатков, против всего ненужного, устаревшего, против всего, что стоит на пути нашего движения к коммунизму, в который я верю и в строительстве которого принимаю посильное участие. Но это не тот протест, которого жаждете Вы».

Так я ответил через океан мистеру Колбу.

А вот другая схватка, на совершенно другом фронте и по другому вопросу — «О коммунистическом воспитании и современной литературе для детей и юношества». Так было сказано в пригласительном билете. Дата — 7 декабря 1960 года. Вступительное слово — Л. С. Соболев.

И все, вероятно, было бы хорошо и спокойно, если бы докладчик, после общего обзора и перечислений длинного ряда имен и заглавий, закончил бы столь же общим и благостным выводом, что «главная задача еще не решена» и что «коренное решение вопроса лежит в создании крупного, впечатляющего, захватывающего литературного образа». Здесь имелось в виду нечто вроде «Детства» и «Отрочества», «Тома Сойера», «Детства Темы» и «Педагогической поэмы», одним словом, некоторый «советский литературный монолит», в котором будет создан «единый сплав, воплощающий в себе нравственное существо молодого советского человека», и притом — «без излишнего оптимизма» — «в самом ближайшем будущем».

А пока в качестве конкретного предложения была выдвинута мысль — «поставить перед нашей сменой литературные маяки на курсе в коммунизм», образы или жизнеописания людей дельных, талантливых, смелых, проницательных и т. д., которые «не подвергались бы влиянию враждебных сил, а наоборот, сами боролись бы с подонками советского общества», «почему не попы-

таться счастливым *их* примером *заразить читателей* — новых будущих деятелей?».

Уже здесь намечались пункты для серьезной и принципиальной, но спокойной полемики. Соболев, однако, этим не ограничился, и ему захотелось «обозначить опасный фарватер, по которому шли наши некоторые писатели для юношества». И дальше шел длиннющий и убийственный перечень признаков этого «опасного фарватера» — тут и «влияние западничества, в особенности итальянского неореализма», и стремления этих некоторых писателей «рядиться в тогу глубокого знатока жизни, правдолюбца, смущающего юные души призраками якобы прогрессивного *критицизма»,* и «отвратительная маска нигилизма и всяческого отрицательства», и «ниспровержение в порядке вселенской смази литературы положительных образов, оптимизма и веры в свои силы» и т. д. и т. п.

И все это без единой фамилии, без единого конкретного примера, а так, вообще, действительно в порядке «вселенской смази». И объяснилось это «застоявшейся злостью» и самолюбованием авторов.

Но и этого мало.

«Вот о чем я хочу сказать,— добавляет Соболев.— Не бросалось ли вам в глаза, что во многих книгах о становлении юношеского сознания герой обязательно пропускается через чистилище «дурной компании», где он доходит почти до дна с тем, чтобы потом вознестись на нравственные небеса? Получается, что вопросы морали, нравственности, коммунистичности разрабатываются на жизненных примерах именно этих подростков и юношей — вначале споткнувшихся, а потом становящихся на стезю добродетели под влиянием умного работника милиции, дельного секретаря комсомола, проницательного классного руководителя и так далее. Это уже стало надоедливым штампом».

И опять — ни одной фамилии, ни одного конкретного примера. А после всего этого, как говорится, под занавес — неожиданная декламация: «Писатель по природе своей боец. Он сам кидается в схватку за человека, за правду, за будущее».

Вот и я, по простоте душевной, кинулся, вернее, ринулся в эту схватку. Почему?

Тогда я не мог этого в точности объяснить, но теперь, ретроспективно, мне это рисуется так.

Каких-либо личных побуждений и предубеждений по отношению к Соболеву у меня не было. Наоборот, когда после выхода в свет «Чести» в одной критической статье промелькнул упрек в некоторой идеализации моей Марины, Соболев публично поддержал меня, и я не мог не поблагодарить его. И вообще наши отношения были, как говорится, взаимно вежливы и даже внешне дружелюбны. Но во вкусах и оценках при разного рода литературных обсуждениях между нами всегда мелькала тень какой-то черной кошки.

Тогда я это еще не понял, но в докладе Соболева, за его высокопарной, но туманной фразеологией мне интуитивно почувствовалось что-то «не то». А на меня уже летела и гремела лавина читательских писем, вызванных «Честью», на их основе уже готовилась к печати строго документальная, вернее, эпистолярная повесть «Повелевай счастьем», в которой, точно по ироническому рецепту Соболева, мой герой вначале «спотыкается», а потом, «становясь на стезю добродетели», вступает в комсомол и начинает учебу в нефтяном институте, причем герой не выдуманный, а настоящий, живой и названный в повести по собственному имени и фамилии, который и в дальнейшем поддерживал со мной самые дружеские отношения. В это же время зарождалась и складывалась и «Трудная книга», отдельные фрагменты из которой я потом зачитывал на этом же собрании. И над всем этим, над всей проблемой, над всеми думами и муками, людскими и моими собственными, была занесена даже не просто равнодушная, а недоброжелательная и циничная рука.

Вот почему я ринулся тогда в бой со всем своим петушиным задором.

«Мне было бы очень горько, если бы я ошибся, приняв за чистую монету определение, которое Леонид Сергеевич дал писателю: боец. Оно полностью совпадает с моим пониманием назначения писателя. Поэтому я тотчас же послал ему записку: «Иду на вы. Прошу слова». И вот я получил слово и прямо заявляю, в чем я на этот раз не согласен с Соболевым, и хочу поддержать Сергея Михалкова в его совершенно правильном положении, что наши дети сложнее, чем мы о них думаем».

С такого полного обнажения позиций начал я свое выступление.

Я понимаю, что нельзя обременять читателя разными текстами докладов и выступлений, но я уверен в своем

читателе, и — думаю — он давно уже понял, что книга эта — не для легкого чтива. Это — и исповедь и исследование, нуждающееся, как и исповедь, в известной мере достоверности и обоснованности. Тем более в данной главе, посвященной самому важному, можно сказать, переломному моменту во всей моей творческой жизни и, следовательно, центральной и решающей для всего исследования этой жизни. Я очень прошу понять все это и простить мне некоторую ее детализацию и акцентировку. А чтобы все-таки облегчить восприятие, я дам изложение своего выступления в его общих чертах по ходу мысли и аргументации.

Прежде всего — как понимать воспитание?

Воспитание — это не значит посадить перед собой в выходной день сына и читать ему нотацию. Воспитание — это не значит сделать доклад или прочитать лекцию и думать, что вот провел мероприятие, и все слушатели будут делать так, как говорил лектор. Воспитание не значит сказать: будь таким, делай так — и все будут делать так. Все это слишком упрощенно и односторонне.

Воспитание — это сложный и многосторонний процесс, в котором и сам воспитуемый участвует не только как объект, но и как субъект, как активная, избирательная сила,— он берет то, что ему нужно, что он понимает, чему он верит, что подходит, то, что увязывается с его биологической основой, его биографией и прошлым опытом, запасом идей, его настроением, личными особенностями, интересами и целями.

Кого воспитывать? Пассивных исполнителей или активных деятелей? А если воспитывать активных деятелей, то нужно развивать мысль, дерзание, творчество, умение видеть жизнь и бороться.

На кого мы должны ориентироваться — на воспитанных или на невоспитанных? Можем ли мы игнорировать невоспитанных? По-моему, главная наша боль — это те, до которых не доходит наше слово, и нам нужно думать о том, чтобы это слово до них дошло.

Как воспитывать — прислушиваясь к объекту воспитания (тут опять-таки биология, биография и т. д.) или игнорируя все это?

Повторяю, воспитание — это сложный процесс, это образ жизни, порядок жизни, ее основные принципы, ее устои и нравственный дух, это то, в какой атмосфере живет воспитуемый, он, как губка, впитывает оттуда все.

Поэтому в здоровых семьях, построенных на крепких устоях, всегда будут хорошие дети, а в семьях, где все шатается и ползет по сторонам, никогда хороших детей не будет.

Теперь о роли книги и литературы в этом процессе воспитания,— я совершенно согласен и принимаю от души все общие положения, которые высказал Л. С. Соболев: «как на фронте», наступательность, активность, «писатель — боец по природе» — эти слова подкупили меня! Так давайте же не декларировать все это, а действительно бороться! Но можно ли бороться, не видя врага? Можно ли бороться, не зная и не изучая врага? Можно ли бороться, уклоняясь от боя?

Здесь я не мог не вспомнить еще один из этапов осмысливания всего этого вопроса. Примерно за год перед тем, на очередном пленуме московского отделения нашего писательского союза, по инициативе тогдашнего его председателя С. П. Щипачева, был поставлен интересный вопрос о работе с читательскими письмами. И тогда тоже завязалась горячая дискуссия, а после моего рассказа о переписке с читателями из мест заключения один, ныне умерший, писатель подал краткую и высокомерную реплику: «Не принимать слова Медынского во внимание». Я не обижаюсь на это, но не понимаю, как можно писать для читателей, для народа и не принимать его во внимание! Ведь «живы мы лишь мнением народным». Или то, что было обязательно для Пушкина, теперь для нас не обязательно? Что это — дворянские предрассудки, которые мы переросли?

Я считаю, что — да! — писатель должен идти, глядя на звезды, равняясь по звездам, но он должен прикладывать ухо и к земле, и этой землей для нас является наш читатель — народ, который общается с нами, делится с нами своими мыслями и игнорировать который мы не имеем права.

Я думаю, что не нужно оговариваться, что я признаю и необходимость положительного героя и его ведущее значение, и мои предыдущие книги говорят об этом — и «Марья», и «Повесть о юности», и «Девятый «А». Но вот я читаю в письме: «Хорошая у Вас учительница Полина Антоновна в «Повести о юности», но мы что-то мало видим таких в жизни; не встречали и такого коллектива». И мою книгу «Честь» кое-кто упрекает в идеализации об-

раза Марины, в чрезмерной идеализации этого положительного характера.

А вот один из хороших ребят «Повести о юности»— Валя Баталин — в жизни говорил, что «я воспитан книгами, но не столько образом Кошевого, сколько Стаховича или Мечика, я боялся походить на них».

Или Таня Егорова, не стиляга и не нигилист, а дочь рабочего, комсорг класса, окончившая школу с золотой медалью, а вот что сказала она о наших «хороших» книгах и «хороших» героях?

— Учиться здесь есть чему, а думать не о чем.

Вот с какими требованиями подходит читатель к книге! Он хочет думать.

Вот как сложно все оборачивается.

Обобщая, скажу, что важна многосторонность, сложность и комплексность. Убеждает и то, убеждает и другое. Одного убеждает Кошевой, другого — Мечик или Стахович. Как в геометрии: есть доказательство прямое и есть доказательство от противного. А односторонности не всегда верят, тем более если чувствуется ее заданность. А кроме того, такая, непременная односторонность имеет и другую сторону — она ведет к штампу и ремесленничеству.

Теперь — по вопросу о нашей молодежи.

Да, наша молодежь уже иная. Это несомненно и радостно. Но, с другой стороны, разве можно закрывать глаза на ее недостатки и слабости? На «другую» молодежь?

Вот пишет старый человек, персональный пенсионер, участник гражданской войны, служил еще в Красной гвардии и Красной Армии; общественник-активист; является лектором, ездит по колхозам, читает лекции. Вот какой это человек! И вот что он пишет:

«А вы знаете, как сейчас повысился интерес народа к вопросам воспитания детей и подростков?

Эх, если бы вы слышали, как и какие вопросы задают после лекций! Задают вопросы не «умники» и не демагоги. Спрашивают родители, чувствующие, что не ладно что-то у них и в нашей системе воспитания молодого поколения. Вопросы ставят объективно, в лоб, не как лектору, а как представителю Советской власти, требуя исчерпывающего ответа.

Я не паникер, ни в Красной гвардии, ни в Красной Армии периода гражданской войны меня никто в этом не

уличал. Но сейчас я вижу много причин для волнений и тревог».

А вот целая «диссертация» на эту тему! Вот старая учительница из Рязани пишет, что «у нашей молодежи нет почвы под ногами, она не в силах разобраться в противоречиях окружающего...».

Вот женщина, бухгалтер санатория, пишет:

«Я не боюсь встречных взрослых, не боюсь даже пьяных, хотя с отвращением на них смотрю, но их можно обойти. Я боюсь подростков, боюсь молодых людей. Они способны без причины и оскорбить мерзким словом, и пустить в тебя камень и т. п.».

Что это — влияние итальянского неореализма? Нет, товарищи! Это — явления нашей жизни, и мы не можем их обходить стороной.

А нам говорят —зачем писать об этом? Вы, мол, предлагаете писать для стиляг и преступников. Не для них, а для того, чтобы их не было. А впрочем, почему бы не писать и для них? Вот я держу в руках переписку с заключенными. И из этой переписки видно — какую огромную роль играет книга в их жизни. Так почему бы нам не писать и для них и о них? Здесь возникает вопрос об отношении к преступнику. А это уже глубоко, общественно принципиальный вопрос: чьи они, эти преступники?

Однажды мне пришлось сразиться в остром споре с одним литератором, автором печально известной статьи «Человек за решеткой», статьи в корне неправильной и жестокой, отрицавшей за заключенными право на чистое белье, шахматы и даже на радио. Обосновывал он все это тем, что преступники не наши люди. А чьи же это люди? Да, по направлению мысли и действий они не наши, но это наши дети, наши братья, наши сограждане.

Послушаем Маркса: «Государство должно видеть в нарушителе лесных правил человека, живую частицу государства, в которой бьется кровь его сердца... Государство не может легкомысленно отстранить одного из своих членов... ибо государство отсекает от себя свои живые части всякий раз, когда оно делает из гражданина преступника». Это говорилось о буржуазно-помещичьем государстве, а наше государство — народное государство. Как же мы можем говорить о стилягах и бандитах, о преступниках, что они отсекаются, что мы их знать не хотим! Как мы можем, словно чистюли белоснежные, отмахиваться от них. Этим самым мы нарушим всю вели-

кую гуманистическую традицию — не только нашей, русской, но и всей мировой литературы. Бальзак и Гюго, и Пушкин по-своему, и Лермонтов, и тем более Достоевский, Толстой, Чехов, Короленко, Горький — все были великими гуманистами и все в оступившихся людях видели человека, и эту великую традицию мы терять не имеем права. Нам этого никто не простит и никто не разрешит!

Одним словом, можно идти вперед, воздвигая знамена на вершинах, и можно добивать врага в тылу. Это все нужно — и то и другое, но и в том и в другом случае нужно быть бойцом, искренним и честным, мужественным и знающим дело.

В имеющейся у меня копии стенограммы непосредственно после этого сказано:

«Председатель. Слово имеет В. Д. Захарченко».

Документальности ради приведу это выступление в том виде, в каком оно записано в стенограмме:

«Захарченко. Мне кажется, в бурном потоке своей искренности вы немного оторвались от живой почвы, на которой мы сейчас стоим. Вы читали письма взволнованные и честные, но похожие на исповедь ушибленных жизнью людей. Не забудьте, на исповедь идут люди, у которых есть ущербность в душе. А все, что вы читали здесь,— это письма-исповеди.

Я хочу спросить вас: на кого же мы должны сегодня ориентировать молодежь — на Ромео или на Яго?

Медынский. На Ромео.

Захарченко. На Кошевого или на Стаховича?

Медынский. Конечно, на Кошевого, но не забывать и Яго, и Стаховича.

Захарченко. Мы не забываем, но в большом разговоре, который идет о детской и юношеской литературе, выставлять вперед людей с ущербинкой, отказавшихся от советских норм и правил поведения, как основную фигуру — это глубоко неверно.

Медынский. Но это не так, это неверно! Я не говорю о них как об основной фигуре. Я прошу это застенографировать, что это неверно, потому что на этом может быть построено и дальнейшее обсуждение, и все другие положения.

Захарченко. Мне кажется, в этом разговоре приняты не те масштабы, которые необходимы. Идет разговор о большой литературе — детской и юношеской. Но на

этих ущербных письмах строить взволнованную речь, отметая все остальное,— нельзя. Я против этого, хотя абсолютно согласен, что такие люди могут писать дневники и в их жизни все должно быть исправлено. Ведь их не так много, и не на их судьбах надо учить нашу хорошую молодежь. Наша задача не только лечить сотню больных, но, что самое главное, растить миллионы здоровых красивых людей. А если исходить из положений, выдвигаемых Медынским, может получиться извращенная картина. И я говорю: влияние иностранщины, туристов, Ремарка — вот против чего мы должны выходить на битву».

В перерыве ко мне подошел Соболев:

— Григорий Александрович! Дорогой! Что же это вы на меня так навалились?

— На вас? Нет! Что вы, Леонид Сергеевич? На вашу позицию — это да. На точку зрения. Когда мне приписывается, что я, говоря о воспитании на отрицательных образах, проповедую якобы ставку на моральных уродов, я этого не могу принять. Я не мыслю себе, как можно забыть о социалистическом идеале и *подменять* Морозку Мечиком, положительного героя — отрицательным, я не мыслю себе, как можно ориентировать советскую литературу на «уродов». Вот этого я не могу признать. Как хотите...

Остается добавить, что в июле 1977 года на представительном пленуме правления Союза писателей СССР в том же зале мы обсуждали тот же вопрос о работе с подростками. Выступал и я, вспоминая с той же трибуны о шумных баталиях, происходивших здесь семнадцать лет назад.

Не для сведения счетов я вспоминаю это сегодня, а для того, чтобы показать, что жизнь идет, изменяется и соответственно развивается мысль и что мы доросли до признания того, что трудные дети и даже преступники, которых, по Достоевскому, в народе называли «несчастненькими», признаются предметом художественного и публицистического анализа.

И С. Михалков, который еще в той прошлой дискуссии высказал правильную мысль, что «дети наши сложнее, чем представляют себе иные педагоги и драматурги», теперь в своем очень интересном докладе уделил достойное

место и так называемому «трудному детству». И все шло без всякой «вселенской смази», без многозначительных намеков и упреков, по-деловому и серьезно, как и подобает при серьезной теме.

Вопреки всем предсказаниям и предупреждениям прижилась эта тема и в литературе: Аркадий Адамов, Владимир Амлинский, Евгений Богат, Владимир Тендряков, Валентина Елисеева, калужский писатель Иван Синицын, ростовская писательница Мария Костоглодова и другие.

Значит, история все-таки движется.

Продолжала жить своей полнокровной жизнью и «Честь». Была по ней и литературная инсценировка, и радиоспектакль, и жизнь на большой сцене. Заслуженный деятель искусств В. Н. Токарев прочитал ее, лежа в больнице, и тут же приехал ко мне с предложением совместно инсценировать ее для театра. Этот спектакль «Жизнь и преступление Антона Шелестова» шел на сцене Московского театра имени Станиславского на протяжении двенадцати лет, выдержав пятьсот представлений, не говоря уже о многочисленных постановках по всей стране.

О бесконечном потоке писем от бесконечного числа читателей я тоже не говорю, потому что из них выросла «Трудная книга».

МЕЖДУГЛАВИЕ СЕДЬМОЕ

«Уважаемый писатель, здравствуйте!

Быть может, для Вас это будет странно, а поэтому я опишу все же вкратце о себе. Я нахожусь в местах лишения свободы и много, по возможности, читал книг, но такой правдивой, жизненной, да, жизненной книги я не встречал. Кроме того, я Вашу книгу не читал, а случайно поднял с земли два листка: 205 и 206 страницы, когда под конвоем следовал к месту работы по поселку. И эти два листка мне сказали очень многое. Я стал расспрашивать у всех, кто только читает книги, и каждого просил помочь узнать автора этой книги и ее название, а сам уже дал ей название «Жизнь». Через месяц с лишним я узнал, что книга Ваша и название ее «Честь». Узнал немногое и о Вас, а поэтому и прошу Вас, если можно, то пришлите наложенным платежом эту книгу.

Конечно, в письме всего не описать, но скажу прямо, что Ваша книга спасет от погибели много-много и много человеческих жизней. О! Если бы Вы знали, как дорога

Ваша книга людям, особенно тем, кто перенес на своих плечах подобное.

Вы можете думать обо мне, что хотите, и я не боюсь этого, но я пишу Вам душою, а не пером, и очень жалею, что не была развита подобная литература намного раньше, и тогда бы очень многие не страдали. Я не говорю о себе и не оправдываюсь, это глупо, и все же вспоминаю свое воспитание в детском доме с горечью и обидой о воспитателях, которым доверяли жизнь детей.

С чистосердечным приветом к Вам».

(подпись).

«Дорогой мой человек! Сегодня встретил я Вашу новую книгу, в которой Вы описываете свои раздумья. Запоем читал ее, прямо на улице, на скамейке сквера.

А пишет это один из тех, кому Вы отвечали когда-то, кому, так же как и Вашему новому крестнику, приходилось мыслить и искать ответ на свой единственный вопрос: «Чего стóишь ты и твоя тревожная жизнь?» Помните, письмо мое было очень жестким и злым, и не к кому-нибудь, а лично к Вам. Многое было тогда скрыто от меня в Вас, много казалось притершимся, профессиональным, стандартным пожеланием нам, находящимся «там», за решеткой, быть мужественными, брать самого себя за волосы и вытаскивать себя из болота, бороться за себя, за человека в себе. Но как я ошибался!

Теперь я должен добиться во что бы то ни стало направления на работу «туда». Я знаю, с чего мне начинать. Нет, это не мимолетный порыв, это мое призвание, моя жизненная цель, наконец, долг сердца.

Еще будучи в заключении, я думал над вопросами, связанными с жизнью людей в тех тяжелых и дальних местах, как-то выделяя из общей массы тех, кто нес в своем сердце хотя какую-нибудь любовь, склонность либо призвание, пусть всего лишь одною искоркой, доставшейся человеку от того колоссального света, которое донесло до всех нас наше земное человечество. И с тех пор это не дает мне покоя.

Вот, собственно, и все, это так неожиданно пришедшее продолжение нашей короткой переписки.

А книгу Вашу я храню, как и Ваше письмо. Доброго Вам здоровья, дорогой мой человек.

Сердцем Ваш — *Владимир*».

«Дорогой товарищ Медынский!

Это избитое, со всех сторон обслюнявленное слово «дорогой» — я употребляю здесь в его чистом, первоначальном значении от всей души.

Я прочитал Вашу «Честь», и Вы вошли в мою жизнь, как близкий друг, как действительно дорогой товарищ, как боец, занимающий соседнюю точку переднего края нашей общей борьбы.

Вы мужественно взяли на свои плечи тему сложную, неимоверно тяжелую. Вы работали над ней, не жалея ни труда, ни времени, ни самых дорогих человеку богатств его интеллекта, опыта, чувств, мыслей. Они выстраданы, выношены, взволнованны и до предела искренни.

Вы не поддались соблазну написать приключенческую, развлекательную или сентиментальную душещипательную повесть из жизни уголовного мира, из жизни «сыщиков», к чему чаще склоняются писатели этой темы. Вы опускались до дна в вонючую клоаку уголовного мира, стремясь понять его силу, его живучесть, степень его влияния на то здоровое, что приносят с собой оступившиеся или бесхарактерные, но не совсем безнадежные.

Вы с терпением и настойчивостью исследователя изучали условия и обстоятельства, порождающие преступников из наших детей. С глубоким проникновением в «тайны» жизни, с сердцем, пылающим как факел, с аналитическим умом и страстью коммуниста, с огромной любовью к людям, с пониманием и сочувствием к их трудностям, к их слабостям — Вы прошли не легкий и не близкий путь. Надо думать, что на этом пути было мало цветов и Вы испытали множество мук и огорчений, которые сопровождают каждую творческую работу.

Но этот самоотверженный труд оказался таким необходимым людям, как только может мечтать писатель. Он стал оружием в борьбе за ЧЕЛОВЕКА, в борьбе против низменного в нем. Он нашел правильную меру и доброму и злому, он дает силу ВЕРЫ в лучшее, что есть в каждом человеке, что возвышает его, помогает ему.

Читая Вашу книгу, я вижу Вас, автора, как Человека прежде всего честного, искреннего, убежденного, страстного. Вижу в Вас бойца, соратника, труженика для других тружеников. Человека близкого по самому значительному, что в нем есть: по духу, по идее, по борьбе. Спасибо Вам!

Подозреваю, что мы с Вами одного поколения. Я не раз смотрел смерти в глаза, ожесточен и закален многими штормами. Душа моя огрубела во многих испытаниях. Говорю это к тому, чтобы показать, что я не настолько уж реактивный для беспочвенного воспламенения по любому поводу. Но это всего лишь такая же искренняя дань, вернее, возврат того, что Вы бескорыстно дали мне. Такое может и должен получить лишь тот, кто сам дает безрасчетно и широко распахнув свое сердце.

Примите же эти слова, идущие от сердца, как дружескую благодарность за сделанное Вами. Хочу пожелать, чтобы жар Вашего большого сердца не остыл на житейских сквозняках. Чтобы не обмельчало и не оскудело оно от щедрых трат.

С глубоким уважением — Михаил Каминский (полярный летчик)».

На юбилейном вечере в связи с моим 80-летием выступил американский писатель Филип Боноски:

«Впервые мы встретились двадцать лет назад в совместных поисках правды. Так же как и теперь, множество людей, одни искренне, другие нет, пытались понять тогда — что такое Советский Союз. Все связанное с Советским Союзом превращалось тогда в предмет спора, воспринималось как пример и доказательство — живет и развивается социализм в Советском Союзе или он уже мертв. Двадцать лет назад капиталисты всего мира, не только Америки, повели развернутое наступление на вашу страну. В наши дни к ним примыкают так называемые критики, заявляющие о своей приверженности к левым кругам. Как и теперь, критики Советского Союза поднимали тогда вопрос о природе советского общества. Было крайне важно, жизненно необходимо найти ответ, не уклоняться от истины, высказать правду так, чтобы ее можно было понять и выразить.

Одним из вопросов, поднятых критиками Советского Союза, был вопрос о природе преступности в этом государстве. Почему именно преступление — почему их не интересовали положительные стороны советской жизни? Как можно узнать правду о социальной системе, изучая ее преступность?

Я приехал из страны, терзаемой сомнениями и неуверенностью, скептическим отношением ко всем ценностям, даже к ценностям самой цивилизации. Там проявляется неверие в способность человека к самоусовершенствова-

нию и возможность создания такого социального строя, который формирует поистине нормальных людей, как в социальном, так и в историческом плане, а не нацию растерянных человеческих особей, утративших представление о различии между хорошим и плохим, нормальным и ненормальным, преступным и честным. Каких преступников порождает общество? В этом ключ к пониманию этого общества. Поэтому свои поиски я начал как будто с самого неподходящего — с негативной области жизни. Если диалектика социальных сил действует закономерно, думал я, то в преступниках, как это ни парадоксально, я смогу найти доказательство тому, что преступление порождает не социализм, а, напротив, подтверждение тому, что социализм спасает человечество, даже самых слабых людей, от наихудшего, что оно может сделать с собою.

Я посетил несколько колоний, разговаривал с заключенными, но, честно говоря, только после встречи с Григорием Медынским я начал вникать в суть и значение этой проблемы. Медынский тоже изучал преступность, и его книга «Честь» посвящена проблемам, порожденным этим явлением. Сотни преступников и бывших правонарушителей считают его своим другом и заступником. Из одного письма, присланного ему одним из таких правонарушителей, я получил совершенно и вполне исчерпывающий ответ на этот интересующий меня вопрос.

Этот преступник писал:

«Я заключенный, был вором, но когда я думаю о прошлом, мне кажется, что я обокрал самого себя, обокрал свою собственную жизнь!»

Хотел ли он сказать, что дни, проведенные в заключении, оказались потерянными для жизни, состоящей из еды, сна, животного существования? Нет, нисколько. Сознательно или бессознательно он считал, что жизнь, которую он обокрал, это жизнь его страны, он понял, что жизнь проходит мимо него, а он остается один, с пустыми руками у разбитого корыта, что в лучшем случае какая-нибудь сердобольная женщина захочет подать ему милостыню. Но разве это жизнь? Он понял, наконец, что обокрал самого себя.

Медынский помог мне разобраться во всем этом, и я благодарен ему.

В моей стране грань между преступным и честным человеком стерта. Нередко те, кто находится за решеткой, менее повинны, чем те, кто бросает их туда.

В вашей стране преступник — это человек, который заблудился, оступился в темноте, в конце концов он приходит к пониманию, что обкрадывать других — значит обкрадывать себя.

Для каждого из нас самое страшное из всех возможных на земле преступлений — это обворовывать других людей. И сейчас я говорю не только об уголовных преступниках, потому что тот, кто занимается этим, оказывается в полнейшем одиночестве, теряет самое драгоценное, чем может владеть человек на свете,— свою человечность.

Я хочу поблагодарить Григория Медынского и его жену Марию за незабываемую встречу на их даче, где мы пели и разговаривали. Я благодарен также всем тем людям, которые научились уже жить так, что ни у кого — ни у детей, ни у стариков — ничего не крадут, даже улыбку, дружеское рукопожатие, солнечный день» [1].

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«ТРУДНАЯ КНИГА»

Признаюсь: закончив «Честь», я считал свою миссию выполненной. «Исполнен долг, завещанный от бога мне, грешному». Я готов был с облегчением вздохнуть, но, как и в истории с «Марьей», читатель мне этого не позволил. Пошли письма — потоком, лавиной. Точно открылся какой-то клапан, шлюз: люди тяжких и сложных судеб увидели, что кто-то занялся ими и вообще этими большими и больными вопросами, и стали писать.

Но не только они. В народе обнаружились живые внутренние силы, заинтересованные не только в себе, в своих личных судьбах и интересах, а смотрящие на жизнь глубже и шире и потому задумывающиеся о вопросах преступности в широком общественном плане. Они тоже писали, и тоже обсуждали и рассуждали, и вносили свои соображения и предложения. Это были письма-исповеди, письма-судьбы, размышления, рассуждения на десятки и даже сотни страниц. Не все в них было равноценно, хотя встречались и очень умные и дельные мысли, но, глав-

---

[1] Перевод Ф. А. Лурье.

ное, в них была гражданская заинтересованность и встревоженность. Люди думали.

Сначала меня все это оглушило. Я пробовал отвечать, спорить, устанавливать контакты, связи, вмешиваться в судьбы, обращаться в суды, помогать устраивать жизни, но в конце концов стал понимать, что море ложкой не вычерпать.

Но меня беспокоили эти письма, и люди, и жизни, которые за ними стояли, и мысли, и чувства, и боли, которые они в себе несли. Что с ними делать? Нельзя же просто положить на полку или запереть в ящик, и эти письма будут лежать, пока я жив, а потом кто-то выбросит их на свалку. А в них ведь боли и тревоги, живые человеческие боли и тревоги многих людей.

И тогда я понял, что должен вступить в битву в другом, писательском качестве — осмыслить.

Из общего потока обрушившейся на меня лавины я стал отбирать, образно говоря, крупные валуны — наиболее интересные письма, в которых ставились или из которых вытекали наиболее важные проблемы.

Так постепенно складывалась «Трудная книга». Она не была задумана наперед, она вырастала сама собой из обильного, питающего ее жизненного материала. И объем ее сначала был другой, меньший, и заглавие другое («Трудные судьбы»), и характер был другой, эмпирический, и издатель предполагался другой. Но шло время, накапливался материал, осмысливались и заострялись проблемы, менялся характер и пафос книги, и все первоначальное становилось тесным, вплоть до заглавия. И тогда нашлось издательство, а в издательстве — люди, которые поняли эту новую сущность книги, поддержали ее и издали.

Так родилась «Трудная книга», книга о сложностях жизни, о трудностях воспитания и вырастающей отсюда преступности, о проблемах ее понимания и преодоления, о путях формирования человеческой личности и потому, скажу без лишней скромности, вызвавшая большой общественный резонанс, породивший в свою очередь новую книгу, «Пути и поиски», а за нею — завершающую весь этот тяжкий двадцатилетний цикл книгу «Разговор всерьез».

Он тяжкий не только потому, что пришлось преодолеть колоссальное напряжение сил, не только потому, что попутно нужно было решать сложнейшие принципиаль-

ные проблемы, философские, идейные, нравственные, но еще и потому, что мне нужно было сохранить и удержать свое внутреннее «я» от буквально «селевого» напора житейской грязи, мрази, подлости и вообще всяческого недобра, необычайно к тому же широкого диапазона, и выработать в себе ко всему этому устойчивый иммунитет.

Одна юная читательница назвала меня «специалистом по преступности». Но если бы она знала, как я исстрадался по чистым и светлым человеческим душам, по счастливым, радостным людям, по «Осанне», которую мне хотелось бы пропеть жизни! Но... молчи, душа, молчи! Не забывай основного завета писателя: «Оставаться самим собой!»

Одним словом. писать о «Трудной книге» тоже трудно, и всего я, конечно, не напишу. Тем более о «внешней» ее истории издания и переиздания, потому что в ней тоже были свои сложности.

Будем лучше говорить по существу, о внутренней стороне процесса создания «Трудной книги».

А существо — это проолематика. В «Чести» эта проблематика обнажилась позднее, в той дискуссии, о которой подробно рассказано в предыдущей главе. В «Трудной книге» она значительно углубилась и проявилась предварительно в двух дискуссиях, которые были проведены в Институте мировой литературы: «Пути развития современного советского романа» (1961) и «Гуманизм и современная литература» (1963). Из них мне особенно хочется выделить вторую дискуссию — и по теме, и по характеру выступлений, и по составу участников,— в ней принимали участие такие интересные писатели, как Ольга Берггольц, Чингиз Айтматов, Сергей Залыгин, английский писатель Ч. Сноу, и такие теоретики, как И. И. Анисимов, А. И. Овчаренко, Л. Н. Новиченко и В. В. Ермилов. Вот с Ермиловым мы на этой дискуссии и сразились по глубоко принципиальному вопросу — о понимании гуманизма.

Истоки его позиции заключались, на мой взгляд, в том, что, опираясь на выдвинутый незадолго перед тем лозунг об усилении роли материальных стимулов в деле хозяйственного строительства, он слишком тесно и впрямую связал два начала — материальное и нравственное, породив тем самым ряд подобных ошибок и у некоторых

других публицистов,— о чем я, кстати, писал тогда в статьях «Нравственная позиция» («Известия») и «Стимулы и идеалы» («Правда»), вошедших потом в мою книгу «Пути и поиски» (1970).

Он вообще, по-моему, вульгаризировал всю проблему, лишив нравственное начало его императивности и введя в нравственные категории и отношения, заимствованные из экономики понятия личной заинтересованности и даже выгоды. Он абсолютизировал принцип материальной заинтересованности, построив на нем своего рода концепцию «разумного гуманизма», «когда люди станут действительно необходимыми каждый всем и все каждому», «когда каждый человек становится жизненно нужным другому», «когда каждый бережет другого, потому что каждый материально и духовно необходим каждому и всем вместе» (т. е., переводя на простой язык: ты мне — я тебе). «Может ли быть более высокий гуманистический принцип?» — восклицает Ермилов.

«Может! — отвечаю я ему в своем выступлении.— Александр Матросов знал, на что он идет, он знал, что через минуту ему уже никто и ничто не будет нужно. Знает об этом и Гусев в замечательном фильме «Девять дней одного года», и тот реальный герой, который вслед за Гусевым решит еще больше углубиться в небезопасные тайны материи. Этот подвиг и неотделимая от него жертва нужны *им* и будут нужны совсем не из-за материальной (ты мне — я тебе), а из той особой высокой «заинтересованности», без которой человек перестает быть человеком. Почему же тогда это «страдальческая», как квалифицирует ее Ермилов, а не героическая жертвенность? Почему — обязательно «отвлеченное», а не подлинное и благородное человеколюбие? Почему это «субъективная», тоже в каком-то презрительно-принижающем смысле, благожелательность.

Односторонность и догматизм вредны всегда и во всем, и наоборот, гипотезы и предположения, утверждения и отрицания — это не порок, это признак живой мысли. Идеи живут ведь не только в голом утверждении, но и в отрицании, в сомнении, в проверке их на прочность, на излом и растяжение. Тем они и отличаются от догм: догмы мертвы и неподвижны, как камни, идеи, подобно кристаллам, растут и развиваются. Так же и идея, абсолютизация материальной заинтересованности как «всеохватывающего этического принципа» тоже может вести к своим логиче-

ским крайностям и абсурдам, обескрыливающим человека (напомню из прошлого — толкование слова «материалист»). Жизнь сложна и многостороння, и что бывает абсолютно необходимым для одних времен и условий, то может оказаться ненужным и даже вредным для других. Могут быть обстоятельства и положения, когда, как это сказано даже в «Общественном Договоре» Руссо, «государству нужно, чтобы ты умер, и человек должен умереть». Но это же положение, возведенное в принцип, ведет к гипертрофии государства, к обесцениванию человека и превращается в общественную трагедию. Могут быть обстоятельства и положения, когда человек обязан пойти на жертву во имя общества, которое в других случаях, может быть, так же обязано пойти на какие-то жертвы для спасения человека. Это, на мой взгляд, является одной из существенных граней двуединства личного и общего, проблемы, которую мы должны решить.

Но одними призывами вершины не берутся. На пути к ним лежат трудные и крутые подъемы, и трещины, и провалы, скрытые под сверкающей снежной гладью, и масса других непредвиденных трудностей, для преодоления которых нужен точный взгляд и реальное мышление. Вот почему борьба за резервы, за каждого и тем более за трудного человека является и должна быть для нас не лозунгом-однодневкой, а первостепенной и насущной нашей общественной и политической задачей. Вот почему споры об этом — о роли положительного и отрицательного героя, об изображении «маленького человека», об «ущербных» людях — в той или иной форме и степени не затихают в нашей литературе. Я говорю об этом потому, что есть люди, которые, торопясь в коммунизм, спешат поскорее, и притом по возможности самолично, водрузить победные знамена на маячащих впереди вершинах и поэтому стараются не замечать врага, притаившегося позади, в занятых, судя по сводкам, окопах. И в этом рвении эти люди ополчаются против показа «маленьких» и тем более «трудных» людей, усматривая в этом «дегероизацию», упрощение, а то и искажение реальной действительности, и даже «опасный фарватер», и влияние заносной из-за рубежа концепции...

В этой связи я имею в виду довольно распространенный у нас термин «ложного гуманизма».

Да, «культ жалости и проповеди всепрощения», да, «отвлеченное человеколюбие» и «христианский альтру-

изм», всякая подмена подлинного внимания к человеку его видимостью, подмена дела пустым и лицемерным словом — это ложь и фальшь, и разговоры гоголевского Ивана Ивановича с нищими на паперти божьего храма являются великолепной иллюстрацией этого добродетельного ханжества.

Ну, а если это не «культ жалости», а действительная жалость, не «всепрощение», а прощение, простой акт благородного великодушия, не «отвлеченное человеколюбие», не «христианский альтруизм», а просто — человеколюбие и альтруизм? Всегда ли мы, справедливо ополчаясь на ложный гуманизм, сохраняем чувство меры и здравого смысла?

Вдумаемся, например, в то, что пишет Ермилов об альтруизме.

«...Социалистическому гуманизму противен альтруизм, основанный на случайности, субъективных капризах «любви к ближнему», на отвлеченной либеральной «симпатии» к человеку, а не на реальной необходимости каждого человека для всех... Альтруизм деспотичен, он требует благоговейного преклонения перед собой, как перед чем-то возвышенным, он самодоволен и, следовательно, глубоко эгоистичен... Альтруизм унизителен для человеческого достоинства... Не пора ли понять пошлость высокомерной, милостиво жалующей, благодетельствующей «любви к человеку»...»

Посмотрите, сколько уничижающих, даже уничтожающих эпитетов применено здесь, и в адрес каких понятий! Но позвольте, какой же гуманизм без симпатии к человеку, без любви к человеку. В конце концов, какой гуманизм без альтруизма?

Ермилов ссылается на Маркса, который «приходил в негодование, когда слышал мещанские, мелкобуржуазные сентиментальные вопли о том, что настоящий социалист должен занимать позиции альтруизма», и, видимо, на этом основании он приходит к итоговой, по существу, бредовой формуле, что «альтруизм буржуазен».

Но прочитайте письмо Маркса Мейеру: «Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о собственной шкуре».

Разве это не альтруизм?

Перечитайте работу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» — сколько там той же самой муки о человечестве, о человеке, превращенном в придаток к

машине, о страдающих матерях и голодающих детях. Разве это не альтруизм?

А Ленин?.. Он потому и не любил «добреньких», что был по-настоящему добрым, в самом большом и благородном смысле этого слова.

А Дзержинский? «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей».

Да, бывает альтруизм и «альтруизм», и если Маркс говорил негодующие слова по адресу одного «альтруизма» (в кавычках), это не значит, что альтруизм вообще (без кавычек) нужно и можно объявлять противным социалистическому гуманизму, а вместе с тем и другие созвучные ему чувства и понятия, как сочувствие, доброта, человеколюбие и даже жалость.

Да, многие из этих понятий связаны с религией. Но не дадим религии спекулировать на том, что присвоено ею, а выработано народом на протяжении многих веков и тысячелетий. Зачем отдавать ей понятия добра и доброты, человечности и человеколюбия, сострадания и справедливости и т. д. и т. п.

Все это — чисто человеческие понятия и чувства, без которых невозможна и нормальная человеческая жизнь. Гуманизм можно уподобить зеленому дереву вроде нашей красавицы ели, нижние сучья которой стелются по земле, а острие вершины устремлено к небу. И не будем уродовать это пышное дерево и, стремясь ввысь, не будем обрубать сучья, по которым мы в эту высь забрались, потому что тогда это будет уже не дерево, а высокая, но сухая и мертвая палка.

Вот та дискуссия, которая легла в основу моей работы над «Трудной книгой». А может быть, наоборот — моя работа над этой книгой, те судьбы и жизни людей, их вопли раскаяния и призывы о помощи, их размышления и анализы помогли мне осмыслить по-своему тему дискуссии.

Мне кажется, что в какой-то степени это так. Разве можно было придумать или надумать эту проблему? Проблемы не выдумываются, они возникают из жизни. Их только нужно видеть, не быть слепыми.

Я не имею возможности подробно говорить о них здесь — это значит писать новую «Трудную книгу».

Давно, еще во время работы над «Честью», судьба свела меня, наряду с прочими, с одним очень компетентным человеком, умным, душевным, внутренне и внешне интеллигентным, в самом доподлинном и изначальном смысле этого слова, здраво и в то же время свежо мыслящим и отзывчивым на человеческие беды. Он помогал мне в разрешении возникавших у меня дел и вопросов, в облегчении человеческих судеб и в осмысливании проблем. Так трудно создавалась «Трудная книга», под влиянием лавины писем по «Чести» в самом начале процесса осмысливания преступности как проблемы — конфликта между личностью и обществом. Одна сторона этой проблемы не требовала больших доказательств: человек, не выполнивший своих задач как нравственная личность, вносит в общество элемент разрушения и потому не может не нести перед ним ответственности. Это — аксиома, дважды два.

Зато другая сторона была переполнена иксами и игреками, очень нелегко поддающимися раскрытию и уразумению и не всегда, далеко не всегда зависящими от личности, живущей в обществе: тут и условия ее формирования, и те стороны, которыми поворачивается к ней общество, — правосудие, законность, справедливость,— и методы ее воспитания и перевоспитания, и меры ее жизненного устройства после понесенного наказания.

Среди этих воплей были и размышления, иной раз довольно интересные. Приведу одно из них.

Пишет заключенный, который о себе лично ничего не говорит — ни о своем преступлении, ни о каких-либо жалобах, просьбах и претензиях: «Писать свою биографию считаю излишним, потому что то, о чем я хочу сказать, никак и нисколько не касается личного». Он говорит об общих вопросах преодоления преступности, и прежде всего о системе воспитания и перевоспитания в местах заключения, что он видел и испытал на собственном опыте.

«В чем же дело? — спрашивает автор письма и отвечает: — В личности воспитателя и в методе его работы».

«Некоторым индивидуальный процесс воспитания,— пишет он,— кажется не столь важным в таком огромном обществе, и если один процент из ста невоспитан или воспитывается неправильно, на это можно смотреть сквозь пальцы. Но все начинается с малого, как хорошее, так и плохое, и диалектический закон перехода количества в

качество равно доступен обоим направлениям, и зараза может действовать быстрее и сильнее, чем лечебные средства.

Теперь наступает последняя ступень развития человечества, и социалистическое общество обязано сделать все, чтобы в ней не оказалось недостатков.

Если все предыдущие стадии развития старались добиться своего силой, то эта ступень не имеет такой возможности, ибо высшая стадия развития (если она возможна вообще) должна основываться на сознании не отдельной группки организаторов и даже не большинства, а каждого ее представителя, как руководящего, так и подчиненного. А сознания каждого можно добиться только индивидуальным способом воспитания, но никак не силой страха и ей подобными путями. И это в первую очередь относится к воспитанию оступившихся в жизни. Но прежде чем воспитывать других, надо быть воспитанным самому во всех отношениях.

Не подумайте, что во мне говорит озлобление или еще что-то подобное. Эта тема не позволяет углубляться в личное, и к тому же мне далеко не безразлична судьба моих сестер и братьев, внуков и правнуков, а им предстоит жить в доме, который выстроили мы».

Все это — и вопли и размышления — терзали меня потому, что я не знал — как к ним отнестись? Чему верить? Чему не верить? И почему не верить? И можно ли всему не верить? Отсюда и вырастала та, другая сторона проблемы, требующая осмысливания: ответственность личности перед обществом означает ли безответственность общества перед ней?

«Мне кажется, что во всех этих вопросах у нас еще очень много не только недоделанного, но и недодуманного, нуждающегося в самом широком обсуждении и общественном осмысливании. Ведь в Программе партии поставлена задача «ликвидации преступности и устранения всех причин, ее порождающих». А как можно устранить не изучая?

Такое изучение должно вестись как специальными институтами и ведомствами, так и общественными силами, в печати, с обязательным доведением результатов его до общественного сознания, чтобы люди видели и понимали истоки и историю зла и искали бы пути его преодоления. Иначе люди видят только внешние проявления зла, это порождает растерянность, панику и злобу, а злоба толь-

ко усиливает зло. Она усиливает те житейски понятные, но, по сути дела, обывательские настроения, которые сводятся к тому, чтобы «пресечь», «посадить», обезвредить зло, «куда смотрит милиция?», не задумываясь ни о его причинах, ни о реальных путях его преодоления. Но преступность ведь не только бытовая и житейская и тем более не административная, а социальная и даже историческая проблема, и по-настоящему решить ее можно только общественными силами».

Вот по этим проблемам я и обратился к товарищу Миронову с просьбой принять меня. Николай Романович Миронов заведовал тогда отделом административных органов ЦК КПСС. Он встретил меня любезно, даже приветливо, угостил стаканом чая с лимоном, потом достал из сейфа мои папки и сказал:

— Ну, мы ознакомились с вашими материалами, внимательно их прочитали. Вы видите пометки — одни, другие, разные пометки, разных людей, но если сказать в общем — мы с вами согласны.

— А если согласны, почему же делается все иначе? — тут же возразил я.

— Да ведь, Григорий Александрович! Дело-то не простое. Вы же сами пишете: государственное, общественное дело. С кондачка-то ведь его решать нельзя. И подходы к нему тоже могут быть разные. Вот вы пишете так: изучать да воспитывать. А два других писателя тоже прислали свое мнение, только совсем другое: «На ключ, на хлеб и воду, чтобы другим не было повадно».

— Это ж не писательский, это полицейский подход,— возмутился я.

— Но написали это писатели, и очень известные ваши коллеги, которых вы наверняка знаете. А статья «Человек за решеткой» — ведь это ж тоже мнение.

— Простите! Что это за мнение? — вскипел опять я.— Как можно чистое белье, занавески на окнах, кино и шахматы выставлять как проявление какого-то либерализма? А ведь именно по этому пути, вплоть до ограничения пользоваться нашим советским радио, пошли некоторые ретивые служаки — я об этом тоже пишу.

— Да, это верно. Служаки — наша беда,— согласился Миронов,— но это уже другая проблема.

А я перед этим прочитал довольно любопытное и обстоятельное исследование об американской тюремной системе (Джон Бертлау Мартин. «Разрушим стены». Лон-

дон, 1955), которое, как оказалось, читал и мой собеседник, и разговор у нас, само собой, пошел по широкому кругу вопросов. Нужна ли тюрьма? Что она дает обществу? Защиту, охрану от преступных элементов? Какую охрану, на какой срок? Она временно изолирует зло. Но временно изолированное зло не уходит из жизни. Тогда, значит, нужно оказать на него такое влияние, решительное влияние, которое гарантировало бы, что в общество возвращается безопасный для него человек. Следовательно, снова на первый план выдвигаются вопросы воспитания.

— Вот видите, сколько проблем возникает,— заметил мой собеседник.— И каких! Обо всем этом нужно думать и думать. Дело-то государственное. Случается, что и у нас, здесь, нет единого мнения, да и трудновато его достигнуть. Возьмите такой случай... Жил-был парень. Женился. В жены взял девушку из соседней деревни. Построили они себе хату. А родители ее были против этого брака. Почему? Дело ихнее. И стали приваживать молодуху к себе в гости — дело тоже естественное. Потом она зачастила — нынче в гости, завтра в гости. Оказалось, что родители сводят ее с кем-то другим. Муж узнал об этом, а парень был рисковый, послал все к такой-то матери, спалил свою избу и подался в город. И вот его судили. Как поджигателя. «Какой же он поджигатель? — говорят одни.— Сжег-то он свою избу, собственную?» «А как же? — говорят другие.— Нынче он свою спалил, а завтра — соседнюю, а то и колхозную. Значит, он по душе — поджигатель». Вот как тут разобраться?

Проговорили мы больше двух часов и расстались довольные, кажется, друг другом. Собеседник мой подарил мне на прощание свою небольшую книжечку и предложил встретиться как-нибудь еще. «Звоните!» Воспользоваться этим приглашением мне, к сожалению, не пришлось — товарищ Миронов трагически погиб.

Так постепенно я все дальше и дальше углублялся в лабиринты проблем и юридических, и социальных, и психологических. Иногда это мне становилось невмоготу, и тогда, в одну из таких минут, я обмолвился об этом в одной из статей. Читатель ответил на это серией писем: «Не бросайте нас!» Но разве можно было бросить?

Вспоминалось мне иногда и по-своему мудрое предупреждение того «главного», который в свое время отклонил мою «Честь»: «Ни одному гению не удалось решить

проблему преступности». Да, конечно, несмотря на все отчаянные усилия, не удавалось это и мне. Это было ясно. Но так же ясно было и то, что все-таки что-то у меня получалось, и в запутанном клубке разных причин и условий обнаруживались какие-то концы каких-то ниточек, которые указывают путь к новым, хотя бы будущим, решениям.

Из мрачных и пугающих подземных лабиринтов, по древнегреческому мифу, указывала путь герою волшебная нить Ариадны. Так и я в своих путаных «путях и поисках» постепенно нащупывал эту волшебную нить.

Впервые она попалась мне, когда я еще писал «Честь». Тогда пришла ко мне девушка, принесла пачку писем и поведала мне свою историю. Дружила с парнем, а его осудили за бандитские дела. Назвавшись женой, она ходила к нему в тюрьму на свидание, там он сказал ей, что рад тому, что его арестовали и прервали таким образом его связи с преступным миром, которые сам он не имел сил порвать.

— И вы понимаете? — говорила она.— У него были такие чистые глаза. Раньше он был всегда какой-то сумрачный, я только не знала, отчего это. А теперь просветлел.

И она решила дождаться его.

А вот письмо из Харькова:

«Мне двадцать лет, и до сих пор все люди казались мне хорошими, честными, смелыми, а теперь я поняла, что все это далеко не так. Имя его — Сергей. До него я никого никогда не любила, а с ним как-то по-новому взглянула на мир, увидела, как распускаются почки, как ярко светит солнышко.

И вот я узнаю, что этот человек, которого я люблю,— вор. Наверно, я должна его презирать, ненавидеть, а я люблю его, люблю и не могу забыть! Я хочу как-то помочь ему, увести с пагубной дороги, но как? Ведь полюбить кристально чистого человека легко, а вот такого, у которого оказались отрицательные стороны, даже пороки?

Да и вообще, мне кажется, не обязательно искать хороших людей — надо их делать хорошими! И уж если любить, то любить человека такого, каков он есть!»

Волшебная нить любви.

Профессиональный вор приехал в город, чтобы что-то украсть. Сидит на вокзале, рядом — женщина с ребенком. Потом она просит: «Мне с ребенком надо в туалет, посмотрите, пожалуйста, за моими вещами». «И вот,— пишет он мне,— я, как дурак, сижу и караулю ее чемодан, который я хотел украсть. Что это?»

Волшебная нить добра и совести! Значит, есть она все-таки, совесть, под всей грязью и мерзостью жизни, неубиенная!

Вот тот вывод, к которому я в конце концов пришел: преступление — это болезнь духа. Она может вызываться и осложняться одним, другим, третьим, но в конце концов — пусть в самом конце концов! — это болезнь духа.

— Болезнь духа? — слышу я чей-то скептический голос.— Странно!

Я сижу на заседании научно-практической конференции, созванной Министерством внутренних дел. Я в то время очень близко сошелся с этой сложной и чрезвычайно ответственной организацией с очень разными и многоемкими функциями и задачами и, следовательно, разными людьми. Среди них приходилось встречать, конечно, всяких — и ортодоксов, идущих от книги мимо жизни, и загибщиков, любителей решать все проблемы ударом буденновской шашки, ну и, конечно, обыкновенных службистов, за службой не видящих никаких проблем. Но наряду с ними я видел, знал и полюбил других — людей душевных и думающих, даже мыслящих, и ищущих разумных путей в решении тех же самых, очень непростых проблем.

Вот письмо одного из них — думающих и болеющих за нравственное состояние молодежи:

«К сожалению, многие заблуждаются, выдвигая на первый план правовое воспитание. Да, законы люди должны знать. Но все же главное, основное — это моральная закалка человека, когда он не юридически, а душой, сердцем, совестью своей не может допустить ничего постыдного, тем более преступного. Каин убил Авеля не потому, что не знал уголовного кодекса, а потому, что нравственно стоял на стадии дикости.

Молодежь всегда была и будет той магнитной стрелкой, которая чутко колеблется на шкале морального состояния общества взрослых, показывая то направление, куда идет это общество.

Я глубоко убежден: нравственное воспитание общества, молодежи — вот наша неотложная, главная задача, от решения которой зависит наше будущее».

Это пишет методист воспитательно-трудовой колонии Э. М. Иткин.

Вот высказывание другого, генерала С. М. Крылова: «Безнаказанность, как и чрезмерная наказуемость одинаково вредны, как для человека, так и для общества».

И вот — эта конференция, многолюдная и интересная. Здесь собрались и руководители министерства, и практические работники исправительно-трудовых колоний, и, что особенно важно, деятели науки — из Москвы, Ленинграда, Ростова, Свердловска, Кирова, психологи, психиатры, философы, педагоги и медики.

В течение нескольких дней с разных сторон и точек зрения они исследуют вот этот самый «странный», но такой важный и сложный и такой гуманный вопрос: личность преступника.

Да, у нас нет и не может быть коренных экономических и общественных причин преступности, как в капиталистическом мире. Да, принципы и закономерности нашей жизни совершенно другие, но именно поэтому нарушения и извращения этих принципов оказывают зачастую отрицательное влияние на неустойчивых людей. Поэтому личность, ее нравственный уровень и сопротивляемость злу приобретает у нас особое значение.

Мы отвергаем теорию врожденной преступности, но нельзя не признать, что человеческая личность может нести из прошлых поколений тяжелый патологический груз, который ослабляет личность человека, а катастрофически растущее влияние алкоголя еще больше усиливает этот процесс.

Об этом — о теории личности, о личности как социальном явлении, помню, очень интересно говорил представитель Института философии Академии наук профессор Платонов: «Нужно бить не по следствиям, а по причинам. Нужно познавать законы возникновения преступности, чтобы ее предупреждать».

«Проникать в историю личности»,— вторит ему профессор Селиванов и дает обстоятельный анализ, например, психологии поступка: постановка цели, борьба мотивов, придумывание средств и исполнение. И тогда оказывается, что между мотивом и действием далеко не всегда существует ясная и прямолинейная связь — поло-

жительные мотивы могут приводить к отрицательным результатам, и наоборот.

«Вообще личность человека сложна и многогранна, она имеет поверхность и глубину»,— говорит профессор Ленинградского университета А. Г. Ковалев. Личность формируется во времени, видоизменяется в ходе жизни, и важно проследить ее динамику и формирование новых отношений ее в новых условиях.

Проблеме человеческих отношений был посвящен специальный доклад директора Ленинградского института имени Бехтерева Мясищева. И тогда оказалось, что любовь и ненависть, уважение и презрение, жадность и доброта, принципиальность и беспринципность — не отвлеченные и изолированно существующие качества, а результат отношений между людьми.

Поэтому вся задача профилактики, предупреждения преступности приобретает большую общественную и педагогическую глубину: не просто следить и пресекать, контролировать, читать нравоучения и главным образом ругать, а прежде всего формировать человеческую личность и ее отношения с другими людьми и обществом. Учитывая ее биологическую сущность и индивидуальные особенности, нужно повышать жизненную подготовленность и особенно социально-эстетическую сторону личности, ее направленность, целеустремленность, эмоциональный заряд и волевую закалку. Потому что — и в этом были единодушны все — в основе преступления лежит деградация, разложение личности, ее общий моральный распад и опустошенность.

Вот что такое болезнь духа. И отсюда главный и обобщенный вывод: разобраться и понять сущность человека.

Я к этому очень долго шел в этих своих «путях и поисках», через пресловутые «пережитки капитализма», через «последствия войны», через «влияние среды, семьи», но в конце концов, когда все дальше отходили в прошлое и давно забытый капитализм и последствия войны, а преступления оставались и преступники нарождались уже из наших, новых, собственных рядов и поколений, я все чаще сталкивался с признаниями: «Я никого не виню, я сам во всем виноват, во всем!» А это подтверждалось недоумениями и воплями матерей, от-

цов, сестер и братьев: «И как это получилось? Почему? Мы сами не можем понять и разобраться!»

Вот один пример, очень яркий, но далеко не единственный.

Письмо первое, исходное:

«Пишет Вам незнакомый парень, ничем в жизни не прославившийся, ничего хорошего в ней не сделавший, да и не задумывавшийся до сих пор над этой самой жизнью. А катил он по ней просто, куда вывезет, и казалось, что так и нужно: живи, как живется, бери, что берется, и не скули в случае неудачи. И я жил, брал и не скулил: украл, не попался — хорошо, попался — тоже не велика беда, а «отсидки» осторожность приносят, опыт, да и авторитет перед дружками поднимают.

И так ладно да гладко шло у меня все, и прожил я таким манером четверть века. И не было нудного до бессилия чувства прожитого впустую, не было терзаний за свое прошлое, и жизнь казалась огромной до бесконечности. Казалась...

А теперь вот почему-то не кажется. Сломалось во мне что-то, и по-другому как-то я стал смотреть на себя и на дела свои. И ничего-то мои похождения никому не дали, ни мне, ни моим близким, ничего, кроме гадостных ощущений, как от ячневой каши. Пустота!»

Письмо его матери:

«Сколько мне пришлось пережить страданий из-за сына, что так у него сложилось — и сама не знаю и не пойму. С малых лет он помогал во всем по хозяйству: мыл полы, ухаживал за домашними животными, носил воду, копал и полол огород и во всем всегда был первым помощником, и вот...»

Теперь она тяжело больна — «дни мои сочтены, письмо это Вам пишу третий день, очень трудно, не соберусь с мыслями, да и слезы застилают глаза».

Тронула меня эта судьба и матери и сына, завел я с ним переписку, послал ему свою «Честь» с надписью: «Думай, Вячеслав! Думай!» И получаю через какое-то время письмо:

«Перво-наперво поблагодарить хочу Вас за книгу. Кстати она мне пришлась, ко времени подоспела, нашел я в ней ответы на множество вопросов, порой ясные, четкие, будто формулы, подставляй свои данные и пользуйся готовым, а порой и запутанные, требующие мысли, не общей, а своей, индивидуальной. А тут Ваш совет:

«Думай, Вячеслав, думай!» Вот я и думаю, не по указке, конечно, сам мыслю, а слова Ваши подстегивают в нужном направлении, и знаете, какая получается, Григорий Александрович, любопытная штука.

Если раньше от воровства меня отталкивал страх, который заглушался потом водкой и надеждой на то, что все обойдется, то сейчас во мне появилось что-то другое, какое-то новое чувство и потому этой новизной даже интересное. Я, как и раньше, вижу, что плохо лежит, сохранилась свойственная прошлому зоркость на легкую добычу, но мысли переиначились — они о краже, все о той же краже, но уже без моего участия. В мозгу фиксируются разные возможности, рисуются варианты, даже развертывается действие, роли в котором выполняют какие-то незнакомые, смутные персонажи. Пробовал я вообразить и себя в этом амплуа, но вдруг ощутил страх, но страх другой — страх пустоты в будущем. (Толком не разобрался в этом, нужно покопаться основательнее в себе. Если разберусь, напишу позже.) А потом, когда страх ушел, стало стыдно за свое участие в этой краже даже в воображении. Да-да! Я, тот самый, кто так помнит первые, вытащенные из родительской копилки пятаки, я — воришка с мальства, вдруг ощутил ярую неприязнь к воровству. Теперь мне стыдно брать чужое, как стыдно голому идти по улице».

Что это?.. Пусть упрекают меня в чем угодно, но перед нами прошел сложнейший процесс болезни духа и ее исцеления.

Однажды на небольшой подмосковной станции мне пришлось подождать поезда. В ожидании я сел на свободное место на лавочке, где уже сидели двое молодых людей и две девушки, они довольно оживленно разговаривали, и сначала я принял их за одну компанию, но скоро понял, что это не совсем так. Девушки были явно умнее своих партнеров и в разговоре все время их высмеивали, перекидываясь между собою понимающими взглядами. А потом сразу вспорхнули и пошли, даже не простившись.

— Вас проводить? Не заблудитесь? — кинул им вслед один из парней.

Одна из девушек только с усмешкой оглянулась на него, а другая, побойчее, ответила ему ядовитой частушкой:

Ох, ох, не дай бог с дураками знаться,
Они грязны, не умыты, лезут целоваться.

Один из парней не то что растерянно, а действительно как-то глуповато улыбнулся — у него был острый, как клин, нос, узенькие маленькие глазки и до самых бровей старательно прилизанная рыжая челка, но другой, с пушкинскими бачками и транзистором через плечо, небрежно процедил:

— А ну их!.. Вумные!

И тут я понял, что это была вовсе не компания, а просто два пижона, убежденные в своей неотразимости, с ходу подсели к девушкам и вот потерпели фиаско. В этом я окончательно убедился, когда через какую-то пару минут мимо прошла одинокая девушка с модной прической и, остановившись в стороне у решетки, вынула книжку из сумочки и стала читать. Мои соседи переглянулись, перемигнулись и, поднявшись, направились прямым сообщением к ней: убеждение в своей неотразимости, видимо, у них ничуточки не пошатнулось. Не дошло! Я не мог слышать, как у них там развивался разговор, но девушка скоро закрыла свою книжку и перешла на другое место, оставив моих кавалеров опять с носом.

Я подумал: дойдет это до них теперь или нет? Вероятно, нет, вероятно, и эту девушку они обзовут «вумной» или «идэйной» и пойдут дальше, как два пустых баллона, в своих начищенных до блеска остроносых туфлях, пока не нападут на такую же пустую и глупую балаболку, которой все равно с кем идти и с кем гулять, так же как все равно это и им. И мне, по нетерпеливости своей, захотелось тут же завести с ними откровенный мужской разговор, но они куда-то исчезли, а потом уж из окна вагона я увидел их на другом конце перрона, таких же одиноких и ищущих.

И мне стало и жалко их, и стыдно, по мужски стыдно за это откровенное, такое обнаженное, оголенное искание. Что мужчина ищет женщину — это вполне естественно, закон природы. Вполне естественно и то, что он при этом старается чем-то привлечь, прельстить ее. Но если петух, павлин, фазан, глухарь распускает при этом свое оперение, так ведь ты ж не фазан и не петух, и челка твоя, и транзистор, и остроносые ботинки не идут с этим ни в какое сравнение, потому что ты человек и «оперение» у тебя должно быть другое — человеческие достоинства

ума, и чести, и характера, и устремлений. В конце концов, какой-нибудь фазан, или глухарь, или олень даже лучше тебя — он не просто прельщает свою подругу пестротой оперения или красотою ветвистых рогов, он бьется за нее, для него это таинство жизни, закон природы, своего рода долг перед ней. Для тебя — развлечение. Тебе все равно — кто с тобой пойдет сегодня: не одна, так другая, не другая, так третья. Тебе все равно. Ты перестаешь быть мужчиной и совсем забываешь о том, что ты — человек. И тогда ты превращаешься в животное, а то и в зверя, тащишь девушку, а то и девочку, первую, которая тебе попалась на глаза в темном переулке, и портишь ей жизнь. А то и губишь.

Так мне хотелось бы сказать этим пустым пошлякам в мужском разговоре, с глазу на глаз, откровенном и потому беспощадном. Мне стыдно за них. И больно. И за них, и за девушек, за их мечты и надежды. А мечтают они совсем о другом.

«Я верю в любовь, верю в дружбу, верю, что большинство наших людей честные и хорошие»,— говорит одна.

«Хочется, чтобы парень и девушка для парня были примером, и совестью, и судьбой,— вторит ей другая.— Скажите, есть ли такие парни? Честные, искренние, уважающие девушку, однолюбы, или же они встречаются только в книгах?»

Так пишут искренние, чистые девушки, тоскующие о хорошей жизни, о чистой любви и о благородных, честных парнях, однолюбах. И сколько горечи, сколько обиды и гнева слышится в их голосах, когда вместо этого они встречают хамство, подлость и низменность.

«Я не хочу говорить о хороших делах своего города. Я его люблю, привыкла к нему и знаю, что в нем хорошего и что плохого. Но обидно смотреть, когда молодежь разгуливает пьяная, ругается нецензурными словами, совершенно не считаясь ни с девушками, ни со взрослыми. И, глядя на это, думаешь: есть ли у них что-нибудь за душой? Чем они живут, что их интересует? И зачем они такие мерзкие? Почему? Что им не хватает? Почему лучшие человеческие чувства — любовь, дружбу — они превращают в пошлость и грязь!»

Ну, что сказать ей, этой самой Гале, чудесной девушке из старинного уральского города. Но она поворачивает медаль и другой ее стороной.

«Ну, это парни,— продолжает она.— А девушки? Им-то чего не хватает для нравственного развития? Им-то что нужно? Ведь девушка должна быть девушкой, так чего ей беситься?» Или: «Придут в клуб парни, пьяные (и чего их пускают в таком виде?), стоят с нахальными лицами, перебрасываются между собой насчет девушек. Подойдет с папиросой и, вместо того чтобы вежливо пригласить: «Разрешите?», скажет грубо: «А ну, пойдем», а то и почище. И она идет! Он ее обнимает, а то и целует при всех, и она — ничего. Такие девушки напоминают мне собачек, глупых к тому же. А теперь скажите — кто виноват в этом?»

Ну что ответить ей? Что ей сказать? Как убедить ее в том, что это не так, что кругом полно людей умных, честных, чистых, деятельных и созидающих.

И все это делают они, пакостники, полагающие, что своей челкой или сдвинутой на затылок шляпой, грязной руганью и папиросой в зубах изображают каких-то героев. Может быть, даже считают себя героями? Может быть, даже обижаются за эти резкие мои слова?

Обижаетесь? Хорошо! Слушайте дальше!

Девушка назначила свидание любимому, а он пришел с компанией друзей, и они коллективно изнасиловали ее. Страшно? Страшно.

Нравственное падение, разложение, распад личности имеет свою логику: соскользнув на одну ступеньку, ты катишься на другую, на третью, и вот ты посягаешь уже на что-то святое и для человека неотъемлемое и можешь до самого страшного дойти, если не остановишься.

А ведь есть любовь! Бывает! Настоящая и высокая, до зависти. О ней, к примеру, рассказывает Валентина Елисеева в напечатанной в журнале «Новый мир», а теперь широко известной, получившей уже сценическое воплощение, но по истокам своим строго документальной повести «Так это было».

Молодая девушка, студентка педвуза, из своих чисто педагогических целей завязала переписку с имеющим достаточно большой срок заключенным. Сначала это была как бы игра, эксперимент. Но шли месяцы, потом и годы. Происходило взаимное познание. А потом и сближение душ. На самой высокой человеческой основе: она поняла и поверила в него, а он увидел в ней путь к духовному воскресению.

Из этого возникла любовь, та самая, настоящая, про-

шедшая испытания на верность и нравственную стойкость.

«Я много, очень много думаю о том, как мы будем строить с тобой нашу семью,— пишет она к нему в далекую Якутию.— Хочется, чтобы это была самая счастливая и крепкая семья. Я верю в то, что все наши мечты сбудутся. Спорить мы с тобой, конечно, будем, в этом не может быть сомнений, а вот ссориться мы не должны. Да?»

«Женька, любимая, спасибо тебе за все: за радость, за веру в человека. И теперь нет такой силы, которая заставила бы меня изменить своему слову».

«Толик, родной, спасибо тебе за все: за нежность, любовь и заботу. Ты мне принес счастье. Пусть это кажется странным для кого-то, но я счастлива. И я горжусь тобой — слышишь? — горжусь. И не собираюсь ни перед кем склонять голову. Ты не волнуйся, что кто-то посмеет меня упрекнуть тобой. Умный этого не сделает, а с дураками нечего считаться».

Так выросла любовь, а из любви — семья, о которой когда-то мечталось, здоровая и крепкая: теперь у них двое детей. У каждого своя работа и общая, выпестовавшая их духовная мать — Валентина Филипповна Елисеева.

А вот другая любовь, в другой среде и обстоятельствах. Но такая же чистая. По ряду полюбившихся нам кинокартин читатели, может быть, помнят великолепного французского артиста Жерара Филипа. Несколько лет назад он умер. Его вдова Анн Филип написала после этого книгу «Одно мгновенье». Книжечка небольшая, но удивительно умная и возвышенная. Это разговор с ушедшим мужем, разговор, как с живым, крик, исповедь любящей души. Рассказ об истинной любви и верности тем идеалам, которым они вместе служили. И посмотрите, как тонко и проникновенно описывает она свое, вернее, их взаимное чувство любви, решительно отграничивая его от мелкой интрижки, в которой «мы постепенно растрачиваем себя, как ткань, которую время пожирает прежде, чем она послужит своему назначению». В противоположность этому она рисует подлинное чувство подлинной высокой любви как процесс непрерывного обогащения души.

«Я поняла, что наша судьба в значительной мере зависит от того, как мы представляем себе счастье. Ведь

счастье — это не только духовное и физическое благополучие.

...Я заглядывала в самую глубину твоей души, и ты раскрывал ее. Сколько лет и минут понадобилось нам на то, чтобы достичь этих тайников, еще более глубоких, чем чувство, в котором разум и инстинкт сливаются воедино. Мне нравилось наше стремление к трудностям, наше недоверие к легковесным переживаниям... С тех пор, как родилась наша любовь, мы не переставали изучать, узнавать друг друга. Мы открыли друг другу свои души и, обезоруженные, отбросили закон джунглей... И вдруг оказалось, что мы богаты — нас обогатили бесчисленные мгновения, события, пережитые вместе... Наши побуждения были благородны. Мы верили друг другу».

Смотрите, как непохоже это на те упрощенные по закону джунглей, а потому убыстренные и потому бесконечно обедненные даже не интрижки, как их деликатно называет Анн Филип, а до цинизма обнаженные, а потому омерзительные схождения и расхождения.

Высокое и низкое... Может, здесь истоки? Истоки чего? Всего — и подвигов, и преступлений.

...А вот убийство. Заранее осмысленное и подготовленное — «Олега нужно убрать». Жестокое до озверения — пятнадцать ножевых ран.

Кто?

Кого?

За что?

Школьники. Восьмиклассники. Из одной школы. Товарищи, почти друзья. «План убийства и роли каждого из них они обсуждали вместе» — так сказано в приговоре суда. Из-за чего? Ради чего? Ради личного авторитета. Организатор и вдохновитель убийства — «хороший ученик», комсомолец, волевой и развитой парень, способный оказывать воздействие и даже подчинять себе других. А когда у него «произошла ссора с одноклассниками, он хотел этим запугать своих соучеников», он и привлек их к осуществлению своего плана — «убрать Олега». И убрали.

И никаких угрызений совести. Труп под прикрытием вечерней темноты вынесли из подвала, где совершилось убийство, и бросили в реку. Замыли следы крови на брюках. И даже забрали с собой остатки водки и закуски, специально закупленных для создания атмосферы дружеской беседы. А после суда начали писать письма

ко мне с перекладыванием вины с одних плеч на другие, с просьбой помочь в «восстановлении справедливости» и ссылкой на то, что «мне было тогда только пятнадцать лет».

Ноль! Полный, круглый *нравственный ноль*. До дрожи. Скажут: а кому это нужно, писать о таких? Зачем? Затем, чтобы обнажить зло. Да, обнажить, потому что только обнаженное зло вызывает протест и стремление что-то понять и осмыслить. Чтобы испугать кого-то этим ужасом и цинизмом. А может быть, что-то предупредить и кого-то остановить в последний миг у той, крайней черты, у бездны. И в конце концов, чтобы что-то понять и осмыслить.

У Маркса во введении «К критике гегелевской философии права» есть интересная мысль, касающаяся задач, стоявших перед немецким народом того времени: «Надо заставить народ *ужаснуться* себя самого, чтобы вдохнуть в него *отвагу*» (курсив Маркса.— *Г. М.)*. Перефразируя это, я бы хотел, чтобы человек ужаснулся тому, на что он способен, и этим мог бы усилить свое сопротивление злу.

Так и здесь — *нужно!*

...Лирики и циники. Высокое и низкое. Может, здесь истоки? Истоки чего? — вспыхивает вопрос. Всего! И подвигов, и преступлений. Всего!

Приведу в этой связи еще одну переписку.

«...Я часто задумываюсь, с какого момента жизни во мне зародился червячок эгоиста и любителя легкой жизни...

В своем воспитании усматриваю огромный промах родителей, свойственный многим. Они были слишком добры к единственному сыну и всегда все прощали, поругав только для порядка. С мелких краж, обманов я начал свою юность. Мне стало казаться, что деньги — это все, и чем их больше, тем лучше. Никто не спросит: откуда они? А наоборот — тебя будут уважать и принимать за приличного молодого человека. В 14 лет я занялся фарцовкой, появились деньги, вещи. Родители мало обращали на это внимания, а спросят — я говорил, что «купил

с рук», «выиграл в спортлото» и т. д. Эти отговорки их устраивали.

В это время я учился в ПТУ. Казалось бы, там комсомольская организация, мастера, учителя должны обратить внимание на модно одетого, беспечного юношу. Нет, не обратили. Лишь бы был на уроках и не получал двоек! К этой системе я быстро приноровился.

С Вами я познакомился уже в колонии по книгам «Честь» и «Трудная книга». Их у нас читал весь отряд, и все были поражены, до чего судьбы героев этих книг похожи на их собственные.

Многие причины преступлений, однако, уже устарели. Если раньше многие шли на преступление потому, что идет вся компания и отказаться вроде бы стыдно, то сейчас многие идут на преступление сознательно, зная, что за это, возможно, они понесут наказание. Но это только подогревает, становится интересным, потому что требует ума, физической подготовки. Поначалу переступить порог закона страшно, но потом появляется чувство очень крупной игры. Тогда дело уже не в деньгах, они вообще интересуют, оказывается, до определенного предела.

Очень остро начинаешь чувствовать пульсацию жизни: сегодня ты на свободе, а завтра, может быть, нет. Появляется смысл в жизни, жажда ее, жадность. И уже не останавливаешься ни перед чем. Потом происходит выделение себя из миллионной толпы людей, хочется быть личностью, что-то представлять из себя.

Возникает чувство обособленности самого себя: я могу совершить любое преступление, а вот эта масса людей не может, и почему-то эту массу считаешь ниже себя. Сейчас я уверен, что такая философия всегда кончается хорошим сроком.

Я не нашел своего места в жизни; некоторые специальности мне нравятся, но на них надо учиться в институтах, а я запустил учебу. Схема же «работа — дом — семья» меня не устраивает, слишком однообразно и скучно. А ведь хочется увидеть и горы Кавказа, и тундру, и тайгу. С семьей разве это возможно? Поэтому я боюсь, как бы по выходе из ВТК, хотя впереди у меня еще три года, не заняться прежним, только более тонким ремеслом. И Вас я очень прошу убедить меня в том, что лучше 11 месяцев работать, а один отдыхать, чем наоборот...»

За этим письмом последовало второе: подросток откликнулся на мою просьбу подробнее изложить причины, побудившие его нарушить закон.

И вот мой ответ на оба эти письма:

«...получил и твое второе, надо сказать, очень интересное письмо. Спасибо. Оно подтвердило мое первоначальное впечатление от первого. Ты учишься думать, учишься понимать себя. Твои письма отличаются логикой изложения и, в известной мере, широтой мысли, хотя широта эта вовсе и не всегда означает ее правильность.

...У тебя ни разу не встречается слово «совесть». А вместо раздумий над ним вырывается очень странное, я бы сказал, даже пугающее признание: «Поначалу переступить порог закона страшно...»

А потом? Потом, оказывается, происходит выделение себя из «миллионной толпы людей. Хочется быть личностью».

Подумать только! Личностью!..

Какой личностью? Ведь это же главный вопрос! Неужели ты этого не понимаешь? Личности-то разные бывают. Одни хотят творить, создавать, исследовать, помогать людям, а другие... Впрочем, скажу твоими словами из второго письма. «Я имел в неделю тысячу рублей, а если я буду даже хорошо работать, я буду иметь 200 рублей в месяц. Где же логика?» — недоумеваешь ты.

И опять: какая логика? Чья логика? Логика, к твоему сведению, тоже разная бывает. Ведь ты сам пишешь, что схема «работа — дом — семья» меня не устраивает, слишком однообразно и скучно. Хочется увидеть и горы Кавказа, и тундру, и тайгу. А с семьей разве это возможно?» Но ведь люди летят в космос и возвращаются к своим семьям — все дело в том, каков ты сам и какова твоя семья. Люди отправляются пешком к Северному полюсу — зачем? Чтобы доказать свою личность? Люди годами исследуют проблему Тунгусского метеорита, поднимаются к огнедышащему кратеру вулкана, люди едут и в тайгу, но не затем, чтобы просто взглянуть на нее, а чтобы строить там БАМ, подобно тому как люди лечат, спасают людей, люди учат людей, но они все это делают во имя чего-то, во имя каких-то высших целей...

Ты просишь убедить тебя в том, что «лучше 11 месяцев в году работать, а один отдыхать, а не наоборот». Единственно, что могу привести в доказательство, это

жизнь свою — мне 80 лет, и я все время работал и в этом видел радость жизни...

Но разве может все это убедить неубедимого эгоиста? Еще раз прошу понять: это — не ругань, это — анализ. Люди разные. Позиции разные. Цели разные. А именно это главное — цели. Во имя чего живет человек и какими нравственными мотивами он руководствуется.

Иногда ты чувствуешь шаткость своей позиции и грозящие тебе беды. «Сейчас я уверен, что такая философия кончается хорошим сроком»,— пишешь ты. Да разве в «сроке» дело? Кстати, помнишь: «Поначалу переступить порог закона страшно, но потом...»

Мне кажется, что где-то здесь мы совершаем крупную общественно-педагогическую ошибку, выдвигая главным и чуть ли не единственным критерием в оценке поведения формально-юридическое понятие: человек и закон. А совесть? Ведь есть же та нравственная категория, которую Лев Толстой определил как высший и авторитетнейший критерий человеческого поведения, назвал ее «верным руководителем жизни людей».

Ответственность не только перед законом, который подчас можно обойти и обмануть, а перед собой, перед своей человеческой сущностью — вот что такое совесть. Но для этого нужно еще сознание этой своей человеческой сущности как носителя нравственных основ, устоев, выработанных тысячелетиями человеческой истории... Вот о чем, следовательно, нужно прежде всего вам, а вместе с вами и нам, думать — о повышении и перестройке нравственного сознания, о формировании того «личного судьи», который удержит вас от дальнейших, может быть, еще более тяжких преступлений...»

Здесь я не могу не коснуться важнейшего вопроса о роли эмоциональной культуры в формировании и развитии человека.

Наш известный ученый, работающий в области физиологии эмоций, П. В. Симонов, в ответ на мои какие-то статьи прислал мне свою книжечку «Болезнь неведения», с теплой надписью: «Г. Медынскому — одному из пионеров исследования человеческих мотивов, с уважением и благодарностью».

Эпиграфом к этой книге он взял слова Спинозы: «Не смеяться, не плакать, а понимать». Исходя из этого, он и строит свое рационалистическое толкование эмоций:

«Скажем прямо: а нужны ли вообще эмоции для ра-

зумного и целесообразного поведения? Не представляют ли они некий пережиток минувших биологических эпох наподобие отростка слепой кишки? Мы ответим на поставленный вопрос со всей определенностью: эмоции не нужны, если животное или человек располагает *полным знанием* того, что им надо делать для удовлетворения своих насущных потребностей. Эмоции важны и необходимы, если этих знаний нет или они оказываются недостаточными».

Эту книжечку я, по его просьбе, послал В. А. Сухомлинскому, и он с большой благодарностью возвратил мне ее, сделав в ней одно-единственное замечание именно в этом месте: «Это неправильное суждение об эмоциях». Его собственное и, по-моему, тоже правильное суждение об эмоциях выражено у него в лучшем, на мой взгляд, его произведении «Рождение человека», где мировоззрение человека характеризуется как «личное его *отношение* к истинам, закономерностям, фактам, явлениям, правилам, обобщениям, идеям».

Итак, эмоции — это не аппендикс, это — отношение, оценки, критерии, это — «нравится — не нравится», «хорошо — не хорошо», «красиво — не красиво», это — наполнение и звучание души. Отсюда — воспитание эмоциональной сферы как основа нравственной культуры, начиная с ее первородных проявлений: любовь к матери, к дому, к дереву и к вечному труженику — муравьишке.

«Я усматривал важную воспитательную задачу в развитии высоких и в предупреждении низменных чувств. Характеризуя те или иные чувства, я старался раскрыть единство эмоциональной и моральной сфер».

«Отражение знаний в эмоциях — важное условие перехода знаний в убежденность и мировоззрение. Эмоциональное состояние имеет огромную возвратную силу влияния на ум, на всю интеллектуальную жизнь подростка».

«Честь» еще не выходила в свет, но одна глава из нее была прочитана по радио, глава о том, как Антон, в поисках выхода и какой-то нравственной опоры, поехал в Ростов, к отцу. Что из этого вышло, читатели могут узнать из самой книги. Главу эту мы с Марией Никифоровной слушали в вагоне поезда по пути в санаторий, а вернувшись домой, я получил письмо.

«Здравствуйте, Григорий Александрович! Сейчас прослушал передачу по Вашей повести «Честь». Меня очень взволновал эпизод встречи Антона с отцом. Я вспомнил про свою встречу с моим отцом, когда я тоже, решив порвать со своим не совсем хорошим прошлым, уехал к отцу, который жил в Смоленске... До приезда я написал отцу письмо, в котором все ему описал. Но первые же слова отца были: «Зачем ты приехал? Убирайся отсюда!..» В конце концов он выставил меня за дверь».

Письмо было большое и заканчивалось припиской:

«Я даже сам не знаю, почему я Вам написал это. Просто рассказал Вам про тяжесть, которую мне одному носить не под силу».

Тронутый искренностью и душевностью письма, я ответил, и у нас завелась с этим молодым человеком длительная откровенная переписка, в ходе которой все больше и больше раскрывалась болезнь его души — слабоволие:

«Я такой — куда позовут, туда и пойду». Как это сказано у Некрасова: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано».

Но «порывы» были, и, используя их, мне многого удалось достичь: парень одумался, поступил в институт, вступил в комсомол, и все шло хорошо. Потом он был у нас на даче в гостях, мы его хорошо приняли и очень подробно и обстоятельно поговорили. Уехал он довольный и, кажется, спокойный. И вдруг — письмо:

«Не знаю, как начать!

Вы помните наш разговор у Вас на веранде? И вот, когда я поехал домой и сел в Москве в поезд, я стал о многом думать и многое еще вспомнил. И я решил, я обязан Вам все рассказать; ведь был случай, когда я хотел убить одного лейтенанта. Я всю ночь тогда думал об этом, и эта мысль не давала мне покоя. Проснулся — и опять то же самое, те же воспоминания. С тех пор я хожу сам не свой. Меня пронзила мысль — совесть. Вы понимаете, ведь я сам, сознательно шел на все. Меня не сманивали. Нет, все сам, по доброй воле. Мне никто не грозил. И Вы представляете, я сознательно шел на убийство. Что же это такое? Почему? Ведь меня правильно воспитывали в школе и дома. Почему же я так морально опустился? Не знаю. Да, я многого еще не понимаю. Я никогда не задумывался над тем, что делал. Никогда.

На всю жизнь запомнил я этот случай. Я, видите, даже писать ровно не могу: рука трясется. И вот с тех пор мне нет покоя. Нет, я не убивал, я никого не убил и не ограбил. Но почему меня сейчас мучит совесть? Значит, это совесть просыпается во мне. Но почему она раньше не проснулась? Где она была? Почему спряталась? Возможно, и то, что я стал краснеть,— это тоже совесть?

Почему я дошел до этого? Почему? Ведь в жизни все было для меня, мне. А я хотел убить человека совершенно ни за что, из-за пистолета. И только какая-то добрая сила удержала меня в последний момент: я вспомнил, как этот лейтенант прощался с девушкой, возле кино.

Нет, сейчас это для меня немыслимо. Вот она какая, совесть! Нет, я кончаю, я не могу больше писать. Да, «счастье вслед за совестью идет», как написала Вам та девушка из Брянска. Аж голова заболела.

Большой привет Вашей замечательной Марии Никифоровне.

Очень жалею, что я не раскрылся Вам до конца во время нашей встречи. Может быть, легче было бы.

Эх, черт возьми! Если говорить правду до конца, так слушайте! Мне предлагают еще одну авантюру с выгодой в 20 рублей, но я не решаюсь и не должен решиться, если только не сойду с ума.

На этом действительно кончаю. Только, пожалуйста, напишите ответ скорее. Ваши письма мне очень помогают. Возможно, я на днях и успокоюсь и напишу еще».

Чем не болезнь? Настоящая болезнь духа.

А вот мой ответ:

«Ну, Виктор, скажу откровенно: я тоже не знаю, с чего начинать.

Первым чувством было негодование и ужас, негодование на тебя и ужас вообще. Значит, действительно в людях есть что-то неисправимое и безнадежное — это ужасно! Это подрыв всего, во что я верил, на что я, не жалея, тратил свои последние стариковские силы. Ведь я старик, я преспокойно мог получать пенсию и жить просто так, ни о чем не думая. А я вожусь с одним, с другим, с третьим, я выслушиваю сотни клятв, воплей и заверений. А думаешь, это легко? Ты знаешь, иногда хочется плюнуть на все и пойти в кино или просто пойти погулять со своей Марией Никифоровной, но вот... Вот предо мной новая пачка писем. Что с ней делать? Верить или не верить людям? Можно добром победить зло

или его нужно давить, уничтожать силой, порождая этим новое зло? Вот о чем идет речь.

Я до сих пор верил, что я делаю нужное и полезное дело, и ты, ты был одной из опор этой веры, и Саша Пшенай, переписку с которым ты у меня читал, и девушка из Брянска, и ряд других. И вдруг... Нет, это просто не вмещается в душу! Наваждение какое-то!

Преодолеть все, добиться вуза, учиться, увидеть раскрывшиеся горизонты жизни и вдруг на все на это опустить черное покрывало... «Черное крыло жизни»,— как ты когда-то писал.

Нет, я просто не хочу и не могу этому верить! Ты просто не в своем уме! Это просто предательство! Предательство себя, предательство меня, а главное — предательство всего, что есть хорошего на свете, самых лучших и чистых идей. Значит, человек действительно зверь и в любую минуту ни с того ни с сего может полететь, как говорил Достоевский, вниз головой и кверху пятками.

Нет, это не может быть, Виктор! Оглянись и одумайся.

Видимо, ты очень большой груз душевный взял на себя своим признанием, и потому заговорила твоя взбунтовавшаяся совесть. Она взбунтовалась против твоих же собственных грехов. Но зачем же лететь «кверху пятками»? И как ты мог вести какие бы то ни было разговоры о каких-то авантюрах? Ты же знаешь, что значит эта «авантюра». Как ты смел?

Одним словом, Виктор, возьми себя за уши и вытяни, и встряхни, и поставь, сам себя поставь на ноги. И ни на кого не надейся — никто, кроме тебя, этого не сумеет сделать. А там смотри. Ты хозяин своей жизни и можешь все пустить под откос, но помни, что жизнь дается человеку один раз».

Его ответ:

«Здравствуйте, дорогой Григорий Александрович! Теперь вот я не знаю, с чего начать, получив Ваш ответ на мое «сумасшедшее» письмо. Может быть, мне не нужно было его писать. Я прочел раз пять подряд Ваш ответ и остро осознал, сколько горя принес Вам.

Нет, люди исправимы, и безнадежных нет. Верьте в это, Григорий Александрович! Если человек встал на ясный путь, если он видит цель своей жизни, если он сердцем, душой осознал, где хорошо, а где плохо, трудно, а вернее, невозможно сбить его с пути... А людям нужно

верить. Вы знаете, какой прилив добрых чувств испытываешь, когда тебе верят! Доверием и добром можно победить зло в человеке, у одного, может быть, быстрее, у другого медленнее. Правда, в иных случаях нужна только сила, подавление. Но таких случаев чрезвычайно мало».

А вот как раз один из этих случаев, крайних случаев, подавления силой, случай уникальный, но страшный в этой своей уникальности: письмо без подписи. Прислано оно было в издательство с такой же анонимной сопроводительной запиской: «Если вы знаете адрес писателя Медынского, прошу переслать ему это письмо. Если не знаете — уничтожьте».

И вот оно, этот человеческий документ:

«Здравствуйте, уважаемый Григорий Александрович!

Сегодня третий раз закончил перечитывать Вашу «Трудную книгу».

Большое Вам спасибо за книгу, за то, что Вы живете на земле. Ужасно сожалею, что никогда раньше ничего не читал из Ваших произведений. И вот сейчас, когда *жить мне осталось совсем немного,* как бы для подведения итога жизни, мне вручили Вашу книгу. Читаю и на каждой странице вижу себя. Больше всего поразило то, что Вы знаете уголовный мир с его всеми красками так, как не может знать его человек, всю жизнь проведший в заключении.

Но главная причина, побудившая написать Вам, это Ваша помощь мне разобраться в самом себе, найти корень зла, приведшего меня к столь глубокой пропасти. Читал и видел всю свою жизнь, а самое главное, нашел то, чего не мог найти. Видимо, плохо искал, да и искал ли вообще. Благодаря Вам я сейчас *выйду на расстрел с твердым убеждением, что я это заслужил сполна.* Раньше я думал несколько иначе, и за некоторые мои выражения в прошении о помиловании мне сейчас стыдно. Поверьте, мне, с 15-ти лет попавшему в тюрьму, в 24 признанному особо опасным рецидивистом и приговоренному к расстрелу, как у Вас сказано, человеку с обмороженными глазами, стыдно.

Я написал прошение о помиловании, и там есть такое выражение:

«Прошу оставить мне жизнь, ибо тяжкое преступление я совершил впервые». Сейчас только я понял, что это *впервые* выглядит как своего рода заслуга. Да и вообще, наряду с подлецом, я, оказывается, еще и глупец.

Извините, пожалуйста, кажется, начинаю философствовать, а начинал писать не для этого.

Еще раз большое Вам спасибо. Жаль, что не во всех библиотеках колонии есть Ваши книги.

Саша Пшенай в «Трудной книге» писал Вам, что он «курицу не мог обидеть». Да, когда-то это было и у меня, Я даже пробовал писать стихи. Если Вас не затруднит, прочтите одно до конца:

Отбирали жизнь у клена.
Грыз топор податливое тело.
Как живая вздрагивала крона.
Дерево так жить хотело...

Но рука убийцы не дрожала.
Вот и совершила взмах последний.
Треск как крик!
И дерево упало
В молодой ковер травы весенней.

И сейчас стоит перед глазами,
Как еще зеленую листву
Рыжее костра сжирает пламя,
Сок, как кровь, стекает на траву.

Люди! Почему вы так жестоки?
Почему ваш окровавлен меч?
Почему чужие пьете соки,
А свои стараетесь сберечь?

Не прошло и десяти лет, и я сам стал убийцей. И убил не дерево, а человека. Почему я это сделал и откуда взял начало этот кровавый ручей, я понял только сейчас. И в основном благодаря Вашей книге. Появлялись подобные мысли и раньше, но они не находили поддержки, опоры и гасли.

«Иждивенческая психология» погубила и меня и еще одного молодого заключенного — активиста, *моими руками.*

Григорий Александрович, извините еще раз. Хотел написать несколько слов благодарности, и все, но вот, видимо, желание высказаться заставило написать столько. Да, и весна волнует сердце. За решеткой началась капель — это моя 26-я капель — родился весной.

Обидно, ох как обидно за самого себя, но ничего не сделаешь. «Око за око, кровь за кровь».

Еще раз большое спасибо Вам.

От всего сердца желаю Вам, Григорий Александрович, и Вашей семье всего самого наилучшего.

С огромным уважением к Вам и Вашему труду еще один преступник».

Мы ничего не знаем и ничего уже не узнаем об этой человеческой сущности. Ясно одно, что это был человек недюжинный, и, может быть, из него получился бы неплохой поэт, но... Какая же болезнь, какая чума, какая проказа погубила его? Болезнь духа. Потому что только дух — человеческий дух! — мог так все переплавить в себе и переоценить все ценности и все судьбы, составившие книгу, которую *вручили* ему на грани его жизни, у последней черты, не для утешения, как библию когда-то, а для *осмысливания*. И он все осмыслил, но, к сожалению, когда уже все было поздно.

И тут я не могу не вспомнить один из... если не истоков, то притоков «Трудной книги».

Где-то в начальной стадии работы над ней мне пришлось присутствовать на интереснейшем сообщении московского адвоката Светланы Михайловны Буниной, когда она в кругу коллег рассказывала об опыте своей работы, как в течение ряда лет ведет переписку с заключенными, сначала с теми, кого ей пришлось защищать в судах, а потом со всеми, кто к ней обращался. Она разбиралась в их судьбах, давала советы, посылала книги и вообще помогала людям стать на ноги.

И таких подшефных в тот момент у нее было почти сотня (точнее — 96), и один из них, когда-то заключенный, а теперь рабочий, коммунист, рассказывал о роли Светланы Михайловны в этом своем преображении.

И я помню, с каким волнением, с какой болью душевной она закончила свое выступление:

— Нет, вы подумайте. Разбой, поножовщина, даже убийства. В чем дело? Откуда это? Ведь сидят перед тобой хорошие на вид, умные ребята. Ребята как ребята. Работали, учились, были сыты, одеты, обуты, ходили в кино, даже в театры и... грабили. «Нужны были деньги

на водку». И кто придумал эту водку? Как я ненавижу ее за то, что она губила и губит людей. И вот эти ребята, которые сидят передо мной,— тоже. Один из них получит, видимо, летальный конец. Глазищи серые, большие. Нет, это ужасно! Нужны какие-то силы, добрые силы, чтобы остановить нашу молодежь, не пускать ее на эту страшную дорогу.

МЕЖДУГЛАВИЕ ВОСЬМОЕ

Тяжко... Хотя были и радости. Без радостей нельзя. «В чем источник Ваших духовных сил для той нелегкой борьбы за настоящего человека, которую Вы ведете, и бывают ли у Вас минуты отчаяния?»

Это спрашивает военнослужащий срочной службы, как он себя представил, Анатолий Лящевский. Спасибо ему! Хотя для ответа на это письмо я, откровенно говоря, долго не находил слов и достаточного понимания. Теперь, пожалуй, отвечу.

Минут отчаяния не было. Были приступы боли, жалости, тоски и гнева. А что касается источника духовных сил, я позволю себе ответить словами нашего прекрасного поэта Василия Федорова из его поэмы «Седьмое небо»:

Моей бедой,
Моей отрадою
И даже смыслом бытия,
Моей единственной наградою
Была возвышенность моя.
. . . . . .
. . . . . .
В огромный,
До конца непознанный,
Страстями полный до краев,
Хочу я в мир, не мною созданный,
Внести красивое,
Свое.

Возвышенность мысли как источник силы и радости — это великолепно. И я полностью понимаю поэта.

...А вот другое письмо от человека с совершенно другою судьбою, от того самого, который до 25 лет катился по жизни, как пустая бочка, и вдруг прозрел, а прозрев, огляделся кругом, и ему стало противно и страшно. И он пожалел меня:

«Вы посвятили всю свою жизнь поиску алмаза в грязи, поиску той крупицы неутерянного в человеке, за которую можно уцепиться, взрастить ее, и если удастся это, то получить бесценный результат — человека. Трудно очень, благородно, но если не будет вышеуказанных людей, то книгу сочтут вымыслом».

Это он писал о «Чести». После этого я послал ему «Трудную книгу», где одни факты, документы и факты, и никакого вымысла. Но мысль о том, что из крупиц неутерянного можно «взрастить бесценный результат — человека», меня тронула.

...На письменном столе под толстым стеклом у меня разместилась целая фотогалерея: фотографии людей, детей, которые когда-то и как-то прошли через меня, через мою работу, через мою душу и оставили после себя зримый след — «на память». Это затея моей Марии Никифоровны и ее ««хобби»: время от времени она пересматривает эту галерею, что-то перекладывает, перемещает — или заменяет одну фотографию другой.

Я сначала подтрунивал над этой затеей, потом постепенно привык, и в конце концов она мне стала нравиться: я смотрю на эти знакомые-перезнакомые лица, и «прошлое проходит предо мною, волнуяся, как море-океан».

Вот «Егорка Бугай», тот самый, который приговорен был когда-то к расстрелу и помилован М. И. Калининым; тот самый, который в стремлении «доказать себя» отморозил на обеих руках все десять пальцев; который потом, когда я с ним познакомился, в усилиях доказать свою невиновность держал голодовку и который в большом нравственном смысле, как я затем выяснил, действительно был... во всяком случае, не так, не настолько виновен, чтобы получить 15 лет заключения; за которого шла потом долгая и упорная борьба, в результате чего ему был снижен срок до 9 лет, он был из дальних северных краев переведен в другую, лучшую колонию, ближе к Москве, куда к нему приехала жена, вернее, женщина, решившая быть его женою. И вот на фотографии мы втроем, там же, во дворе колонии, которая предоставила им по этому случаю специальную комнату для «личного», «интимного» свидания: он и она, «жених» и «невеста», а посредине я в роли свата или посаженого отца. С этого началась их совместная жизнь. А рядом — уже семейная фотография: отец, мать и двое детей, дочь и сын, которых не было бы на свете, если бы не годы борь-

бы за этого человека, который потом пятнадцать лет проработал на шахте без всяких преступлений и нарушений.

Разве это не радость?

...Вот Сашка Пшенай. В «Трудной книге» ему посвящена целая большая глава, «философ», как мы его звали в своем семейном кругу, дважды судимый, один раз за свою глупость, другой — за подлость председателя колхоза. Большая и трудная история, в которой он, в знак протеста, готов был пойти на крайние, отчаянные меры: «Пусть из волчонка растет волк». И вот опять семейная фотография: отец, мать и двое детей — дочка, окончившая музыкальную школу, и сын, которых тоже не было бы, если бы из волчонка вырос волк. И сам он теперь уже много лет работает мастером-наставником в ПТУ, и любит своих «сорванцов», и страдает об их судьбах, и пишет мне в письме: «Сейчас читаю все о воспитании от «Домостроя» и «Поучений князя Владимира Мономаха детям» до Сухомлинского и высказываний видных людей о нравственности и воспитании (Белинский, Одоевский, Ушинский и т. д.). Интересно все это!»

Разве это не радость? Разве не ценность?

А вот молодой и счастливый отец с улыбающимся тоже сынишкой на руках. Еще в школе он вступил в преступную компанию с «романтическим» названием «господа удавы», но вовремя одумался — тут опять была большая и долгая история,— а в результате он прошел армию, вступил в комсомол, потом в партию, после армии закончил Московский университет, женился на научном работнике, преподавательнице вуза, и вот он с сынишкой, которого во имя Антона Шелестова, из моей «Чести», назвали Антошкой.

Разве это не радость?

...Вот Алик Федоров, которому в «Трудной книге» отведено тоже немало страниц. Молодой парень, юноша, только что кончивший школу, умница, скромник, романтик, и был прямо на улице, при людях задержан за совершенную якобы попытку изнасилования, задержан по указанию развратной твари, которая этим хотела прикрыть свои «грехи». А так как она была дочерью начальника милиции, то в ход был пущен весь аппарат власти, чтобы доказать недоказуемое. И «доказали». И осудили, как насильника.

Но тогда вступилась «Литературная газета» и ее представитель, покойный ныне писатель Константин Лапин, вступился коллектив учителей, коллектив учеников, комитет комсомола и, в конце концов, я и Борис Полевой, и только так, и только тогда, в результате долгой и упорной борьбы, удалось пробить и сломить железобетонную и неприступную крепость, круговую оборону, деликатно именуемую «честь мундира», и реабилитировать человека, снять, смыть с него незаслуженно позорное и гнусное пятно. Полностью!

Несмотря на такую травму, вернее, драму, в результате которой от него отказалась даже любимая девушка, парень устоял, окончил университет, стал врачом, женился на медицинской сестре, и вот у меня на столе, под стеклом, фотокарточка: они веселые, счастливые, в «подвенечном», свадебном наряде, а рядом другая — фотография их дочки. А вот и они сами, в натуре, все втроем, сидят у нас за семейным чайным столом.

Разве это не радость?

...А вот человек, получивший в результате формального крючкотворства в те же годы неимоверный срок — 25 лет и звание опасного рецидивиста и в виде отличия — полосатую униформу. У меня есть его портрет в этой форме —потрясающе!

Но человек не опустился, стал читать, откликнулся сначала на мою «Повесть о юности», а потом на «Честь» большими и умнейшими письмами, анализами и размышлениями, которые передавала мне его убитая горем мать.

Эти письма я при случае передал генералу, начальнику Главного управления мест заключения, и тот настолько заинтересовался и письмами и личностью их автора, что принял самое горячее участие в судьбе этого человека, в результате чего он был помилован, получил в Москве прописку, комнату, работу и, работая плотником, долгое время красовался на Доске почета.

Жениться ему не удалось, но на фотографии он сидит на лавочке, под кустом сирени вместе со своей старой матерью, оба живые и веселые.

Разве это не радость? Разве это не счастье?

А вот еще... И еще... Впрочем, может быть, это нехорошо, что я все это пишу? Хвастовство? Но после всех

трудных, иной раз неимоверно тягостных дел и ситуаций мне тоже хочется немного радости.

Пусть это «крупицы», маленькие, почти незаметные в бешеном круговороте жизни, но все равно — значит, в нашем громыхающем, развороченном и немилосердном мире на эти ничтожные крупицы увеличился общий потенциал добра.

А это значит, что я не зря прожил жизнь. И пусть я не дописал пять или сколько-то еще романов, но пусть это зачтется мне на последнем «страшном» суде общественной совести по закону, высеченному на памятнике доктору Гаазу: «Спешите делать добро».

Да не сочтут читатели за хвастовство, если я добавлю ко всему этому и еще одну переписку.

В порядке подготовки ко Второму съезду писателей мы, группа литераторов (В. Шкловский, Друзин и кто-то еще), ездили в Карелию и там в Петрозаводске я познакомился с писателем А. М. Линевским. Это знакомство переросло в многолетнюю дружбу, переписку и изредка — личные встречи. Одна из этих встреч состоялась у нас на даче, когда он прожил у нас два или три дня и познакомился с моими архивами. И теперь, узнав, что я работаю над своими воспоминаниями, он напомнил об этом:

«Ваши мешки с письмами криком кричат о многом и многом. Эти мешки не выходят у меня из головы. Так страшно, если эти стоны уставших душ попадут в холодные руки ловкачей.

В темную ночь жизни Ваших корреспондентов Вы, как фонарем, светили им, помогая найти цель в их будущем.

За годы, когда Вы взяли на себя обет помогать крепить и выводить на дорогу множество тех, кто взывал о помощи, развилось и накопилось *«искусство помогать»*.

Это своего рода наука, которая будет еще долго-долго, что называется, актуальна. Проступки и юстиция из общества не исчезнут. Ваш опыт в развитии своего рода тактики общения — вот что нужно потомкам.

Об этом я пишу Вам многие годы...

Самый сердечный привет вам обоим, не обижайтесь за неуместное «нравоучение» и самовольно взятую роль «советника».

Всегда Ваш *А. Линевский»*.

Мой ответ:

«Дорогой Александр Михайлович!

Я глубоко Вам признателен за то, что, восприняв сердцем всю мою проблематику почти как собственную, Вы не давали мне потом покоя своими вопросами, напоминаниями, почти требованиями не успокаиваться, не забывать и, памятуя о быстротекучести жизни, не медлить. Признаюсь, что мне казался в этом некоторый перебор.

Но потом, вдумавшись, я почувствовал в Ваших словах некую объективную правду и зерно истины. Да и словечко для этой истины Вы подобрали, пожалуй, подходящее: «искусство помогать», расшифровав его далее как «тактику общения» и даже как «своего рода науку». Ну, насчет «науки» — это, пожалуй, тоже перебор, тем более что эту «науку» и это «искусство» я никак не отношу только на свой личный счет, зная, и не в единственном числе, людей, принимающих и выполняющих тот же обет «крепить и выводить на дорогу тех, кто взывает о помощи», т. е. святой обет человечности.

Да, мы слишком много и слишком долго, на мой взгляд, полагались на переустройство внешних — экономических и социальных — условий бытия и недооценивали роль и значение духовного начала, не только общественного, но и личного, несущего в себе наследие тысяч и тысяч поколений. Вот почему высказанной Вами мысли я бы придал широкое значение общественного, если хотите, даже эпохального звучания. Хотя слишком страшно, конечно, и очень ответственно звучит это слово, потому что уж очень через многое и многое пришлось перешагнуть нашей поистине великой эпохе на пути к поставленным ею целям.

Ей пришлось перешагнуть и через нравственные поиски и муки Достоевского, и через неясного, но светлого «бога внутри нас» Льва Толстого, отмахнуться от «благоговения перед жизнью» Альберта Швейцера и не заметить «Взаимопомощь, как фактор эволюции» Кропоткина Петра Алексеевича, не говоря уже о христианстве, с его идеей добра и любви к человеку. Зато нам пришлось пройти полный и очень основательный курс «науки ненависти», временами несомненно нужный и исторически оправданный, но оставивший немалые отметины в душе человечьей.

Мы рождены в мятежный век.
Он шел гигантскими шагами,
И кровь лилась миллионом рек
Под беспощадными ногами.
Все для людей, все против них —
Науки, знания, машины,
И сумасшедшие картины,
И бесноватый грозный стих.

Не ищите эти строки в антологиях поэзии — это голос «простого человека», но думающего, одного из моих корреспондентов, почти такой же давности, как Вы, с письмами и стихами которого Вы, возможно, знакомились в тот самый, так поразивший Ваше воображение, приезд к нам. Это — Константин Качанов, инженер, строитель, мелиоратор районного масштаба, обозревающий тем не менее в своих поэтических «Раздумьях» всю нашу грозовую эпоху.

И я с ним согласен: «Наш путь тернист, наш путь кремнист», его нужно было пережить и осмыслить.

Но, пожалуй, лучше всего лирический итог этих моих настроений выразят как нельзя более созвучные им строки того же авторства:

Иду сквозь Зло к Добру,
Без хныканья и слез,
И радостей еще
Немало мне осталось.

Хочу лишь одного:
Чтоб людям я донес
Рукопожатие, тепло,
А не усталость».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

НРАВСТВЕННОЕ НАЧАЛО

Проблема неохватная, нуждающаяся в глубоком и всестороннем исследовании и осмысливании, особенно в наше время падения исторически сложившихся мотивов человеческого поведения. Но здесь я ограничусь только одним — моим выступлением на эту тему на заседании «круглого стола» в Институте философии, опубликованным в журнале «Вопросы философии» (1973, № 12).

«Мне кажется, что в программе нашего «круглого стола» и в ходе развертывающегося разговора непрости-

тельно мало уделяется внимания вопросам воспитания, и тем более нравственного воспитания.

Вопросы эти, конечно, не новы, а я не философ, не теоретик и ни на какие открытия не претендую. Но, как писатель, я нахожусь в непрерывном, многолетнем общении — и личном и письменном — с людьми, притом с очень разными, людьми разных судеб и положений, настроений и концепций. Это дает мне возможность наблюдать процессы, протекающие в жизни. Именно об этом я хотел бы здесь сказать.

Для многих писем, которые я получаю, очень характерны настроения озабоченности, гражданской тревоги. Речь идет о коммунизме, его близком или далеком осуществлении, а это вопрос вопросов. Это проблема будущего нашей страны, нашего народа, а вместе с тем и всего социального прогресса человечества.

Говоря о всеобщем образовании, мы имеем в виду, что школа является, кроме прочего, и нравственным фильтром и обязана быть фильтром качественным.

Но на производстве хорошо знают, что после школы к ним приходят молодые люди, которых зачастую нужно перевоспитывать. Такое положение недопустимо, и выращивание сорняков среди огромной клумбы цветов не может не тревожить всех нас, строителей коммунизма.

Не буду нагнетать краски и говорить об этих «сорняках среди клумбы цветов», о фактах хамства, хулиганства и прямых преступлений, о которых много говорится в письмах ко мне. Но не могу не отметить самого главного и существенного, что за всем этим стоит.

«При всем многообразии случаев духовных трагедий среди молодежи их объединяет одна общая нить. Это общее — потребительское отношение ко всему окружающему,— пишет геолог М. А. Коноплянцев из Казахстана.— Мне не хочется проходить мимо существеннейшего вопроса о глубинных причинах явлений... без обнаружения которых немыслима победа в борьбе за нашу молодежь».

Серьезная, гражданская постановка вопроса! И дальше — анализ:

«Прежде в крестьянских семьях все трудности жизни дети делили с родителями. Они не только видели, каким трудом достается кусок хлеба, но и сами вместе с отцом и матерью добывали его. С ранних лет они были

участниками всей жизни семьи и разделяли со взрослыми и радости и горе. Они знали, «почем фунт лиха», и привыкали этот «фунт» ценить, привыкали уважать труд, уважать старших по труду —родителей, а раз так, то они ненавидели легкомысленное отношение к труду и разного рода тунеядцев, пользующихся результатами их труда. Такой человек уж никогда сам тунеядцем не станет, он стоит на твердых ногах».

Тов. Родигин из Ленинграда как бы продолжает письмо тов. Коноплянцева: «Положение в корне изменилось после построения социализма. Теперь приходится иметь дело с детьми, выросшими в условиях обеспеченной жизни. А так как трудовое воспитание с раннего возраста пока не организовано, то у детей вырабатывается иждивенческое мировоззрение в форме привычки, например, иметь хлеб, масло, фрукты и многое другое без личного участия в сельскохозяйственном, а то и вообще труде». И далее:

«Октябрьская революция уничтожила частную собственность на средства производства. Естественно, такие изменения в целом обществе должны были вызвать перестройку и его семейной молекулы. Реальная жизнь подтверждает неумолимую силу этого процесса. Общественная собственность на средства производства и общественный характер труда ликвидировали частное домашнее производство, лишив его былой основы. В результате семья как хозяйственная единица перестала быть производственной единицей, превратившись в снабженческую.

Семья обеспечивается родителями, которые получают зарплату, участвуя в общественном производстве. Экономически члены семьи связаны общей квартирой, расходованием готовой зарплаты и мелким домашним имуществом. Все это порождает новые противоречия, связанные с изменением и даже потерей экономической базы трудового воспитания детей в домашних условиях.

Эти противоречия заключаются в том, что такая потребительская семья не создает условий для повседневного производительного труда, необходимость и результат которого понятны ребенку и, следовательно, воспитывают в нем нравственное чувство. Тем более если он слышит, что «в нашей стране ребенок сыт, одет, обут, в школе его обслуживают много людей, дома ему созданы все условия для занятий» и т. д. и т. п. В результате форми-

руется домашний паразитизм, который пора уже рассматривать как нравственное убожество».

«Такие дети привыкают понимать свою роль только как потребителя тех благ, которые предоставляют им родители, в труде которых они не участвуют и обычно даже ничего не знают о нем».

Подведем итог словами из письма того же казахстанского геолога:

«Если хочется есть — их накормят, захотелось в кино — «мама, дай», потянуло на танцульку — «мама, дай». Все очень просто: «дай» — и получишь. А если нет, можно учинить скандал и потребовать: «Мама, ты должна мне дать, обязана». Начинается в вузе, стипендии не хватает, и родители также обязаны помогать, иначе и быть не может. Вот и готов потенциальный тунеядец...

Я знаю, что во всем этом есть преувеличения и перегибы,— заканчивает он свои размышления,— но подумать об этом нужно».

Вот в этом самое главное: нужно думать. И не будем пугаться допущенных преувеличений и перегибов; конечно, тот процесс, о котором здесь говорится, не всегда и далеко не всегда протекает в таком обнаженном виде и приводит к таким результатам —тут вступают в силу другие факторы, и прежде всего то нравственное воспитание, о котором у нас и идет речь.

При ближайшем анализе само понятие нравственного воспитания расчленяется на три аспекта: что воспитывать, как воспитывать, что мешает нравственному воспитанию? И этот третий как будто бы негативный аспект на деле является сугубо позитивным и, может быть, самым главным, потому что без осмысления и устранения препятствий цель недостижима — ни вообще, ни в данном случае. А наша задача — найти в недрах нашего общества, в его духовной атмосфере нравственные силы, корректирующие отмеченный и необратимый социально-экономический процесс деформации семьи.

Мощному влиянию этих стихийных факторов мы должны противопоставить силу сознания, идеологии, нравственных принципов, лежащих в основе нашего общества, сделать их сильнее и победить.

Вот в чем острота проблемы. Вот почему вопросы нравственности приобретают у нас первостепенное, общественной и государственной важности значение.

А между тем в этих вопросах у нас есть еще много неясного, дискуссионного, нуждающегося в доосмыслении, а в чем-то, может быть, и переосмыслении.

Что такое материальные и моральные стимулы? Каковы их взаимоотношения, взаимодействие? Что такое нравственность? Совесть? Каковы границы и степень их влияния на ход жизни? Какова степень и в чем истоки их императивности, без которой нравственность как таковая теряет свою силу, смыкаясь с прагматизмом, релятивизмом и беззастенчивым утилитаризмом (у каждого своя совесть, кто как хочет, так и живет)?

Вот и начинает каждый мудрить по-своему.

«Нравственность вытекает из соответствия производительных сил и производственных отношений».

«Воспитание должно быть экономически обоснованным: с одной стороны, соответствовать социально-экономическим условиям жизни общества, с другой стороны, при наименьших затратах рабочего времени приводить к наилучшим результатам».

«Моральные стимулы существуют при социализме только (так и написано: «только»! — *Г. М.*) в связи с материальными».

«Вся (так и написано: «вся»! — *Г. М.*) идеальная сущность морального стимулирования связана с материальной заинтересованностью».

Все это пишется у нас в книгах и солидных журналах. А ведь Энгельс в письме к Блоху, признавая в конце жизни, что «Маркс и я отчасти виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует», говорит о необходимости отдавать должное и «остальным моментам, участвующим во взаимодействии».

А недавно мне пришлось беседовать с одним крупным работником крупного ведомства, с которым я давно знаком и пользуюсь с его стороны некоторой степенью доверия. И вот в порядке доверительности после разговоров о том о сем и сетований, что то не ладится, другое не ладится, речь зашла о нравственности, и тогда мой собеседник сказал:

— Вот мы насытим страну машинами ЭВМ, которые являются помощником человека. Тогда нам будет легче, управлять будет легче,— уточнил он свою мысль.

— Легче ли? — спросил я его.— А кто будет стоять у

аппарата? Кто будет давать сведения, исходные данные для машины? Не научим ли мы и машину врать?

— Нет, не научим.

— А куда мы денем сердце человеческое?

— Сердце — ненадежный инструмент. Мы заменим его машиной, и у нас все будет в порядке.

Какой административный восторг, какие нелепые упования на всемогущество бездушной ЭВМ, позволяющей из кабинета при помощи нажатия кнопки управлять непослушными сердцами человеческими!

А вот еще более нелепый и страшный призыв воинствующего обывателя — «изгнать из воспитательной работы ложный гуманизм под флагом свободы детям, любви к детям и любви к человеку».

Вот какие опасности стоят перед нравственным сознанием народа, и кроются они в самом понимании, в формулировках самого понятия нравственности. А как же быть тогда с Марксом? — «...чтобы, с одной стороны, очеловечить чувства человека, а с другой стороны, создать человеческое чувство, соответствующее всему богатству человеческой и природной сущности». Или: «...насколько стала для человека природой человеческая сущность. На основании этого отношения можно, следовательно, судить о степени общей культуры человека. Из характера этого отношения видно, в какой мере человек стал для себя родовым существом, стал для себя человеком и мыслит себя таковым».

Во всем этом кроется большущая, коренная проблема для всей нашей общественной, в том числе и философской, мысли. Нравственность — это не расчет, не исполнительность и не профессионализм, это — отношение, отношение к человеку, к людям, к обществу, и даже к природе, и к самому себе как ценности. Нравственность не функциональное понятие: передовой производственник, хороший ученик, примерный семьянин. Это коренное, материковое понятие (по Марксу, «человеческая и природная сущность»), самоопределяющее те или иные функции человека. Об этом говорил Маркс, об этом говорили все великие люди прошлого.

Сошлюсь на одного Пирогова, который, будучи крупнейшим медиком по профессии, был подлинным философом и в этике и в педагогике. Недаром в виде эпиграфа к его знаменитым «Вопросам жизни» стоит следующий диалог:

«— Кого ты хочешь воспитать из своего сына?

— Человека!

— Что ты? Разве это нужно нашему обществу? Нам нужны негоцианты, нам нужны солдаты, нам нужны инженеры. А люди нам не нужны. Это абстрактное понятие».

И дальше Пирогов, как известно, развивает свои мысли о том, что прежде всего нужно воспитать именно человека, который потом станет хорошим негоциантом, хорошим слесарем или солдатом.

Вспомним, что сказал об этом и Чернышевский:

«Воспитание главной целью должно иметь приготовление дитяти, потом юноши к тому, чтобы в жизни он был человеком развитым, благородным и честным. Это важнее всего. Заботьтесь же прежде всего о том, чтобы воспитанник стал человеком в истинном смысле слова. Когда это основное правило утверждено в нем, тогда — и только тогда, а не раньше — пусть он сам выбирает под вашим руководством специальную дорогу... Если вы будете поступать иначе, вы сделаете очень важную ошибку, следствия которой будут вредны и для вашего воспитанника и для общества».

Все это было сказано столетие назад, и все это стоит сейчас перед нами как одна из важнейших и острейших проблем. Это вовсе не значит, что дела якобы идут плохо. Наше общество эту проблему ставит как никогда широко, всеобъемлюще, стремится решить ее полно и глубоко.

«Чего не хватает советскому образованию — воспитания,— пишет читатель из Кустаная.— Когда этому будет конец, когда будет налажено? Нравственное воспитание должно стоять выше всех других и выше образования. Но его нет, и вот пустое место заполняется. У меня на глазах хорошая семья, из этой хорошей семьи сын окончил школу, окончил институт, а получился грамотный негодяй и образованный пошляк».

Вековой давности проблема обрастает нашим собственным, кровоточащим.

Вот мы десятилетия уже боремся с пресловутой процентоманией в школах, а читатель видит в этом не простое чиновничье упорство, а также фактор нравственного девоспитания.

«Учителя-практики на тысячи голосов умоляют: прекратите давить на совесть, разрешите оценивать ученика

по справедливости. Так нет же! Давай процент! Заговорили о качестве знаний, ввели контрольные, а старый лозунг оставили: «Переводи всех! Всеобщее образование». А ребята всё это видят, понимают, используют, и школа превращается в орудие развращения детей» (Приморский край. Учитель).

«Вы пишете об идеальных учителях. А у нас одна учительница так и сказала: «Школе не нужны гении, которые воображают из себя. Нам нужны пусть троечники, но рабочие ребята, которые сделают все, что им прикажут, и не будут обсуждать приказания». Сказано ясно. Жаль, что вы не поместили подобные слова в вашей книге, было бы хоть правдиво» (Таллин. Ученица).

Мы говорим сейчас — в том числе и на этом нашем «круглом столе» — о специализации, математической, физической и всякой другой, и очень мало — повторяю — о нравственном аспекте воспитания. А как обстоит дело в реальной, живой жизни?

Вот передо мною письмо одного из героев «Трудной книги», Саши Пшеная. В свое время он прошел через все трудности и перепады судьбы, был в заключении, досрочно освобожден, участвовал в строительстве крупнейших криворожских домен, прошел школу рабочей выучки на знаменитом металлургическом заводе и теперь, с таким богатейшим жизненным опытом, работает мастером-наставником в специальном производственно-техническом училище, воспитывая таких же самых ребят, каким когда-то был сам. И вот он пишет:

«Работой я недоволен... Но мне все-таки хочется еще поработать, чтобы проанализировать и посмотреть, что получится, если честно вести себя с ребятами и работать так, чтобы не быть *над ними,* исключить назидательство, а наоборот, развивать их духовный мир и самостоятельность. Как все это запущено и школой и самой жизнью. Ей-богу, они похожи на детей, привыкших к окрикам: «Я тебе задам!» Это надо же додуматься — развивать взрослость с детским мышлением или с внутренней силой, противоречащей нашим нормам. Как все в жизни взаимосвязано! А у меня столько было надежд на идущее за мною поколение, свободное от разного рода подлых делишек. Но — увы! — как можно научить добру, когда сам зол».

Так обстоят дела в жизни. Исследовать и теоретически осмыслить все это, на мой взгляд, важнейшая задача

нашего времени. В наш век выработка внутренних мотивов и императивов поведения является определяющей задачей нравственности и нравственного воспитания. Это не только кодекс или комплекс норм и правил поведения, хотя все это само собой разумеется. Это понятие гораздо более широкое и сложное. И прежде всего это не логическое, а именно ценностное миропонимание и мироощущение, мироотношение к себе, к людям, к обществу, из которого вытекают уже нормы и правила как нечто собственное, личное и потому императивное. И в императивности этой — сущность нравственности.

Она и в активном, деятельном отношении к жизни, к обществу, к людям и в непримиримости ко злу, как об этом горячо и страстно писал покойный В. А. Сухомлинский в письмах, адресованных мне:

«Да здравствует герой, способный заставить свое сердце быть верным, а душу, все существо свое — несгибаемым...

Подлинная работа души представляется мне как мужественное умение юноши, даже подростка! — не отступаться ни на шаг от того, что он считает святым и незыблемым. Но для этого надо, чтобы у наших подростков и юношей были непреложные святыни...

Не забывай, что рядом с тобой человек и каждый твой поступок отражается на других людях; думать только о себе, о своем благе — это значит быть развращенной скотиной; право на уважение имеет лишь тот, кто уважает других людей...

Вся жизнь человека и вся жизнь нашего общества зависит в решающей мере от того, какая будет моральная сердцевина у нашего человека».

МЕЖДУГЛАВИЕ ДЕВЯТОЕ

Написал я как-то обо всем этом статью под тем же самым заглавием «Нравственное начало». Но редактор, целиком и полностью, без единой поправки, одобрив и приняв эту статью, решительно восстал против заглавия, усмотрев в нем, как он выразился, «некий душок идеализма». Чтобы спасти статью, я, после некоторого сопротивления, принял предложенную им примирительную формулировку: «Нравственная позиция». Под этим заглавием она и была напечатана сначала в газете, а потом и в книге «Пути и поиски». Но при дальнейшем осмыслива-

нии мне стало ясно, что я смалодушничал, приняв эту замену, потому что между той и другой формулой есть все-таки довольно существенный смысловой нюанс.

Уяснить этот нюанс помог мне В. А. Сухомлинский, разграничив в одной из своих книг понятия «долг» и «долженствование». Долг — это внешний по отношению к личности импульс поведения (указ, приказ, присяга, закон), а долженствование — это внутреннее, императивное начало, исходящее от самой личности, из ее нравственной сущности.

Вот что пишет он в своем личном письме ко мне по этому вопросу:

«Человек является тем, чем он становится, оставаясь наедине с самим собой. Истинная человеческая сущность выражается в нем тогда, когда его поступками движет не кто-то, а его собственная сущность».

Раньше его, но то же самое в одном из своих писем сказал Владимир Галактионович Короленко:

«Если никто не видит, никто не знает и не узнает о том или ином моем поступке, но я все-таки не могу его совершить,— это и есть совесть».

Или, как изрек кто-то из древних:

«Даже в пустыне безлюдия старайся быть человеком».

В близкой по смыслу, но более обобщенной форме я встретил все эти мысли у одного из замечательных сынов Франции нашего века, солдата и мыслителя Антуана Сент-Экзюпери в его книге «Военный летчик»: «Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека: мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы перенебрегали *Сущностью*».

А тогда встает вопрос о сущности этой нравственной сущности, сиречь духовности, упоминание которой, после длительного замалчивания, с некоторого времени стало бурно входить в наш речевой оборот, даже с излишком.

В этой связи припоминается мне одна, по форме своей короткая и дружеская, но по сути довольно глубокая, дискуссия двух наших критиков, из которых один упрекнул в своей статье кого-то в недостатке духовности, а другой, со своей стороны, заметил, что тот, при несомненной справедливости своих упреков, сам, однако, не рас-

крывает понятие духовности — что сие? И вообще, как потом в устной дискуссии по этому поводу выразился один остряк, «мы ходим вокруг этого слова, как кот возле котла с горячей кашей».

Надо признать, что такая осторожность понятна, потому что на страже этого «котла» издревле стоит матерый и умнющий «кот» — религиозное учение, в которое понятие духовности укладывается полностью и без остатка. А нам, чтобы снять крышку с заветного «котла», нужно совместить как будто бы несовместимое, решить проблему материалистических основ духовности и связанной с нею императивности нравственного начала.

Очень интересную попытку в этом направлении делает В. Эфроимсон в большой и обстоятельной статье «Родословная альтруизма», в которой он рассматривает этику с позиций эволюционной генетики человека как биосоциального существа: «В наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам, к самоотвержению». Иначе человечество, при открытом и ничем не ограниченном господстве грубого насилия, давно, еще в самом начале своей истории, не дожидаясь вершинной техники атомного века, пришло бы к самоистреблению при помощи простых дубинок. Значит, все-таки действительно было заложено в нем это самое спасительное «нечто». Что заложено? Кем? Чем? Как?

В дневниках Л. Толстого дан на это такой ответ: «Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом».

Да, всякая данная мораль конкретно классова. Но ведь, кроме того, она и момент общественного процесса в его широком, еще доклассовом, может быть даже полуживотном, историческом развитии. В порядке аналогии: есть такое явление — остаточная намагниченность горных пород, отражающая и помогающая исследованию отдаленнейшего прошлого земли. Не так ли и здесь? В этом историческом процессе, в самой седой старине, от каждой эпохи, каждого народа и даже от каждого единичного, конкретного случая, факта и ситуации оставались какие-то непреходящие нравственные уроки и выводы, позитивные или негативные, хотя бы в ничтожнейших их микроэлементах, которые, накапливаясь и наслаиваясь один на другой, создавали в веках гранитный монолит общественной нравственности, не подверженный

никаким временным лавинам, обвалам и даже землетрясениям.

Одним словом, идя в будущее, мы не имеем права забывать о своем прошлом и, возводя высоты морали, не можем пренебречь ее основанием. В противном случае — неизбежное размывание этого монолита, утеря твердых нравственных позиций и сползание к этическому релятивизму, эмпиризму и приспособленчеству, ко всему, что идет на потребу моменту и открытой или полуприкрытой кое-чем и кое-как корысти и подлости. А это уже не нравственность.

Но нравственность в высоком смысле этого слова — не только и не просто выполнение установленных заповедей, норм и правил поведения. Это, прежде всего, нравственное сознание, из которого вытекают уже заповеди, и правила, и само поведение. И защита всего этого от коррозии утилитаризма, потребительства и всякого рода духовных компромиссов есть высшая задача литературы, если она действительно хочет быть движущей силой духовного развития общества.

Для выполнения этой миссии у нее есть только одно средство и оружие: *Правда,* не ее словесное оперение, и не разные грани, и виды, и стороны, и тем более, по остроумному замечанию Ильи Эренбурга, не нечто вроде военной тайны, которую нужно скрывать даже от своих, а единственная и настоящая, как выразился пятилетний малыш: «правдашняя правда». А устами младенца глаголет Истина — давно сказано. И хочется верить, что малыш этот в предстоящем ему нелегком пути взросления сумеет преодолеть окружающую его ложь и зло жизни и, сохранив чистоту души, принять в нее, как завет, обжигающие строки Андрея Дементьева:

Я ненавижу в людях ложь.
Она у нас бывает разной!
Весьма искусной или праздной,
И неожиданной, как нож.
Я ненавижу в людях ложь.
Ту, что считают безобидной,
Ту, за которую мне стыдно,
Хотя не я, а ты мне лжешь.
Я ненавижу в людях ложь.
Я негодую и страдаю,
Когда ее с улыбкой дарят,
Так, что сперва не разберешь.
...Я ненавижу в людях ложь!

И да будет так! «Поэтому,— как пишет мне один из читателей,— надо постоянно утверждать эти прописные истины, ибо, если постоянно не утверждать Правду, ее место стремительно займет ложь или заблуждение». Или: «Правда не может быть клеветою».

Нам с ложью не сжиться,
В уюте ужей не ужиться,—

восклицает Евг. Евтушенко в своем поэтическом отклике на смерть выразителя народной совести в нашей литературе Василия Шукшина, подкрепляя этим его простейшую, как кристалл, формулу: «Нравственность есть правда». Но в этой кажущейся простоте скрыта древнейшая мудрость, древняя, как сама природа, к которой взывает в поэме «Даль памяти» и Егор Исаев:

Душа... Душа...
Согласен: бога нету,
И черта нет...
Но как же без ежа?
  А еж тот был,
  Вот тут он был, где бьется
  И требует: дыши!
Ну, пусть не еж,
А совестью зовется!

...Совесть совестливых — вот единственное, что нам осталось постигнуть в наш дерзостный, посягающий на познание в мире всего и вся, на все загадки бытия, но сам такой трудный для понимания и тревожный, такой тревожный век. И неотступность ее, этой совести.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ

Все мы с детства знаем милое существо под столь же милым и ласковым названием «божья коровка». И есть существо, которого мы не знаем,— «наездник браконид» — насекомое значительно меньших размеров, чем божья коровка, и тоже на вид безобидное. Но под этой безобидностью скрывается жестокий и изощренный хищник: он заражает своими яичками божью коровку, из них выводятся личинки, которые поедают ее изнутри.

Все мы знаем и весеннее «ку-ку», которое, несмотря

на всю монотонность, настраивает нас на лирический лад: весна! И мало кто знает, с какой отвратительной жестокостью и упорством высиженный чужим теплом птенец этой лирической «ку-ку», только что вылупившийся, голый, неказистый, выталкивает яйца из приютившего его гнезда, чтобы одному воспользоваться всей украденной заботой его недогадливой приемной матери.

Жизнь, ее жестокие закономерности...

Это заставило меня подняться на следующую, пожалуй, самую крутую ступень моей творческой жизни.

Все началось, как я уже говорил, с «Чести», в которой люди увидели, что долгое время было не высказано, а потому тягостно, что заставляло думать и искать выражения этих дум. А невыраженная, невысказанная мысль — это сначала боль, потом болезнь, а загнанная внутрь, она превращается в болезнь социальную. И шли письма по всем адресам и без оных. «Писателю Григорию, который выступал по радио». И все равно письмо нашло этого бесфамильного Григория и принесло какую-то частицу человеческих исканий.

«Мне 59 лет. Жизнь идет под уклон. И я хочу поделиться с Вами и всем народом (по-старому — исповедаться) своею жизнью, своими мыслями болельщика за победу светлого будущего благосостояния всех людей и лучших, чем сейчас, взаимоотношений между ними.

Хочу, как могу, приоткрыть завесу, скрывающую от нас многие еще захолустные уголки нашей жизни, чтобы вымести, вычистить, проветрить нарастающими усилиями всего честного народа мусор и грязь пережитков прошлого. А я живу у самого дна. Я вижу вокруг себя жизнь «низов» и явные, растущие у всех на глазах ростки будущих больших, «матерых» преступников.

Типичность героев Вашей повести неоспорима. Но по-моему, писатель затронул только часть жизни. Он — не Горький и не изучил еще всю глубину нашего бытия. Но он должен это сделать! Он должен найти, невзирая на лица, причину язвы преступности, разъедающей мощное тело нашего советского общества... заглянем глубже».

Это — новая нота: «заглянем глубже». Иногда она в своем звучании доходила до густобасовых, иногда до истерически визгливых крайностей. Эти крайности насторожили меня, но и привлекли — и не могли не при-

влечь — моего внимания. Тем более что звучали они не только по поводу криминальных дел, что в какой-то степени понятно и естественно, но и по поводу других, иной раз совершенно неожиданных тем и вопросов.

Я написал статью «Нравственная позиция» с самыми хорошими и благими целями о том, что один и тот же вопрос можно решить по-разному, в зависимости от нравственной позиции человека, который это делает. В ответ получил пакет писем с гневными или ироническими вопросами: «Какая там нравственная позиция, когда у нас творится то-то и то-то».

Написал статью «Стимулы и идеалы», предупреждающую от перегибов и глупостей в деле материального стимулирования.

И опять:

«Какие там идеалы, когда у нас творится то-то, то-то и то-то».

Общность реакции, говорящая о каких-то скрытых общностях в народной мысли. Значит, наболело.

Да, конечно, многое из этого можно назвать и обывательщиной, чем угодно, если отрицать за читателем естественное право мыслить, и чувствовать, и переживать, и делать выводы из того, что он видит и чувствует, пусть и не всегда абсолютно правильные.

И конечно, найдутся охотники всё это запретить, но разве можно запретить мысли?

Ведь теперешние читатели совсем не те, что прежде: они едут в туристические поездки, много видят, читают, знают, они с жадностью смотрят по телевизору «Клуб кинопутешествий», видят и Миланский собор, и «Комеди франсэз», сохранившийся с времен Мольера, и дворцы Индии, и каменные статуи острова Пасхи, и самобытнейшие древности давно вымерших американских инков и ацтеков, и надпись на одном из памятников Мексики: «Веру в будущее народы находят в величии своего прошлого».

Мудрая надпись.

Но прошлое, конечно, уходит — это закон, а новое рождается в муках — это тоже закон. И вот об этом и говорят голоса, идущие из глубин жизни. Не все в них равновелико и равнозначно, но все одинаково важно как свидетельство процессов, болей и горестей нашего времени. А ведь боли и горести — это то, что отравляет и потоки, и самые истоки радости, и лицемерит тот, кто не

хочет видеть горестей, закрывая на них глаза, свои и тем более чужие. Значит, он не хочет и подлинных чистых радостей, ибо радость рождается из преодоления. Я перечитываю эти письма, я перекладываю их из папки в папку в поисках того логического места, которое они должны занять где-то, в чем-то, когда-то, в смутной, еле-еле просматриваемой, как «сквозь магический кристалл», системе поисков и размышлений, вытекающих из них.

О чем все это говорит? О поисках мысли, усилиях мысли, страданиях мысли, ищущей объяснения и понимания, потому что без этого мысль — не мысль. Совершенно разные, как мы видели, статьи, по разным поводам и при самых благих, даже благонамеренных побуждениях автора, вызывали одну и ту же реакцию по принципу «у кого что болит, тот про то и говорит».

Да, значит, болит! Значит, нужно к чему-то нам присмотреться в жизни и о чем-то подумать.

Может быть, это какие-то злопыхатели, заядлые клеветники? С некоторыми из них мы в дальнейшем познакомимся ближе, а пока скажу, что это — рабочие, учителя и ученики, инженеры, известнейший народный артист Советского Союза, старые коммунисты, своими руками творившие революцию, и многие, многие другие. Они видят одно и видят другое, видят и Братскую ГЭС, и успехи промышленности, и потрясающие достижения в исследовании космоса. «Не слепые!» Но они видят и проблемы, связанные с Братской ГЭС, и с космосом, и с промышленностью, проблемы, вырастающие из самих достижений и переплетающиеся с ними.

Почему, например, люди ехали, рвались, просились в палаточный Братск, а из Братска построенного, такого, казалось бы, немыслимо захватывающего, сказочного, когда там обнаружилась недостача школ, сапожных мастерских и прочих нормальных условий для нормальной человеческой жизни, стали бежать? Разве это не проблема?

Или бесплатная медицинская помощь. Достижение? Достижение. Можно гордиться? Можно. Но вот профессор с мировой известностью бесплатно для больного делает ему сложнейшую операцию, спасает человека от верной гибели, а потом этот человек вынужден платить нянечке дополнительные рубли за клизму, за уход, за внимание. Проблема? Проблема. «Белый халат и карман» — это заглавие газетного фельетона.

А обязательное среднее образование! Достижение? Историческое!

А вот письмо учительницы с 30-летним стажем, члена партии с таким же стажем. На протяжении этих лет она была и директором школы, и завучем, и зав. роно, одним словом, прошла через все ступени школьной работы и вот теперь, осмысливая опыт всей своей жизни, пишет:

«Наряду с тем, что бесспорно завоевано советской школой, что есть в ней хорошего, прогрессивного, и вдруг такие тяжкие просчеты. В чем дело?

Желание во что бы то ни стало создать в отдельных школах, районах картину полного благополучия, высоких показателей — выходит боком.

А отсюда общество получает не всегда и не всех полноценными гражданами, трудолюбивыми, умеющими и дальше заняться самообразованием, наполнять свой внутренний мир.

Тревожат и пороки, бытующие в нашем обществе, в семье. Они же сказываются на воспитании детей».

...Проблемы, существующие рядом с величайшими достижениями и вырастающие из них. Что с ними делать? И мысль ищет выхода — это вполне естественно. Она не может не искать его, потому что она мысль, и в этих поисках заключается ее неубиенная сущность.

Я уверен, что перед всеми этими или подобными вопросами стоит каждый писатель, потому что каждый, пусть на разном материале, сталкивается с одними и теми же проблемами, и не может не сталкиваться, ибо живет он в одной и той же жизни, дышит одним и тем же воздухом.

Все дело в том, как он эти проблемы решает, а главное (и это самое главное!) — как он на них реагирует. Иные проблемы он просто не может решить, это не в его силах и возможностях. Но видеть или не видеть, ставить или не ставить эти проблемы — здесь проходит граница писательской честности. И именно к честности этой прежде всего обращается читатель. Ей он несет свою душу, свои мысли и сомнения, свои боли и свои радости.

В западной литературе довольно ходячим стало слово «некоммуникабельность человека», то есть отсутствие связей с другими, себе подобными, и его внутреннее, едва ли не природное одиночество.

Неверно! Наш человек, наоборот, ищет этих связей, ищет возможности высказаться, излить то, что у него накопилось в душе и что требует каких-то решений и выводов. И даже без выводов — просто поделиться, рассказать, поговорить, обсудить.

«Почему я решил написать Вам?» — это пишет не мальчишка и не просто юноша, а молодой ученый, работающий над важной проблемой в области биологии.

«В романе Гранина «Иду на грозу»,— отвечает он на свой вопрос,— есть такая фраза: «Я бы построил специальные дворцы, посадил бы туда мудрых людей, чтобы к ним можно было прийти и поговорить. Никакой власти им не надо. Только бы они умели слушать».

«Я помню, как в детстве,— продолжает он дальше,— бабушка водила меня в церковь. Там был священник, отец Карп, человек с густой рыжеватой бородой, густым, басовитым голосом и добрыми, веселыми глазами. Он часто сидел на скамейке в саду, куда мы с бабушкой ходили гулять, разговаривал со мною, не помню, конечно, о чем, но о чем-то интересном и веселом. В церкви мы исповедовались ему. Там он был совсем другим, в блестящих ризах, торжественный, и я думал, что бог на него очень похож. И я «исповедовался» — говорил об украденных с кухни пирожках, о драках с соседними мальчишками, о том, как показал бабушке язык — какие «грехи» у пятилетнего? Но я помню, как легко и хорошо мне становилось после этой исповеди, и сейчас, хотя от детской веры в бога давно уже ничего не осталось, мне подчас хочется поговорить с отцом Карпом и «исповедоваться», хотя его, наверное, уже нет в живых.

У меня появилась потребность рассказать кому-то некоторые моменты жизни, а рассказать некому — мне не удавалось до сих пор встречать умудренного жизнью человека, с которым обо всем можно было бы «выговориться». И вот теперь, после Вашей «Трудной книги», особенно главы «Искусство жизни», мне захотелось написать Вам. Может быть, это и не совсем серьезно — точно нашел вот «атеистического попа» и доволен,— но поймите меня правильно и простите, если я отнимаю у Вас время и к огромной горé чужой скорби, которую Вы несете, прибавляю свой небольшой камешек».

«Камешек» этот оказался действительно не только небольшим, но и легким, даже приятным, потому что это был рассказ о романтической и нравственно чистой лю-

бовной истории, которой мой корреспондент нашел достойное решение. Здесь важен самый факт — потребность «исповедоваться».

Ну, а если это не «камешек», а «камень», лежащий на душе?

«Не могу собраться с мыслями — сразу все вспоминается, даже жутко становится, до чего я дошел. Но Вам я все-таки *должен* (так и подчеркнуто: *должен!*) написать, как все это случилось».

А случилось не больше и не меньше, как убийство по наущению рецидивиста («Стреляй! И я выстрелил»).

А если это груз трудноразрешимых проблем и вопросов?

«Всю жизнь я чувствовал, что, в сущности, до меня никому нет никакого дела. Был бы я верующим, с каким наслаждением пошел бы я на исповедь. Пытаюсь найти духовника среди окружающих, но везде одно и то же: «В чем дело? Короче!»

А мое дело нельзя выразить коротко. Мне высказаться нужно. Мне понять нужно и жизнь, и себя. Мне нужен заряд бодрости и какая-то порция оптимизма».

Вот и пишут, обо всем пишут, что давит душу. И как же с ними быть?

Конечно, эти письма можно сжечь — зачем они? Пусть не тревожат они никого и не волнуют! Но это значит жечь мысли, мысли мыслящих. А они доверены мне, и вдруг — в печку. Нет, это предательство!

Можно, конечно, элементарно смолчать, пройти мимо, юркнуть в подворотню, прикрыться пышной фатой из самых пышных фраз, можно даже пойти на подлость в толковании и перетолковывании всех этих мыслей и проблем. Но читатель все это поймет и скажет свое слово. Теперь он не тот, совсем не тот, что прежде, когда он почитывал то, что писатель пописывал. Нет! От него теперь не спрячешься. Он требует правды. Он требует честности. Он непримирим. Он ждет поддержки. Он надеется на тебя. Он видит в тебе борца. А ты?..

Нет, это тоже предательство!

А к писателю у нашего читателя, повторяю, особое отношение. Перед его глазами вся великая и так поднятая самими нами литература прошлого — ее проблемность, ее интеллектуальная мощь, нравственная чистота, ширь и глубокая ее непримиримость ко злу, ее самоотверженность, принципиальность, ее подлинный, а не

квасной патриотизм, ее вдохновенная революционность, воспитавшая, по их собственным признаниям, ту славную когорту революционеров действия, которую создал и возглавил Ленин. Она оказала влияние и на строй западной мысли.

«Кто как не русские писатели были нашими руководителями?.. Это они создали мою душу»,— сказал достойнейший сын Франции Ромен Роллан.

И этой высокой меркой наш, современный вдумчивый читатель мерит нас и нашу литературу.

«Сначала я ничего не знала о жизни и верила книгам, но постепенно я стала видеть в жизни совсем противоположное. Я прочитала много книг, но в них все приукрашено, и я заранее предвижу хороший конец. Поэтому я больше люблю Шекспира, Пушкина, Лермонтова и вообще мне больше нравится классическая литература». «Описательная беллетристика, которой свойственна эмоциональная глухота, банальность мыслей героев, ложный пафос, ложный оптимизм, этакая бодрящаяся дряхлость, выспренность языка. Такова одна из застарелых болезней, которой страдает часть нашей литературы. И совсем нетерпимо, когда кто-то пытается использовать высокие слова и идеи партии как индульгенцию за грехи бесталанности и художественной беспомощности. Подобного рода произведения компрометируют, окарикатуривают и наши идеи и нашу жизнь».

«Рассматривая вещи извне, человеческий глаз не сразу может увидеть разного рода шероховатости, как в раскинувшемся вдали красивом лесе он не видит ни пней, ни коряг, о которые можно сломать ногу. И вам, писателям, давно пора приняться за расчистку лесных дебрей, вместо того чтобы давать нам душеспасительные рецепты».

Приходилось и мне самому выслушивать подобного рода упреки даже тогда, когда мои книги получали в общем хорошую и добрую оценку. И все-таки:

«В Вашей книге много правды, Вы пишете почти с натуры. Но Вы не до конца правдивы, и это тяжело. Я хотел бы подсказать Вам слова Николая Васильевича Гоголя, что «как много нужно глубины душевной художнику, чтобы «озарить» картину, взятую из презренной жизни, и вывести ее в перл создания». Да, именно презренной, но тем ценнее труд и ярче плод, который взращен трудом праведным».

Читатель, значит, смотрит дальше и зовет писателя тоже дальше, туда, к идеалам:

«Товарищи писатели! Вносите революцию в человеческие души. Не бойтесь мусора и грязи. Пусть боятся те, кто купается в ней. А мы, понявшие цель жизни, будем так же бороться и поможем победить зло и вознести счастье».

«Мильон терзаний!»

Это — вскрик Чацкого, вопль души. Этот вопль Гончаров вынес в заглавие своей знаменитой статьи о знаменитой комедии Грибоедова (а впрочем, может быть, это трагедия?).

«Горе от ума» прожило эти полвека со времени своего появления,— писал Гончаров,— и все живет своею нетленной жизнью, *переживет и еще много эпох,* и все не утратит своей жизненности».

«Мы не отодвинулись от эпохи на достаточное расстояние, чтобы между ею и нашим временем легла непроходимая бездна. Век не отделился от нашего, как отрезанный ломоть: мы кое-что оттуда унаследовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорецкие и прочие видоизменились так, что не влезут уже в кожу грибоедовских типов...

Но пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и «награжденья брать и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать не как пороки, а как стихии общественной жизни — до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других».

И дальше Гончаров дает великолепные размышления об «общечеловеческих образцах», истоки которых могут «исчезать в тумане старины», но сами они «в основных чертах нравов и вообще людской натуры», «облекаясь в новую плоть и кровь в духе своего времени», могут жить долго, *переходя из эпохи в эпоху.* Таков Тартюф, Фальстаф и многие другие, «вечные характеры», «первообразы страстей и пороков».

Таковы Фамусовы и Молчалины, таков и их антипод — Чацкий, который, по справедливому пророчеству Гончарова, «останется навсегда в живых»:

«Живучесть роли Чацкого — состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий... Роль и физиономия Чацких неизменна. Чацкий

больше всего *обличитель* лжи и всего, что отжило, что *заглушает новую жизнь,* «жизнь свободную»... Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва. Он бьется «бескорыстно, не для себя и не за себя, а для будущего и за всех». «Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей уживается старое и молодое, где *два века сходятся лицом к лицу,* где длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым и все бьются в поединок».

И не они ли тогда, не Чацкие ли, пишут мне? Не болельщики ли, стремящиеся «победить зло и вознести счастье»?

Первый:

«Здравствуйте, дорогой Григорий Александрович!

Пишет Вам незнакомый, но хорошо знающий Ваши книги, публицистику и сделанные Вами добрые дела.

«Как жить?» — действительно стало проблемой. В моей и нашей общественной жизни обстоятельства сложились таким образом, что зло побеждает добро, может быть, Вы поможете добру победить зло.

Убедительно прошу у Вас личной встречи и личной беседы, все очень серьезно. Я в любой удобный для Вас день могу отпроситься с работы и приехать к Вам из Ленинграда.

Существо вопроса в следующем: более шести лет назад мною было обнаружено, что отдельные руководители нашего предприятия нарушают учет и отчетность, скрывают брак (внеплановый ремонт локомотивов), скрывают сверхурочные часы, принуждая к этому рабочих. Правильность моих утверждений подтверждается проверкой и актом группы содействия партийно-государственного контроля, но до сегодняшнего дня никаких выводов и перемен — слишком сильны еще та рутина и то болото, в котором мы живем. Пока не сдаюсь, но силы иссякают и без помощи не выдержать».

И вот приезжает человек, никак и ничем не напоминающий ни нытика, ни пессимиста или завзятого кляузника,— высокий, плечистый, голубоглазый, с шапкой

вьющихся русых волос. Васька Буслаев — сильный, открытый, русский мужик — или Руслан. Впрочем, в действительности так звали другого, следующего, о котором речь будет дальше. А этого звали Георгий. Имя тоже символическое: «Победоносец».

Он привез целый чемодан бумаг, документов и, выкладывая их, начал рассказывать все как есть, рассказывать подробно, убедительно и страстно. Пытаясь вникнуть в суть незнакомого для меня дела, я по-писательски старался понять прежде всего сущность человека: кто он? Что он? Откуда у него эта горячность, непримиримость и такая, совершенно личная, заинтересованность в этих путаных ремонтных делах? И постепенно передо мной начинает вырисовываться человек.

Он — ровесник Октября, семнадцатого года рождения, потомственный ленинградский пролетарий. Отец и мать — типографские рабочие. Отец — участник обороны Ленинграда, первой, Октябрьской, в 1919 году вступил в партию и в дальшейшем был на партийной работе.

Самого «Победоносца» завлекла другая работа. Его детское еще воображение поразил паровоз, клубы дыма, особенные, точно его личные звуки: чук-чук, чук-чук, и машинист, выглядывавший из окна. Вот таким машинистом он и решил быть и пошел к этой цели путем обычным, трудовым, советским путем: в 1933 году окончил семь классов, в 1934-м — ФЗУ и поступил в депо Финляндской дороги, слесарем по ремонту. Мечтал о паровозе, просился на паровоз, но что делать? — нельзя, молод, нужны слесаря по ремонту. Ну, раз нужно... Работал слесарем, поехал в Забайкалье, тоже на железную дорогу слесарем, был секретарем комсомольской организации, и только в 1945 году осуществилась его мечта: он сел на паровоз.

И тут, как он сам теперь говорит, начинается прозрение, постепенно, с мелочей.

— С тряпок! — и в его голубых глазах вспыхивают озорные огоньки.— Ну, понимаете? По нормативам машинисту полагается обтирочный материал, как мы говорим, концы, тряпье разное. А его не выдают. Я спрашиваю у своего напарника, а он говорит: «У вагонников возьми, только чтоб никто не видал».— «Это что ж? Воровать?» — «Дурак! Мы все так живем. Раз не дают, что делать?»

Поартачился, поартачился, пришлось и самому так

жить. Мы и говорили об этом, и писали, аж самому министру писали, получили ответ: «Снабжать!» Бумажка. А кроме бумажки — ничего. Так и жили, и воровали все — и старые, и молодые, и комсомольцы, и члены партии. И начальство все знало об этом, а ему что? Обходятся, ну и ладно. Так же и молодежь обучали.

Проработав в Забайкалье 18 лет, вступив там в партию, мой «Победоносец» перевелся в Ленинград, родной город, где за это время в блокаду погибла его мать. Работал в депо, замечал и халатности, и безобразия, и разные махинации, пробовал говорить начальству, выступал на собраниях,— как в стенку горох. Душа ныла, а в настоящую драку не лез. А потом решил: «Не может быть, чтобы это беспредельно длилось. Найдутся люди, которые пойдут на все. И я пойду на все».

И вот — 1960 год, весна.

— Я обнаружил, что у нас халатно, а то и нечестно относятся к ведению учета, отчетности и к внеплановому ремонту. Ну, как бы это вам объяснить? — остановился он, заметив, что я чего-то не понимаю.— Мы, депо, выпускаем на линию паровозы, и это —наша продукция. И паровоз должен работать от одного планового ремонта до другого, если по совести. А если он зашел в депо, это значит — внеплановый ремонт. Но внеплановый ремонт — это брак. На него ни трудовых затрат не положено, ни материалов. А сделать нужно: машина-то стоит! Вот тут и начинаются махинации. Прежде всего, скрыть. Потому что это отзывается на финансовом плане, на показателях, ну и, конечно, на премии. Это самое главное. А как скрыть, когда всё на виду? Работают люди! Значит, нужно людей околпачить или запугать. Вот и пошла зараза в глубь коллектива, как рак. Тут я и зацепился — один внеплановый ремонт не записан, другой. Что такое? Рабочих к проверке не допускают, но я сумел подобрать факты. А предприятию-то присвоено звание коммунистического труда. А как же? В этом вся и загвоздка. Рассказал на рабочем собрании — замяли. Выступил на партийном собрании — секретарь говорит «разберемся», а разбираться не стал,— так и повис вопрос в воздухе. Я стал настаивать, писал в «Гудок», пошел в горком. Из «Гудка» благородненькая отписочка, из горкома — и того нет. Я еще раз туда же. Говорят: факты есть, но маловажные.

И он уставился на меня требовательным взглядом.

— А может, факты-то действительно маловажные? — спросил я.

Вопрос был явно провокационный — мне хотелось еще раз проверить и перепроверить и всю эту сложную ситуацию, и реакцию на нее моего «Победоносца». И, точно отвечая на это, он перешел в наступление на меня.

— Да какие ж они маловажные? Если обманывают, если воруют, если развращают народ, если извращают идею коммунистического труда? Чего ж еще нужно?

Теперь это был уже не требовательный, а почти ненавидящий взгляд, точно это я извращал идею коммунистического труда и развращал народ.

И посыпались новые доказательства, зашелестели листы документов и вместе с ними страницы этой шестилетней и упорной борьбы. Один акт, другой акт, заключение партийно-государственного контроля, протоколы партсобрания, партбюро, райкома, горкома. И вот он уже «клеветник», а в ответ он бросает «жулики» — и пошло по второму кругу: выговор, обследования, доследования, обжалования, апелляция, вплоть до Москвы.

— Ребята мне говорят: брось, Жора, плетью обуха не перешибешь. Жена уговаривает, а она у меня тоже член партии. «Брось, говорит тоже, не мотай душу. Давай поживем спокойно». А я думаю: какая ж тут жизнь? Раньше, когда из-за тех тряпок драчка была, делать ничего не сделали, да хоть клеветником не обзывали. А теперь — здравствуйте-пожалуйста: «клеветник»! Так что же мне, носить этот плевок на себе? Да лучше не жить! Пока сердце бьется... Нет, не может же быть, чтобы окончательно была потеряна совесть! Не верю!

Я слушаю его взволнованный, тревожный и тревожащий голос, этот из глубины души идущий полувопросполувыкрик, и тяжкая, мучительная мысль гложет мое сердце: неужели это все-таки примитивный, подлый клеветник, кляузник и злопыхатель? Смотрю в его такие чистые, такие честные глаза, еще и еще раз проверяю себя и, вслед за ним, окончательно решаю: «Нет! Не верю!»

Не буду пересказывать дальнейший ход событий — мы кому-то писали, я с кем-то говорил, куда-то звонил по телефону, но закончилось все письмом, полученным от него года через полтора-два. Оно было написано тем же твердым, мужским почерком, но по тону было совершенно другое — спокойное и деловое: в депо пришел новый начальник, и дела пошли лучше.

«Моя жизнь и деятельность оживилась. Цеховая профсоюзная организация избрала меня в свой руководящий орган — цехком, а этот последний своим председателем. Эти три месяца были заняты массой организационных дел. Новый начальник депо продолжает мне нравиться — грамотный, деловой человек, и мы сносно понимаем друг друга. Мнения на отрицательные явления в нашей жизни не изменились, а хорошее тоже видим — не слепые».

Второй:

«Я 1926 года рождения, участник Великой Отечественной войны, офицер запаса. Окончил Ленинградский горный институт. У меня чудесная жена, с которой мы, несмотря на все тревоги, живем душа в душу, и еще лучше — теща, добрая, честная и трудяга. У жены две дочери, которые для меня как родные.

Всю свою сознательную жизнь я не терпел двурушников, рвачей, карьеристов, и отсюда постоянные трения на работе. Но я чувствую потребность в настоящем, хорошем коллективе, в организации, куда я мог бы пойти, поделиться своими невзгодами, поспорить и лишний раз проверить себя, в чем я прав, в чем неправ? — ведь только в споре рождается истина. Предлагал я, например, проводить «вечера моральной чистоты», где бы, невзирая на лица, вскрывать все, что мы знаем как порочное. Но из этого, конечно, ничего не вышло.

Я вообще вижу основную черту человека в его честности. Остальное все производное и появится само собой. Но — пустая болтовня обезоруживает нас перед действительностью, делает нас неспособными к сопротивлению».

Их много, этих людей, разных по полу и возрасту, по образованию и профессии, но одинаковых по благородству помыслов и нравственных критериев. А главное, что их объединяет, это: лично они ничем не обижены, лично у них все хорошо и благополучно и они ничего не просят для себя, но им больно. Потому что они граждане, люди высокой души, воспитанные нашей эпохой.

Соприкоснемся с одной из них, в ее самораскрытии:

«Родители мои выросли «в людях», крестьяне-рыбаки, познавшие унижения и оскорбления сильных мира сего (а вернее — еще того, дореволюционного); в посто-

янных муках за кусок хлеба, народили нас, 9-х человек, из которых остались семь. Экономические и моральные бедствия нашей большой семьи никого из нас не противопоставили России и советскому строю. Никто из нас не стремился к корысти, какой бы тяжкой ни была наша жизнь. Наша семья создала 60 человек второго и третьего поколения, большинство которых мужского пола, и каждый год по 3—4 человека проходят службу в Советской Армии и Флоте.

Наше первичное отношение к обществу — любовь и уважение к людям труда и ненависть ко всем, кто в какой бы то ни было форме противопоставляет себя этому,— созрело в нас и укоренилось благодаря честности наших родителей и десятков и сотен простых и умных людей труда, старейших коммунистов, комсомольцев, учителей и всего нашего доброго окружения, среды, которую мы сами никогда не засоряли. И если родителям в такое тяжелое время удалось вырастить нас людьми с прямой и открытой душой, то в наш «просвещенный век» видеть выращиваемых шалопаев, мошенников и воров всех систем омерзительно и гадко. Казалось бы, экономические и духовные богатства современного общества по своей природе исключают это.

Такого противоречивого состояния мы не испытывали на себе в годы становления и возмужания, и именно отсутствие такого состояния отложило в нас постоянство и прямолинейность.

Вот отсюда и моя непримиримость. Я считаю, что прямота, если даже она и коряво выражена,— честь и достоинство человека, если целью жизни его является служение трудовому народу. И я не могу менять свои взгляды и свои стремления и свой труд на что-то во имя только своего личного или личного для кого бы то ни было. Советский строй для меня самое дорогое, самое разумное общественное устройство, и ему я отдаю все, на что способен».

Пишет девушка, окончившая сельскохозяйственный техникум и по направлению приехавшая в совхоз:

«Работать я начала бригадиром. Поначалу было очень трудно, не только физически — уставала от ответственности, от постоянной боязни что-то напутать, не так распорядиться, не так повести себя и тем самым повре-

дить делу, обидеть людей, работающих под моим началом, и избаловать их тоже боялась».

«В общем, было не легко»,— признается, она, но смотрите, какие высокие мотивы лежат в основе этого признания.

«И родные и подружки жалели меня и уговаривали,— продолжает она дальше.— «Брось ты такую работу. Перебирайся в город. Там тебе и асфальт, и театры, магазины, и любые развлечения по вкусу». Я соглашалась с ними, но... это в то же время означало унизить себя, расписаться в собственной слабости. Ведь интереснее делать свою судьбу, чем получать ее с наименьшими усилиями.

И все-таки я слушала все эти советы, и соглашалась с ними, и сама не понимала себя. И каждый промах в работе, и каждое разочарование в прелестях деревенской жизни — все подталкивало меня к измене самой себе. И я была очень близка к этому. Зато теперь я имею право уважать себя. И знаете, сколько сил дает такая, казалось бы, совсем не материальная вещь — такое ощущение!!! Все в моих руках.

Но честно скажу, что без директора совхоза, Евдокии Васильевны, я могла бы понять это слишком поздно. Ведь я подала ей заявление об уходе, и даже не одно. Она выслушивала меня и не отговаривала впрямую, но просто и доверительно разговаривала со мною по душам, не как официальное лицо, а как близкий и заинтересованный во мне человек. Именно эти разговоры будто бы «на равных», явная заинтересованность во мне не как в работнике, а как в человеке тронула меня и открыла мне глаза.

Мы много говорили о жизни, о людях. Она анализировала мой характер, рассказывала примеры из своей жизни. После каждого такого разговора у меня поднималось настроение, я чувствовала, что ответственность — не тяжкий труд, а почетная ноша, что от того, какой я буду сама, зависит не только моя собственная судьба, но и судьба и настроение тех, кто находится рядом со мною, в моей бригаде. Я поняла, что не имею права сдаваться, потому что все мы — люди, связанные как бы одной веревочкой, и упади один — может упасть и следом идущий.

Так помогла мне определиться в жизни наш директор. А это очень важно для начинающего самостоятель-

ный путь молодого человека — встретить вот такого друга-начальника на своем пути.

И сейчас я не мыслю другой жизни. И главной своей победой я считала бы теперь не производственные успехи, хотя это, конечно, тоже важно, а то, если бы я, как Евдокия Васильевна, смогла поддержать такую вот какую-нибудь душу на ее пути!!!»

А вот — совесть, как она есть, в ее чисто природном виде и качестве.

«Пишет Вам уже взрослый человек, повидавший за свою жизнь многое.

Книги Ваши я читала с жадностью и всегда анализы делала, то есть выводы из прожитой мной жизни. Вспоминаю 1946—1947 годы, голод, разруха, и нас трое, круглые сироты. Мне, старшей, 11 лет. Из нас троих никто не сошел с правильного пути. Да, благодаря государству нашему и добрым людям,— так говорила наша соседка, старенькая бабушка.

В свои 11 лет я стала своим братьям отцом и матерью. Тогда я, сама еще девочка-малышка, мечтала, как я буду работать, а братья учиться. Одного она выучит на агронома, а второго на председателя колхоза. Вы спросите, почему именно на эти профессии? Потому что жили мы в глухой деревушке и нашими соседями были агроном и председатель. А сама я после всего этого стану учительницей — так я мечтала.

Прошли долгие годы. Братья выучились, стали большими людьми, а я так и не стала учительницей. Но я не жалею об этом, ведь каждая профессия имеет свою прелесть. И профессия доярки очень увлекательная. Встаешь рано утром, когда еще все спят, а ты встречаешь раннюю зорьку первой. И росу утреннюю первой увидишь, ее алмазные капельки, и своими ногами собьешь эти капельки и почувствуешь утреннюю прохладу. Знаешь, что твой труд очень нужен людям.

Ведь молоко всем нужно — и детям, и больным, старикам, шахтерам, ученым, в общем, всем. Я часто думаю, как это жить без труда.

Мне сейчас 40 лет, но я не представляю себе преступного мира. В нашей деревне никого не судили. Все трудятся честно. Работают с раннего утра и до поздней ночи. Наши дети учатся и тоже трудятся. Если вырастил урожай, каждый знает каким трудом, убери его до еди-

ной капельки. Дети знают, какой труд родителей, ведь они их помощники.

С уважением к Вам, уважаемый Григорий Александрович.

Митина Любовь Никитична.

3 октября 1979 г. Днепропетровская область».

...Совесть совестливых.

В Московском театре имени Ермоловой идет спектакль по пьесе Назыма Хикмета «Чудак». Началу действия предпослана пролог-притча: дорога, на дороге лежит камень, по ней идет человек и, споткнувшись о камень, убирает его в сторону. За ним идет другой и, увидев камень, с хитроватой, шаловливой улыбкой кладет его на дорогу. За ним — третий, он перескакивает через камень и преспокойно шагает дальше.

Вся философия жизни. Формула. По Горькому: «точка зрения» и «кочка зрения». Все остальное — ее развитие и вариации.

И не забудем слова великих.

«Необходимо вселить в массы нашу уверенность в неизбежность банкротства зла, чтобы ими не овладело сомнение».

Это писал Феликс Дзержинский, человек огненной души, писал давно, на заре нашей эпохи, но с не меньшей силой это звучит и поныне, потому что зло всегда остается злом, даже когда меняет формы и, маскируясь, таится в глухих углах нашего дома. И те самые пройдохи и выжиги, на засилье которых Маяковский жаловался Ленину, в более скрытых и подлых, а потому и более опасных обличьях все еще ходят меж нас, хотя и попадают то и дело на газетные страницы. Повторим и обещание, данное Маяковским Ленину: «Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить их ужасно трудно».

Но жизнь показала, что просто «скрутить» их действительно трудновато. Да и слово не то. Их нужно изжить. А это требует других слов и других понятий и методов, а главное — новых человеческих отношений, оздоровляющих общую нравственную атмосферу общества. И они на глазах у нас рождаются в нашей реальной жизни.

Пример? Вот пример.

Да, мы строим новый мир, но мир не машинный, а мир человеческий, основанный на нравственных началах и принципах, на духовном богатстве и чистоте и созна-

тельной общественной активности, мир, противостоящий тому, что находится, по образному выражению Джека Лондона, «по ту сторону щели», миру эксплуатации и корысти, извращающей человеческую сущность. И именно здесь — не во внешних, хотя и впечатляющих формах и проявлениях, а в области идейно-нравственных понятий и отношений — пролегает главная граница миров. Социализм — это не только экономическая, но и социально-нравственная категория.

А потому здесь же находится и основная проблема, которую нам нужно решать в устройстве нашего советского образа жизни,— проблема дальнейшего совершенствования общества и формирования человеческой личности, в ее отношении к людям, к народу, к его настоящему, прошедшему и будущему, и к самой себе как общественной ценности.

Понимаешь...
Я не для тебя одной,
Я для города с луной,
Для трамваев, для снегов,
Для друзей и для врагов,
Для попавшего в беду...
К ним я от тебя сбегу!
Ты не смейся надо мной,
Я не для тебя одной.

Так писал девушке совсем молодой человек Алексей Дидуров.

О, как мне хочется любить
И верить беззаветно в
счастье!
Всю душу поделить
на части,
Все сердце людям
раздарить!
Я не умею подчинить
Уму бунтующие страсти,
Я не могу быть безучастен,
Я не могу спокойно жить.
О знайте: я за все в ответе,
За каждый пущенный
снаряд,
За каждую слезу на свете,
За то, что песни не звучат
И умирают где-то дети —
Во всем, во всем я виноват.

Это отнюдь не профессиональный поэт, это — упоминавшийся уже мною «простой советский человек», строи-

тель, мелиоратор Константин Качанов, кстати, один из активнейших моих корреспондентов, человек мыслящий, живущий в самой гуще нашей беспокойной жизни и видящий ее во всех аспектах и ракурсах.

Разве возможен такой образ мысли там, «по ту сторону щели»? А вот вытекающий из него образ жизни:

«Кто я? — рабочий. Что я? — тоже рабочий. Я русский человек душою и телом и всеми моими помыслами, и жизнь моя схожа с жизнью многих из моего поколения.

Родился и вырос в рабочей семье, в рабочем поселке. Отец погиб в 1942 г. под Сталинградом, мать воспитала нас одна.

В десятом классе увлекся философией. Толчком послужил роман «Что делать?». В романе этом я нашел ответы на мои личные вопросы: каким должен быть человек и какие у него должны быть взгляды, убеждения, какое отношение к людям, к жизни. В нем я нашел и образец для подражания.

После армии еду по комсомольской путевке на строительство химических объектов — в грязь, в мазут... Живу в общежитии с такими же, как я. Состою в комитете ВЛКСМ. Делаю заметки. Анализирую. Сопоставляю. У одних учусь — у кого есть цель и смысл жизни, хороших людей, сильных духом, стóящих. На других злость берет — хочется ругаться, возиться с ними, проклинать и ломать эту жизнь, эти безобразия... Проклинаем, ломаем, думаем, оставляем за собою след — домá, объекты, железные дороги».

А вот другой, такой же. Предвоенного, 1940 года рождения, он рос на Смоленщине, через которую прокатились жестокие волны войны, и потому окончил только пять классов, работал прицепщиком, разнорабочим, пас телят, коров, но всегда стремился учиться, чтобы понимать жизнь и «сложно запутанные вопросы», «чтобы продолжать движение пусть даже не вверх, но вперед, к какой-то единой цели» и «вести борьбу за чистоту человеческой личности». Это все его слова, из его письма.

Потом он был назначен заведующим колхозной животноводческой фермой и отдался этому делу так, что «в кино некогда было сходить».

«Мне нравилась эта трудная работа. Конечно, не все шло гладко, но на то я и был начальник, чтобы вскрыть и ликвидировать плохое, заметить и распространить хорошее — в этом заключалась вся суть моей работы. Но что

особенно меня влекло — это массы людские, быть всегда с людьми, которые относились ко мне с доверием. И здесь я многое понял для своих лет — что значит требовать и отдавать и вообще что значит быть начальником, хотя и небольшим. Я стал понимать правду и ложь, честность и справедливость».

Думающий человек, отдающий всего себя на устройство и улучшение жизни.

И вот еще один — тоже думающий и тоже отдающий, но видящий и то, что мешает устройству жизни.

Безотцовщина. Нередко она является почвой и причиной для разного рода падений и преступлений. Этот — наоборот: пройдя через все виды бедствий и испытаний, как бы назло судьбе, выковал в себе пуритански чистую и цельную личность. Помог начальник политотдела совхоза, в который забросила его судьба: «Голод, холод, все лишения забудутся, а трусость и подлость — никогда».

Отсюда и образ мысли: «Главное, чтобы человек... не стал рабом вещей», и образ жизни: на фронте, спасая офицера, он получил тяжелое ранение и из госпиталя вышел со второй группой инвалидности.

Наша переписка с ним длится уже десять лет, с 1969 года, и я мог бы многое рассказать о нем, о разных случаях и подробностях его жизни, говорящих о широте, о глубине и благородстве души этого человека, через призму которой он смотрел на всю жизнь, начиная с того, что ему, как рабочему человеку, ближе всего,— с продукта своего труда, которому он отдает все послевоенные годы:

«Завод наш выпускает кирпич для стройки жилищ, но самое больное у нас — это качество. Просто удивляюсь, что все 30 лет существования завода мы шумим, кричим, агитируем, а за свою продукцию приходится краснеть перед народом».

Человек краснеет, человек болеет — значит, человек живет, значит, это активная, самая ценная клеточка общества. Он всматривается, он вдумывается, он ищет причины и следствия:

«Рабочие ведь разные. Есть — хозяева, болеющие за производство, а есть как транзитные пассажиры. И руководители тоже разные... Жизнь-то в натуре оказывается сложнее, чем в книгах или в кино».

И мысль — хозяйская и заинтересованная — «в доме своем мы должны навести порядок».

Вот это и есть подлинный голос подлинного «Его Величества» рабочего класса, именем которого мы клянемся.

А вот голос горький, с упреком: «Вы, Григорий Александрович, видите все в свете борьбы добра и зла, в победе нравственности и морали, в формировании нового человека. Без этого, естественно, нельзя строить новое общество, воспитывать новых людей. Все правильно. Есть тысячи примеров, с кого делать жизнь,— это и Дзержинский, и Островский, и Зоя Космодемьянская, и много других, как наших современников, так и далеких предков.

Но скажите, как строить жизнь с Дзержинского, когда у тебя на глазах Иван Иваныч строит на нетрудовые себе дачу? А когда ты пытаешься его уличить, то бываешь крепко бит, потому что у Иван Иваныча начальник милиции — друг, прокурор — кум... И все это происходит на глазах у всех активистов и руководителей разных чинов и рангов, которые не только не протестуют, но скромно молчат, опустив очи долу. Как это объяснить и как совместить?»

В самом деле — как?.. Очевидно, как у человека не бывает однолинейно светлых и однолинейно темных лет или дней, а просто рядом идут этакие душевные переплетения, так и в жизни — зло существует рядом с добром и благородство переплетается с низостью и подлостью. Такова жизнь. Все дело в том, как к этому относиться и какую занимать позицию. Но жизнь на то и жизнь — она многогранна, многослойна и многосмысленна.

Скажу откровенно: мне претит узость мысли, это ей противопоказано по самой ее сути, претит взгляд на мир, точно в танковую смотровую щель. Да, в момент атаки это, может быть, и нужно, а в жизни... А ведь мы строим жизнь, мы идем из прошлого в будущее и строим это будущее. Так как же можно в этом, эпохального значения, деле сужать свое поле зрения, мысленного зрения?

Вот этим мне и нравятся размышления моих корреспондентов — их широта, правдивость и искренность, их «жаркая вера и холод жестокий сомнений», их «стремление все осмыслить, понять», их способность «требовать и отдавать», их возвышенность мышления и взволнованность чувств, нравственная требовательность к себе и к жизни и вытекающие отсюда боли и поиски, не ворча-

ние — нет! — не обывательщина, а благородная гражданская тревога, чистая по своим истокам и целям, выражающая заинтересованное и активное отношение к жизни.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

НА КРУГИ СВОЯ

Перевернем календарь на много лет назад, к тому давнему предреволюционному времени, когда начитавшийся всяких премудростей мальчишка-гимназист, в напряженных усилиях по формированию «друзы» своей личности, запутался в лабиринтах мировых вопросов и совершил архи-р-революционный акт, бросив вызов самому господу богу. Оставшись наедине с своей совестью, он взял в одну руку икону, в другую — топор и, закрыв, про всякий случай, глаза, расколол икону пополам.

Скажу — это мальчишество. Может быть! Может быть, даже хуже. Даже определенно хуже. Но тогда для меня это было всерьез, даже слишком всерьез. Это был шаг к будущим и далеко не мальчишеским мыслям о жизни без бога, о нравственности без бога, с которым я так близко знаком был в детстве и которому не нашлось во мне места в зрелости и даже теперь, на склоне лет. А это и есть, на мой взгляд, подлинная нравственность, не навязанная и не предписанная кем-то и откуда-то свыше под страхом наказания, а своя, собственно человеческая, нравственность поведения, когда не возвышенные словеса и лозунги, а сама жизнь, и работа, и деятельность человека говорят сами за себя — какова его вера и каково его учение. Как писал Феликс Дзержинский в своей партийной автобиографии: «За верой должны следовать дела». А без этого любая религия и все наимудрейшие учения и архиреволюционные лозунги мертвы.

Это то, к чему я пришел теперь, «под вечер жизни моей». А тогда первым результатом истории с иконой был мой доклад в нашем тайном ученическом кружке, нет, не революционном, а, так сказать, мыслительном, на разные научные и мировоззренческие темы. Вот там я и сделал доклад на тему «Есть ли бог?». Эта тема моего юношеского доклада послужила зерном, точнее, эмбрионом всего дальнейшего.

Потом к этому гимназическому вопросу прибавился знаменитый барон Гольбах, идеолог боевого французского материализма XVIII века: «Для счастья человечества нужно разрушить до основания мрачное, шатающееся здание суеверия... Надо истребить с корнем ядовитое дерево, которое на протяжении ряда веков покрывает своею сенью вселенную».

И наконец, Маркс: «Критика религии — предпосылка всякой другой критики».

А так как время было самое наикритическое, когда переоценивались и перестраивались все основные человеческие ценности, то оно и явилось той плодоносной почвой, на которой развился тот самый гимназический эмбрион. Я много думал, я много, очень много читал по истории и философии религии, позднее занимался в семинаре по антирелигиозному воспитанию, и в результате через несколько лет из этой темы получается сначала рукопись, а потом книга, моя первая книга: «Буржуазия и религия», вышедшая в издательстве «Атеист» в 1928 году.

Книга компилятивная, перенасыщенная многочисленными цитатами и ссылками из разного рода мыслителей, подкрепляющими и иллюстрирующими известную концепцию Энгельса по этому вопросу. Это и было пунктирно выражено в подзаголовках: «Буржуазия погорячилась», «Буржуазия спохватилась», «Буржуазия обосновывает религию».

В общем и целом это выглядело так...

Меняются времена, меняются и нравы. Добившись власти, буржуазия из класса революционного стала классом консервативным, даже реакционным, и, в соответствии с этим, в ее философии начинается коренной сдвиг, от материализма она поворачивает к идеализму, от атеизма к теизму. Но уже один тот факт, что на место старого, «естественного», выросшего из глубины народной психологии «бородатого» бога стал бог «бритый», принимавший формы различных философских построений и измышлений вроде «Мирового Разума» Гегеля, «Мировой Воли» Шопенгауэра или эмпирического бога Джемса,— один этот факт говорит о том, что юношеское увлечение буржуазии атеизмом не прошло для нее даром, что устои религии начали шататься, несмотря на все попытки и усилия подкрепить ее разного рода подпорками и философскими суррогатами бога. Но эти «подпор-

ки» не оправдали себя и одна за другой тоже рушились, не будучи способными сделаться широкими обобщающими принципами человеческого опыта. И тогда оставалось одно, говоря устами поповствующего философа Сергея Булгакова,— возврат «к вере детских дней, вере в распятого бога и его святое евангелие, как высочайшую и глубочайшую истину о человеке и его жизни» («Интеллигенция и религия»). Круг замкнут!»

Таким образом, к концу XIX века буржуазная религиозная мысль оказалась перед банкротством, и потому широкой волной разливается та психология, которую гениально выразил Достоевский: «Я — дитя века, дитя сомнения и неверия».

Такова в общих чертах концепция и структура этой моей книги, и в ней — больше, пожалуй, в структуре, чем в концепции,— редакция «Атеиста» увидела ее ценность. Ценность эта — как мне было сказано главным редактором И. А. Шпицбергом — заключается в том, что общая схема, намеченная Энгельсом, расцвечена в ней убедительными и яркими примерами, высказываниями мыслителей, характеризующими и иллюстрирующими исторический процесс распада религии, и рядом вопросов и глав, углубляющих проблему, таких, как «Об идеале и религии», «О подсознательном и сознательном в религии», «О смысле жизни», «Корни религии в СССР» и т. д.

Одним словом, книга была принята, очень быстро вышла, и я с глупым, вероятно, видом, как отец своего первородного сына свое любимое детище, держал ее в руках, зелененькую, очень, по нынешним критериям, простенькую, но такую милую и трепетную, свою!

Считаю своим долгом сказать что-то и о «восприемнике» этого моего детища — об издательстве «Атеист», очень интересном и, по современным понятиям, не совсем обычном явлении.

Прежде всего, это было не государственное, а общественное издательство, созданное усилиями небольшой, можно сказать маленькой, группы энтузиастов, воспринявших гениальный ход ленинской стратегии — новую экономическую политику — как высвобождение и развертывание не только «купецкой», но и более общей и многосторонней инициативы в разных областях общественной жизни, в том числе и идеологической.

Помещалось оно, это издательство, в небольшом,

в три комнатки, флигелечке, даже без вывески, стоявшем в не очень удаленном от центра, но довольно глухом московском переулке возле Никитских ворот (Гранатный, 1). Две из них, тоже небольших комнат, занимало собственно издательство, его контора, а в третьей жил его основатель и бессменный руководитель Иван Анатольевич Шпицберг, одинокий, лет под пятьдесят человек, обрусевший латыш по происхождению, о котором тоже нельзя не сказать несколько слов.

Это был интереснейший человек, с острым, аналитическим умом и неутомимой жаждой знаний. Он обладал не столь часто встречающимся талантом слушать, улавливать суть вещей и таким образом восполнять недостатки своего образования. Человек несколько эпикурейского склада, общительный, открытый, без излишней подозрительности и догматической узости, он умел видеть людей, понимать их и привлекать к своему делу.

А дело он затеял тоже необычное. Будучи какое-то время на сложной следственной работе, он какими-то своими путями пришел к пониманию важности и необходимости углубленной постановки антирелигиозной пропаганды, в отличие от той лобовой, а порою и озорной и, следовательно, вредной тактики антипоповских карнавалов типа «Комсомольского рождества» и «Комсомольской пасхи»:

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов.

В борьбе против религии он видел ее не сиюминутный и подрывной, а эпохальный смысл, а потому как-то, при чьей-то помощи и поддержке,— что теперь, видимо, не так уж легко восстановить,— организовал сначала небольшую группу единомышленников и энтузиастов, из которой потом выросло это интересное и своеобразное «Научное общество «Атеист», добровольное и, надо сказать, довольно автономное.

Эпиграфом для всех его изданий было: «Религия — дурман для народа», а эмблемой — фигура освободившегося от оков человека, разбивающего и ниспровергающего мощным ударом молота статуи богов. В его программе, тоже печатавшейся на обложке почти каждого издания, указывались отделы: церковь и государство, история

атеизма, библиография и хроника антирелигиозного движения у нас и за рубежом. Но первым значился отдел «религиозно-исторический и культурно-исторический, посвященный вопросам истории религии и культуры как в нашем, т. е. материалистическом освещении, так и в освещении чуждых нам, но дающих обширный фактический материал исследователей, *особенно иностранных,* поскольку этот материал может быть использован в интересах воинствующего атеизма».

Одним словом, это общество, а вместе с ним и все его издания — книги и ежемесячный журнал «Атеист» — носили не поверхностно агитационный, а серьезный, углубленный, а порой и чисто, даже глубоко научный характер.

В качестве примера могу назвать: «Историю атеизма» Вороницына, большой, из пяти объемистых выпусков, труд, охватывающий действительно всю историю этого направления человеческой мысли от атеизма древности, через эпоху Возрождения, французского Просвещения и дальше, через немецкую философию к религиозному свободомыслию в России и к марксизму в русском революционном движении.

Из иностранных работ подобного рода не могу не отметить издание капитальнейшего — более тысячи страниц, разбитых на четыре выпуска,— труда 74-летнего члена британской академии Джемса Фрэзера «Золотая ветвь», основанного на многолетних научных исследованиях по истории и сущности первобытной религии и ее пережитков в современности.

В редакционных замечаниях «Атеиста» на это издание говорилось, что факты, приводимые исследователем, «метят дальше и выше, чем это угодно их автору», и потому «Золотая ветвь», «вскрывая самые истоки основных религиозных представлений и обрядов, давая их, так сказать, эмбриологию, оказывает незаменимую услугу марксизму и атеизму», и «мы не сомневаемся, что «Золотая ветвь» заставит наших антирелигиозников кое-что пересмотреть в вопросе о происхождении религии».

Таково общее направление и общий, лишенный узкого догматизма, дух этого интересного общества. А вот его будни.

Передо мной случайно сохранившийся в моих архивах, хотя никому теперь уже не нужный, напечатанный на тонкой, папиросной бумаге —

«Протокол № 129 общего собрания членов общества «Атеист» от 24 ноября 1929 года».

«Слушали: доклад И. А. Шпицберга о научно-пропагандистском плане «Атеиста» на 1930 год и об утверждении такового общим собранием».

Далее оглашается «список изданий, находящихся в настоящее время в работе и имеющих выйти к 1 января 1930 г.». В этом списке 30 наименований, тираж изданий 40—60 тысяч, все издания обеспечены бумагой. Дальше идет план изданий на 1930 год — 70 наименований.

«В прениях по докладу,— читаем мы дальше,— высказываются члены собрания. В частности, А. Аршаруни предлагает внести в план «Атеиста» дополнительно пять брошюр по серии «секты и религии Востока»: а) шаманизм, б) исламизм, в) шейхизм, г) ламаизм, д) дервишизм.

В. Летунов подвергает критике некоторые брошюры, изданные «Атеистом», и указывает на необходимость внесения в план трудов на тему: 1. «Идеалистическая философия и проблема материи» и 2. «Случайность, необходимость и целесообразность».

А в заключение, после доклада об экономическом положении организации («долгов у организации нет, а прибыль составляет 23 тысячи рублей»), выносится решение «о посылке 60 бесплатных библиотечек по 50 рублей каждая Дальневосточной Красной Армии им. Блюхера», и, наконец, вопрос «о приеме в организацию двух новых членов».

Вот в такую творческую, лишенную узкого догматизма и дружелюбную атмосферу я попал с первым моим опусом и сразу почувствовал себя там своим человеком. А главное, я почувствовал ободряющую заинтересованность к себе — теперь уже не я, а мне предлагали работу.

— А что вы думаете насчет Есенина? — спросил меня Иван Анатольевич.

А что я мог думать насчет Есенина? Я читал и помнил его «Письмо матери», «Анну Снегину», «Черного человека», меньше любил, а потому и меньше помнил «Пугачева», что-то еще, ну, и, конечно, слышал бесконечные разговоры о каких-то его похождениях и, наконец, о его трагическом конце.

В разговорах этих, а в конце концов и в печати все больше и чаще стало звучать слово «есенинщина», и вот о нем-то заговорил Иван Анатольевич.

— А что такое есенинщина? Думаете, просто хулиганство? Это — упадочничество, духовная пустота, уход от жизни, да, и в хулиганство, но и в трогательную грусть и безнадежность, а в конце концов и в смерть. А ведь поэт! Божией милостью поэт. Прочитаешь о каком-нибудь клене или белоствольных березках — сердце щемит. А помните вы такие строки?

Ах, какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь,
Стыдно мне, что я в бога верил,
Грустно мне, что не верю теперь.

Откровенно сказать, я не помнил этих строк и не знал.

— Так что же он — верил или не верил? — спросил Иван Анатольевич.— Накрутил он тут и напутал много. Что, если разобраться? А? Попробуем?

Так зародилась книга «Есенин — есенинщина — религия».

Ушел я в эту работу с головою, целыми днями просиживал в Ленинской библиотеке и проработал там и прочувствовал все четыре тома первого полного собрания произведений Есенина с белоствольными березками на обложке и всю журнальную литературу о нем. И тут я понял, что дело не в одних березках, которые и поныне являются символом есенинской поэзии, и дело не в одной лирике. Конечно, душа народа может выбирать из всего поэтического потока, рождаемого творческими исканиями и метаниями художника, то, что созвучно ее теперешним понятиям и настроениям, но тогда встает вопрос о субъективности и объективности,— где одно и где другое? Душа народа, как и душа человека, являясь субъектом истории, может и должна изменяться с течением времени, с изменением обстоятельств материальной и духовной жизни, в то время как душа поэта, ушедшего в вечность, приобретает свою историческую законченность и, следовательно, объективность. Даже если сам поэт в ходе своего развития от чего-то откажется и признает это «недействительным». Что было, то было.

Так это и получилось с Есениным. В предисловии к одному из последних сборников он пишет:

«Самый щекотливый этап,— это моя религиозность, которая очень отчетливо отразилась в моих ранних произведениях. Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той

среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности. Я вовсе не религиозный человек и не мистик. А реалист».

Поэтому он убеждает читателя не усматривать в произведениях этого этапа какие-то «протухшие настроения» и относиться ко всем моим иисусам, божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии».

То же самое сказано и в его автобиографии: «От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение, как *путь поэта до революции*».

В том-то и дело — пройденное невозвратимо и отказаться от него нельзя, потому что все это и составляет путь поэта в его объективной целостности. А потому заглянем, хотя бы мельком, в это пройденное.

Есенин повез в Петербург свои первые пробы пера, полные деревенских запахов и деревенской мистики.

Что он там встретил?

Атмосферу идеализма, мистики и эстетства, которой дышало подавляющее большинство предоктябрьской литературы и которая, конечно, захватила Есенина. Об этом кое-что рассказывал мне потом в личных беседах Сергей Митрофанович Городецкий, сборник стихов которого «Ярь», тоже наполненный полуязыческими-полурелигиозными образами, еще в деревне оказал на Есенина некоторое влияние и которому, по его словам, первоначально посвящалась и «Радуница», первая книга стихов молодого поэта. Но в интересах документальности сошлюсь на воспоминания самого Городецкого, напечатанные в свое время в «Новом мире» (1926, № 2).

«Что дал я ему? — спрашивает автор.— Положительного — помощь в первых литературных шагах. Отрицательного — много больше: все, что воспитала во мне тогдашняя литература питерская — эстетику рабской деревни, красоту тлена и безысходного бунта. На почве моей поэзии, так же, как Блока и Ремизова, Есенин мог только утвердиться во всех тональностях «Радуницы», подслушанных им еще в деревне. Стык наших питерских литературных мечтаний с голосом, рожденным деревней, казался нам оправданием всей нашей работы и праздником какого-то нового народничества. Нам казалось, что празднуем мы, а на самом деле торжествовала свою победу идеалистическая философия, теория нисхождения Вячеслава Иванова, который тоже весьма сочувствен-

но отнесся к Есенину. Но была еще одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это — Клюев... Он был лучшим выразителем той идеалистической системы образов, которую нес в себе Есенин и все мы. Но, в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру».

Можно ли после этого всерьез принимать «самоотвод», сделанный Есениным своей поэзии первого и второго периода, и тем более совсем несерьезное заявление, что он может написать и атеистическую поэму?

Да и можно ли отнять или изъять у Есенина его религиозные стихи и кастрировать, таким образом, противоречивое, сложное, и именно сложностью этой и богатое, творчество поэта без нарушения и даже разрушения его как органического художественного целого?

Попробуйте-ка отделить религиозный вопрос от всего творчества у Достоевского. Что останется от этого мирового гиганта, так как религия, именно как мироощущение и мироотношение, была тем центральным узлом, где сходились для него все острейшие проблемы современности?

Так же и Есенин. Художественное произведение, а тем более целый творческий период у настоящего, большого художника должны пронизываться единой руководящей, философской, я бы сказал, мыслью, единым настроением, системой образов, должны отражать в себе симпатии и антипатии, взгляды и настроения автора, его «приятия» и «неприятия» — одним словом, должны являться художественно цельным единством мировоззрения и мироощущения. Все это в его философской цельности или раздвоенности, в борьбе, сомнениях и колебаниях, а временами даже в полном хаосе мы и считаем творчески принадлежащим поэту.

Вот эта, лишенная упрощенчества, позиция и легла в основу той моей книги о Есенине, есенинщине и религии. Нет, не одна только лирика, клены и белые березы, не одни рязанские просторы составляют цельность и ценность поэзии Есенина. Это куда более сложный и, я бы сказал, трагедийный путь через крутые виражи и острейшие противоречия эпохи, в которой он прожил свою до обиды короткую, но такую звучную жизнь. И чувство Родины, основное в его творчестве, соответственно меня-

лось и углублялось в разные периоды этой сложной жизни.

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой пустырь,
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Этот общий тон, созвучный Тютчеву («Эти бедные селенья»), Блоку («Россия, нищая Россия!»), являясь исходным в есенинском восприятии России, над которой слышится «трепет ангельских крыл», резко меняется, когда «задремавшая Русь» проснулась и «кроткая Родина» показала себя в огневом семнадцатом году.

Небо — как колокол,
Месяц-язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

Революция принята сразу и без остатка, и уж коли так,—

Да здравствует революция
На земле и на небесах.

Но подлинная революция шла своими, земными путями, она разбила мистический ореол, которым окружили ее горячие головы, показав свое настоящее суровое лицо. И поэт задумался:

О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
Кто это? Русь моя, кто ты? Кто?

Возникают новые опасности — образ Америки с ее «чугунной радугой» и «шляпками гвоздиными» вместо звезд, «Железный гость», «Стальная конница», победившая живых коней. Одним словом — «Трубит, трубит погибельный рог».

И поэт перестает понимать:

С того и мучаюсь, что не пойму,
Куда несет нас рок событий.

Поэт совсем растерялся:

И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Это положило начало тому, что в то время было названо «есенинщиной».

Но не век буре шуметь — пошумит и уляжется.

Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный проложенный путь.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране...

А в стране, тем временем, мужики сидят у съезжей избы и «свою обсуживают «жись», бывалый красноармеец «рассказывает важно о Буденном», а

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

И вот — трагедия отрыва от идущей мимо него жизни той самой Родины, которую он так любил и воспевал во всю силу своего искреннего и честного таланта.

В своей стране я словно иностранец.

В этом мире я только прохожий.

Разве не трагедия?

Поэт что-то хочет понять и осмыслить:

Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Но в эти усилия, в бодрую и радостную песнь современности все настойчивее врываются нотки тяжелых раздумий:

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!

В довершение всего развивается болезнь, художественно воплотившаяся в полумистическом образе «Черного человека» — «Я и разбитое зеркало».

Глупое сердце, не бейся!

Сердце, ты хоть бы заснуло.

Но сердце не спит, и поэт делает ряд жутких признаний:

Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Словом — «отговорила роща золотая».

Так раскрылся передо мною и смысл есенинских строк, с которых начался наш разговор с Иваном Анатольевичем, главным редактором журнала «Атеист».

Да! Лирика — это основа творчества Есенина, но лирика во всем ее трагедийном объеме, во всю глубину души, со всеми ее и сложностями, и тонкостями, и муками. Но всегда и во всем — всепобеждающая и завораживающая искренность.

Следующая тема была моя, собственная, которую я предложил тому же Ивану Анатольевичу,— «Достоевский и религия». Предложил я ее сам, по своей инициативе, потому что я еще с гимназических времен любил этого провидца человеческого духа, а Иван Анатольевич охотно утвердил эту мою заявку. Опять — целые дни, проведенные в библиотеке, опять — книги, журналы, воспоминания и даже собственноручные и тогда еще не опубликованные записи самого Достоевского с еще не разобранными до конца словами.

«Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей?» — это запись в день смерти его первой жены.

Или в другой, не опубликованной еще тогда записной книжке периода работы над «Записками из подполья»:

«Социалисты хотят переродить человека, освободить его [здесь слово не разобрано] без бога и без семейства. Они заключают, что, изменив насильно экономический быт [его], цель достигнута. Но человек изменится не от внешних причин, а не иначе, как от переделки [это слово написано неразборчиво] нравственной».

Все это — выдержка из моей, появившейся в результате проделанной работы книги: «Мученик богоискательства (Достоевский и религия)».

Но я не буду говорить о ней подробно, потому что она, в сокращенном, правда, виде, впоследствии вошла в мою основную и обобщенную, посвященную всем этим вопросам книгу «Религиозные влияния в русской литературе».

Вышла она в 1933 году, когда я, после романа «Самстрой», стал уже писателем и как будто мог бы уже отойти от этой, ставшей для меня боковой, темы. Но именно «как будто», потому что для меня как личности, для автобиографии моего духа и истории моей души эта тема оставалась все так же главной мировоззренческой темой мысли, и мне не то что хотелось, а мне нужно было завершить ее, как бы поставить последнюю точку не только для читателя, но и для себя лично в разработке этой кровной для меня проблемы. А так как общество и издательство «Атеист» к тому времени было ликвидировано, то книга вышла уже в другом, централизованном издательстве ГАИЗ (Государственное антирелигиозное издательство). А сам я, кстати сказать, тоже перешел, естественно, из общества «Атеист» в Союз воинствующих безбожников (СВБ), включившись в его и организационную и пропагандистско-лекционную работу.

Здесь я не могу не объяснить, хотя бы вкратце, самую постановку вопроса — почему «религиозные влияния», а не «атеизм» в художественной литературе? Конечно, это было бы заманчивее и в пропагандистском отношении как будто бы более важно. Но именно — «как будто бы». Это напоминает мне проблемы, вставшие передо мной позднее, в процессе работы над романом «Честь», когда я из мира светлой, чистой и благородной юности («Девятый «А», «Повесть о юности») перешел к изображению мира трудного, темного, даже преступного и когда мне говорили: «А зачем вам это? Вам что — не о чем больше писать?» И тогда я отвечал: «Почему не о чем? Я могу продолжать писать об отличниках, ударниках, комсомольцах. А кто будет писать о них — о трудных, заблудших, об их бедах, страданиях, ошибках и поисках правильных путей жизни? Кто им поможет?»

Так и здесь. Конечно, заманчиво показать развитие атеистической идеи в литературе и ее непобедимую силу. Но кто же объяснит читателю творчество Достоевского, Блока, некоторые ноты, нотки и мотивы в поэзии Некрасова, Шевченко, даже Горького? А читатели интересуются этими вопросами, подают соответствующие записки и на литературных и на антирелигиозных лекциях. Религиозники тоже не обходят этих вопросов, стараясь использовать их в своих интересах, в своей пропаганде, кивая на «умных людей» вроде Павлова, Толстого и других, которые-де стояли за бога.

И можем ли мы оставлять им это поле деятельности, стыдливо замалчивая острые вопросы, ограничиваясь лишь популяризацией атеистических мотивов в художественной литературе и затушевывая, а то и игнорируя религиозные мотивы в ней?

Наша пропаганда должна быть глубокой, острой, боевой, наступательной и потому — смелой. Не только популяризировать несомненное, а разъяснять сомнительное, спорное, не обходить острые моменты, а вскрывать их и давать им правильное разрешение — вот наша задача, не исключающая, а предполагающая, конечно, и показ положительных образцов атеистической мысли.

Поэтому нельзя говорить об атеизме Пушкина и не объяснять появившиеся в конце его жизни некоторые иные нюансы. Нельзя говорить о Горьком и обходить его «Исповедь» и проповедь богостроительства.

Или взять Некрасова, в творчестве которого, так же как и у Шевченко, прекрасно вскрывается классовая роль религии. А с другой стороны, Христос для него — «бог угнетенных, бог скорбящих», «бог гнева и печали», прибежище для рабов, высший судия, карающая десница для царей земных и в то же время воплощение высших нравственных качеств и вдохновитель народника-революционера, идущего в Сибирь за народное дело.

Кстати, разбору этого вопроса посвящена моя книга, вышедшая тоже еще во времена «Атеиста»,— «Поэт Некрасов и религия».

Но эти же мотивы, мотивы идеализации «чистого» христианства, сближение его с коммунизмом, представление о христианстве как воплощении высших этических принципов, мы встречаем у всех утопических социалистов (Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Вейтлинга) с их религиозно-романтической концепцией «правосудного бога», «бога-правды», «бога-справедливости», освящающего дело революционной борьбы.

Все это было в свое время выражением незрелости движения, незрелости сознания народа, которая не могла не отражаться в творчестве писателей, связанных с этим народом.

Ведь марсельезой Крестьянской войны в Германии был гимн «Господь наша сила».

«Чтобы воздействовать на массы, поэзия прошлых революций должна была отражать и предрассудки масс того времени».

Одним словом, нельзя искусственно кромсать живое тело литературы в поисках только «атеистических мотивов», так как тогда и Толстого с Достоевским можно сделать чуть ли не безбожниками, как это и получилось у одного известного по тому времени профессора, а в другом случае — идеологами поповщины (например, даже в сборнике статей издательства «Атеист» «Лев Толстой как столп и утверждение поповщины»).

Писателя нужно брать таким, каков он есть, во всей сложности и противоречивости его мировоззрения, популяризируя сильные его стороны, вскрывая и объясняя слабые и делая из всего этого поучительные и воспитующие выводы.

Важно объективно исследовать роль литературы и ее наиболее крупных представителей в том великом историческом процессе преодоления религии, который, несмотря на различия в эпохах, продолжался и продолжается на протяжении столетий, учесть положительные и отрицательные стороны этой роли, ошибки и достижения, объяснить и то и другое и найти для этого объяснения соответствующие обобщения и закономерности.

Особо в своей книге я выделяю Достоевского и Толстого, этих двух гениальных близнецов, в творчестве которых вопросы религии занимали центральное, стержневое положение.

И это не случайно, как не случайна и вообще та роль, которую играли эти вопросы в русской литературе.

Особенности русского исторического процесса, запоздалое, но чрезвычайно быстрое развитие капитализма и связанная с этим резкая ломка общественных отношений, слабость русской буржуазии, зависимость ее от царизма, с одной стороны, и от иностранного капитала — с другой, быстрый рост революционного пролетариата, выдвинувшего наиболее передовую и наиболее боевую партию большевиков,— все это обусловило то, что Россия была узловым пунктом всех противоречий империализма.

И русская литература отражала весь сложнейший переплет этих противоречий не только в Росии, но и во всей цепи мирового капитализма.

В этом, как мне кажется, одна из причин мирового значения русской литературы.

А так как религия является наиболее «общей теорией» старого мира, его высшей моральной санкцией и «критика религии есть предпосылка всякой другой критики» (Маркс), то отражение противоречий эпохи и принимало в русской литературе наиболее острую идеологическую форму борьбы вокруг религии.

«Нам прежде всего надо предвечные вопросы решить»,— говорит Иван Карамазов своему брату Алеше.

Достоевский и Толстой бьются над этими «предвечными» вопросами — о боге, о душе, бессмертии и т. д. и т. п.

Но вдумайтесь в ход их мыслей, в аргументацию, и вы увидите, что за этим «идеологическим дымом» скрываются актуальнейшие общественно-политические вопросы современности.

Чем жить? Как жить? Может ли разум лежать в основе человеческой деятельности? Какова вообще роль разумного начала в жизни? Что должно лежать в основе человеческих действий? Можно ли жить бунтом? Есть ли пределы человеческому своеволию? Какова роль насилия вообще? И какова природа этических принципов? Материальные или идеальные цели должны лежать в их основе? Что из всего этого характерно для русского человека? Можно ли вообще говорить о «русской душе»? Какова роль и назначение русского народа? Каково его отношение к другим народам? И наконец,— каково его отношение к революции и социализму?

Все эти вопросы варьировались и переплетались у Достоевского и Толстого, и за всеми ими, как это очевидно, скрывались коренные вопросы назревающей революции, выражавшиеся только в очень абстрактной идеологической форме.

Разрешались эти вопросы, конечно, в отрицательном для революции направлении. Ни Достоевский, ни Толстой не признавали, вернее, боялись революции, уходя от нее в расцвеченные их творческим гением дебри религии, но пути их были различны.

Достоевский идет от сентиментально-гуманистической жалости к «униженным и оскорбленным», доходит до бунта против «старухи процентщицы», против всей «мировой ахинеи», поднимает руку на весь мир зла и несправедливости, чтобы «схватить все за хвост и стряхнуть к черту», но, пугаясь своей собственной храбрости, опускает руку, реальную борьбу за перестройку мира подменяет нравственной («победи себя и победишь мир»),

на место политики ставит очищенную религию и «так-таки пятками вверх» бросается в трясину религиозности и политического мракобесия.

Толстой бунтовать не думал и шел от стихийного, такого органического и полнокровного, «толстовского» принятия жизни.

Но в своем стремлении оправдать ее именем бога он вынужден был во имя этого самого бога поднять бунт против официальной церкви, самодержавия и всей его системы насилий, против противоречий между богатством и бедностью, против эксплуатации, нищеты и мучений трудящихся масс.

Одним словом, Достоевский во имя бога отказался от бунта, Толстой во имя бога поднимал бунт. Один хотел примириться, но не мог, другой не хотел бунтовать, но бунтовал. Так, каждый по-своему, два гения в абстрактной форме отражали противоречивые процессы назревавшей буржуазно-демократической революции, за которой даже и в их сознании стояла тень социальной революции пролетариата.

Поэтому, при общей ярко выраженной направленности их творчества на укрепление религии, оно содержит совершенно явные элементы, подрывающие эту религию.

Уже самый факт постановки «предвечных» вопросов в ту эпоху играл несомненную роль в деле пробуждения мысли, что я испытал и на самом себе. Есть бог или нет бога? Вопрос, который раньше был уделом Прометеев, избранных героических личностей и мыслителей, теперь ставился во весь рост перед самым рядовым читателем. Пусть сами писатели разрешали его каждый по-своему, но мысль читателя шла своими путями — перед ней ставились немыслимые раньше вопросы, раскрывались совершенно неожиданные их стороны и грани, и то, что раньше казалось нерушимым, как крепость, начинало шататься.

Стремление укрепить религию заставляло писателей очищать ее от всякой гнили. Это приводило к критике церкви, к разоблачению связи ее с эксплуататорскими классами, к вскрытию классовой роли религии.

Соответствующие места из произведений Толстого общеизвестны. Но и Достоевский дает нам немало прекрасных примеров подобного рода. Возьмите историю с Ришаром, которого провожают на эшафот с ханжескими

вздохами «умри во господе». Возьмите рассказ князя Мышкина о казни, которую он видел за границей, и роли попа в этой казни. Возьмите знаменитый разговор «милой» карамазовской семейки о мистике, когда на слова Ивана, что «коли истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом упразднят», Федор Павлович цинично заявляет: «Ба! А ведь ты, пожалуй, прав! Так пусть стоит твой монастырек, Алеша, а мы, умные люди, будем в тепле сидеть да коньячком пользоваться».

Наконец, Достоевский и Толстой, как великие писатели-реалисты, не могли не отразить и социально-психологических корней религии. Возьмите формулу Дмитрия Карамазова, что бог есть «трагический гимн подземных человеков», или не менее яркую мысль Кириллова: «Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя».

Припомним потрясающий по своей психологической напряженности и жизненной правдивости разговор Раскольникова с Соней, этим «бесконечно высшим мертвецом». «Что бы я без бога-то была?» — говорит проститутка Соня, потерявшая всякую радость в жизни и ощущая ее в боге. И сопоставим это со сценой, когда Катюша Маслова после безумного бега за поездом, увозящим Нехлюдова, осталась одна, ночью, на ветру, с распущенными волосами. Эту потрясающую сцену Толстой заканчивает короткой, но многозначительной фразой: «С этих пор она уже никогда не верила в бога».

Так гениальные писатели, предчувствующие великую социальную бурю, субъективно старались укрепить религию, но объективно, силою своего художественного гения, наносили ей сокрушительные удары и этим самым, против своей воли, помогали передовым общественным силам в подготовке этой бури, в процессе расшатывания, выражаясь словами Гольбаха, «мрачного шатающегося здания суеверия».

Но буря идет, буря нарастает, и вот уже раздается ее вещий призывный клич: «Пусть сильнее грянет буря!»

Горький!

И в ответ... В ответ слышен ноющий голос собачьей старости, или, по выражению Плеханова, «бледной немочи» российской буржуазии:

Повелительное слово,
Веет слово: «Умирай».

(Сологуб)

Или:

Последним ароматом чаши —
Лишь тенью тени мы живем
И в страхе думаем о том,
Чем будут жить потомки наши?

(Мережковский)

Символизм... Он создает целую философскую и поэтическую систему, в которой субъективный идеализм (Андрей Белый) сочетается с объективным (Вяч. Иванов).

Вместо объективной действительности — переживание или потусторонняя «реальность», вместо факта — намек, вместо причинности — творческий произвол художника, вместо познания — мистическая интуиция, вместо идеи — настроение, вместо определенной догматической религии — неясное «томление к иному бытию», вместо социальной борьбы — духовная свобода и устремление ввысь, «от реального к более реальному»,— таково идейное содержание искусства тех, кто «ищет дорогу на небо, потому что потерял дорогу на земле» (Плеханов).

А литература мелкобуржуазной интеллигенции тех лет (Андреев, Арцыбашев, Юшкевич), не становясь открыто на защиту религии, на все лады критиковала безрелигиозное мировоззрение, действуя методом доказательства от противного и доказывая, что жизнь без бога — сплошной ужас и отчаяние, «провал», «черная дыра», убеждая отказаться от широких социальных целей и «идти своей дорогой, так, как я иду своей, ничего не утверждая, ничего не обещая, для себя отыскивая путь, зная только то, что я ничего не знаю» (Арцыбашев).

Или — устами его главного героя Санина:

— Человек стоит на вечном пути, и мостить путь к счастью — все равно что к бесконечному числу присчитывать новые единицы.

— Значит, все пустота. Значит, «ничего» нету?

— Я думаю: ничего.

Верная всей этой философии Зинаида Гиппиус в рецензии на горьковские сборники «Знание» хвалит Леонида Андреева за то, что он «тяготеет к символизму, за грани эмпирического, по ту сторону земной жизни». «Те же,— продолжает она, явно имея в виду Горького,— кто остается в своих произведениях на земле — скучны, неинтересны, мертвы».

А Горький всем этим мистическим устремлениям «куда-то» и «к чему-то» противопоставил свое ясное

реалистическое восприятие жизни со всей своей яростью к «живоглотию», с презрением к мещанству, «скотному двору спокойного довольства самим собой» и со страстной уверенностью в победе Человека.

Пусть этот «трагически прекрасный Человек» — «один среди загадок бытия». Пусть «страх Смерти властно гонит Человека в темницу Веры», пусть «Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаянье, Тоска... поют ему угрюмо песнь, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознанье, бессильна Мысль, смешна святая Гордость»,— пусть!

«Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед и выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба».

Этой книгой, как мне казалось, я вбил последний гвоздь, по крайней мере *мой* гвоздь, в гроб исторически обреченного бога и на сколько-то лет успокоился, переключившись на другие, земные дела и темы — написал, и не мог не написать, «Марью», как мой творческий отклик на войну. Повестью о школе «Девятый «А», получившей теплое «добро» от А. С. Макаренко, было положено начало новому не то циклу, не то направлению в моей работе, которое затянуло меня целиком и полностью. Это — проблемы формирования человека, сначала в нормальных, школьно-семейных условиях («Повесть о юности»), затем в условиях сложных и трудных («Честь», «Трудная книга» и т. д.). Все это вызвало такую лавину читательских писем и откликов, которая меня и обрадовала и испугала — настолько все это было широко и глубоко. И я, можно сказать, забыл о всех своих религиозных спорах и исканиях, которым отдал когда-то несколько лет жизни и столько жара душевного.

Но среди широкого круга вопросов, которые, кстати сказать, еще нуждаются в обработке и осмыслении, шли письма, не просто касающиеся, а ставившие вопросы религии, связывая их с задачами воспитания, нравственности, а то и с более широкими проблемами нашего общественного развития. Я отвечал на них, порою заводя довольно интересные дискуссии, но до какого-то времени

это оставалось где-то на боковых линиях моих интересов.

Я по-прежнему считал, что религия исторически обречена и эти письма и мнения являются неизбежными ее пережитками, так сказать, арьергардного порядка. Но ход жизни и наблюдения над нею показали, что точку здесь ставить еще рано — заметно увеличилась посещаемость церкви молодежью, исполнение, если не явное, то тайное, религиозных обрядов, стали появляться и нательные крестики, и молодые щеголеватые попики. Получили распространение и различные религиозные секты.

А вот, может быть, и уникальный, но весьма симптоматичный случай: 26 лет человек был учителем и любил свое дело, потом вынужден был оставить школу и стал священником. Мотивы — творящаяся безнравственность в жизни и односторонность воспитательной работы: «За воспитанием политическим забывается подлинно нравственное, это приводит к аномалиям. Люди жалуются на грубость, неуважение к человеческому достоинству, вульгарность, мещанство, бессердечие и как результат всего — преступление». В доказательство он приводит в своих письмах многочисленные факты, взятые и из своей, местной жизни и из печати.

«Мне кажется, как на одну из причин этого печального явления нужно указать на забвение или полное отсутствие *нравственного* воспитания в школе».

Все это настораживает и углубляет проблему — точку действительно ставить рано. Особенно утвердил меня в этом очень свежо думающий критик Евгений Сидоров, который, увидев у меня упомянутую книгу, выпросил ее «хоть полистать», но уехал с ней в командировку в Кению и Танзанию и оттуда написал мне такое письмо:

«Взяв с собой в дорогу Вашу книгу «Религиозные влияния в русской литературе», я и не предполагал, что ее проблематика так близко соприкоснется с содержанием моих лекций в университетах Кении и Танзании. Молодую африканскую интеллигенцию страстно волнует опыт Толстого и Достоевского. Думая сначала посвятить основное время современной советской прозе и поэзии, я вынужден был несколько перестроиться и, по просьбе устроителей моей поездки, каждый раз касаться традиций Достоевского и Толстого, значения их правдоискательства для *самого духа* нашей отечественной художе-

ственной мысли, и современной в том числе. Представляете, какую новую окраску вдруг получила для меня Ваша книга в этом неожиданном африканском контексте! Я снова перечитал ее и готов повторить Вам, что она написана горячо, искренне, во многом несправедливо, но сама эта несправедливость идет в первую очередь от времени, от истории, а также от Вашей тогдашней натуры, спешащей рассчитаться с прошлым по всем статьям.

Очень *личная* книга. Несмотря на форму историко-литературного и философского *научного* очерка, в ее молодом, резком стиле живет и бьется в ней весьма симптоматичное противоречие, свидетельствующее о правде Вашего субъективного высказывания. Почти в каждой главе, посвященной гениям, которых Вы почитаете читательским и духовным наитием, идет борьба между объективной плотью страдающей мысли и схематизированной аскезой литературной социологии. Ваши описания предмета почти всегда сильнее выводов общего свойства. И сегодня для меня совершенно ясно, что побеждают все-таки проклятые вечные вопросы, а не точные формулы ответов, казалось бы исчерпывающих суть дела.

Я атеист, как и Вы, но потеснение духовного начала в нашей социалистической действительности волнует меня, как и Вас, больше всего на свете. Было время, когда наше человековедение (и литература в частности) заметно отвлеклось от задачи *глубокого объяснения* меняющегося мира и человека, бросив основные силы на его *переделку*. Ваша книга — одно из точных свидетельств этого всесокрушающего пафоса немедленного духовного переустройства. Между тем второе, как показал наш, и не только наш, опыт, само по себе бессильно без первого,— здесь своя могучая диалектика. В этом ряду проблем и воспитание нового, свободного от потребительства и эгоизма, сознания, «я» (человек и природа), и извлечение уроков истории для действительно научного (а не просто демагогически жалаемого), но недостижимого прогнозирования нашего социального и нравственного будущего.

Слава богу, сегодня лучшие из наших писателей вновь повернулись к проблемам общего, глобального свойства, главные из которых — смысл истории и смысл человеческой жизни. Пока жив человек, он обязан задавать себе

эти вопросы, потому что он жив *ими,* как существо общественное и духовное. Недаром сегодня именно русская классика, и в первую очередь Толстой, Достоевский, Пушкин, Гоголь вновь родились для нашего сознания и способны столь полно утолять нашу духовную жажду. *Скорых ответов на вопросы не найти,* но писательство, и Ваше в том числе, всегда было у нас в России сильно своей социально-нравственной разведкой и проповедью».

Письмо это взволновало меня, особенно упоминание о неожиданном «африканском контексте» моей книги и ее проблематики. Оказывается, Толстой и Достоевский — это не только наши русские и не только европейские мыслители, аккумулировавшие в себе далеко не исчерпанные еще сгустки проблем, но их опыт, их проблематика, их правдоискательство волнуют, притом «страстно волнуют», и молодую африканскую интеллигенцию. А вся эта проблематика и все правдоискательство теснейшим образом связаны с теми «предвечными» вопросами, над которыми бились эти гиганты мысли.

Не забудем и о том, какую трагическую роль до сих пор играют религиозные распри в мире — Северная Ирландия, Ольстер, Ливан, Иран. Пусть в конечном счете за всем этим стоят какие-то экономические факторы и интересы, но убивают-то люди друг друга каждый за своего бога. Поэтому наше отношение к религии играет свою и очень немалую роль в общем балансе международных факторов в нашей борьбе за мир и социальный прогресс.

Заинтриговало меня и проскользнувшее в письме обвинение меня в какой-то несправедливости, допущенной при рассмотрении проблем, и при ближайшей встрече с Евгением Юрьевичем я спросил: что это значит и как это понять?

— А я на это там же в письме, по-моему, и ответил,— сказал он.— Это не ваша вина, а ваша беда, беда того времени. Вульгарный социологизм и вытекающее из него некоторое искажение черт и характеристик писателей. Аскеза! Схема! Из-за нее вы хотели всех и вся переделать и перестроить, и притом срочно и немедленно. А задача в том, чтобы исследовать.

...То, что мимоходом упомянул Сидоров, — исследование религиозности — дело для меня не новое. Не говоря уже о такой самодельщине, которую я проделывал в

свое время с анкетными опросами своих воспитанников в детском приемнике, уже много позднее я получил от Союза воинствующих безбожников две командировки с этой же исследовательской целью: одну куда-то в Воронежскую область, другую — под Москву, в Егорьевский район, считавшийся тогда центром старообрядчества. Прожил я там лето под видом дачника, помогал колхозу, работал вместе со всеми на поле, вязал снопы, таскал их в «крестцы». И заводил знакомства, беседовал — «о том о сем», о грибах, о погоде, о разных семейных и бытовых делах. «Веду на личное сближение»,— как записано в моей путевой тетради.

Теперь я перелистываю эти свои многостраничные записи и поражаюсь — поистине дичь, кладезь глупости.

«В России будет еще царь, Михаил Федорович. Он не умер, но спит во храме св. Софии. Проспится и будет еще царствовать три года. А потом народится антихрист».

«Бабка купила себе к смерти туфли. Искала с хорошими подошвами — «а то на том свете огненную реку придется переходить, чтобы не растопились».

«Церковь не закрыта, но попов нет, привозили одного из какого-то другого села, но он напился и свалился в канаву, сломал ребро. С тех пор его перестали отпускать оттуда, берегли.

Теперь служат старики по каким-то древним книгам. Первый из них Федосей, седой, лохматый, диковатый. «Лешак», как его прозвали в деревне. Ночью он караулит колхозную ригу, интересуется звездами, а днем лежит на печке и читает «святые книги». Очень боится ареста».

Все это — воспоминания прежних лет, преданья старины глубокой, и все это ушло в историю. В тот же бездонный архив Истории я хотел сдать и все свои любительские попытки исследования того, что отжило, что казалось мне таким ненужным и таким далеким от сегодняшних бед и кровоточащих проблем преступности, так несовместимых с борьбой за нового человека. И вот в самый разгар моей газетной полемики по этим вопросам я получаю письмо.

«Здравствуйте, уважаемый Григорий Медынский!

Простите за беспокойство, но мне хочется написать Вам свое суждение о последних Ваших статьях, которые я прочитал с интересом.

Говоря о конфликтах человеческой личности, Вы делаете вывод, что причина их всегда таится в банкротстве духовного мира, или, как Вы выражаетесь, в потере «нравственного начала».

Охотно с Вами соглашаюсь. И далее Вы продолжаете:

«И в этом сложнейшем вопросе нам нужно еще разбираться и разбираться: когда и как и под влиянием чего формируется нравственное начало».

Здесь Вы говорите, как Колумб, который только что открыл Америку. А между тем с древнейших времен известно, что человек духовное существо, в котором ни на минуту не прекращается борьба двух начал: добра и зла. Судить о процессе этой борьбы в каждом из нас мы можем только по себе, но понять в этом отношении другого нам невозможно, потому что у каждого она имеет свою неповторимую особенность. Да и в себе-то мало кто из нас только разбирается. Ведь неспроста гласит мудрое изречение: «Познай самого себя, и ты покоришь мир». А Вы хотите сделать наоборот: не познав самого себя, покорить мир».

Это был явный и решительный вызов: «Иду на вы!» И это был далеко не тот человек, что какой-то егорьевский полуграмотный «Лешак», а совсем не глупый и по-своему начитанный и понаторевший рабочий завода «Газоаппарат», 50 лет, который решил вступить со мной в серьезную и принципиальную полемику по самым серьезным и принципиальным мировоззренческим вопросам. Полемика с перерывами продолжалась несколько лет, выдерживая тем не менее единую логическую линию. В результате получился своеобразный «Спор о вере», по своему объему и содержанию никак не вмещающийся в это мое повествование, и в целом виде он опубликован в журнале «Наука и религия». Но в то же время я считаю невозможным полностью обойти его стороной, и потому коренных вопросов спора, хотя бы в выдержках, я все-таки коснусь, поскольку передо мной неожиданно открылась возможность исследовать религиозные настроения нашего времени изнутри и на более глубоком уровне.

Спор завязался почти с самого начала, с атаки моего оппонента на формулы Маркса — «характер человека создается обстоятельствами» и «бытие определяет сознание».

«Здесь уже нравственное начало играет приниженную, подчиненную роль,— говорит он.— О каких нравственных ценностях можно вести разговор, когда вся моя жизнь подчинена обстоятельствам, а то чудо человека, о котором Вы говорите (рождение моральных ценностей), есть всего лишь куча мертвой материи».

Вторая точка спора — личность и общество.

«Проблема общества решается в проблеме личности, а никак не наоборот, что вытекает из Ваших рассуждений. Личность есть первичная ячейка общества. Если вопрос борьбы добра и зла не решится положительно в личности, тем более он не может решиться в обществе.

Личности людей — это кирпичики в общественном здании. Чем больше крепких, полноценных кирпичиков заложено в строительство здания, тем крепче само здание. И наоборот, чем больше в нем слабых, неполноценных кирпичиков, тем оно слабее и ненадежнее».

С ответом на этот вызов я, конечно, не замедлил:

«Я согласен с Вами в той роли, которую Вы отводите личности, хотя с оговоркой.

«Личность есть первичная ячейка общества,— говорите Вы.— Личности людей — это кирпичики в общественном здании». Но «кирпичики» предполагают механическое соединение, когда на самом деле личности находятся в постоянном и очень сложном взаимодействии и друг с другом, и с тем, что получается из этого взаимодействия, т. е. с обществом.

К тому же термин «кирпичики» предполагает пассивность, в то время как личности активны в этом процессе общего взаимодействия. Поэтому я бы предложил другую формулировку: «человек — это элемент общества», элемент активный и творческий. Поэтому борьба за личность, за «элемент» и есть борьба за нравственную атмосферу общества.

Не согласен я с Вами и в понимании сущности человека. Это вовсе не «куча мертвой материи» — как Вы это, по-видимому, приписываете мне, и не «духовное существо», как утверждаете Вы. Да, это материя, но создающая из себя в ходе исторического развития те «духовные», как их принято называть, ценности, в том числе, кстати, и заповеди Иисуса, в которые верите Вы как в богоданные. И поверьте, Сергей Александрович, что это не принижает, как утверждаете Вы, а возвышает человека: он не исполняет «страха ради иудейского» преподан-

ный ему свыше закон, а сам создает его, свои идеалы, цели и стремления и сам ищет и прокладывает пути-дороги к их осуществлению. Разве это не возвышенно?

Впрочем, это тема для большого разговора, который у нас, вероятно, получится. А пока позвольте пожелать Вам всякого добра».

А прочитав в ходе дискуссии мою «Трудную книгу», мой оппонент нашел нужным сделать свои замечания и по затронутым в ней вопросам.

«Вы пишете: «Нельзя утверждать добро, не ниспровергнув зло»,— говорит он.— Здесь подразумевается борьба со злом в обществе. Здесь все внимание сосредоточивается на следствии и остается в тени сама причина, т. е. личность, в которой, собственно, и рождается и добро и зло.

Вы избегаете психологического анализа затронутого вопроса и становитесь в своих рассуждениях на позицию объективизма.

Преступность — это открытая, видимая форма проявления эгоизма. Но его ничуть не меньше, а может быть, и больше проявляется среди нас в невидимой форме. И еще вопрос: какой из них более опасен и не первый ли порождает второй.

Эгоизм является носителем всякого зла. Значит, чтобы утвердить добро, нужно низвергнуть эгоизм. Это видоизмененная Ваша формула. Но где, в окружающей среде или внутри нас самих? Вот вопрос...

Следуя высоким принципам гуманизма, Вы приобрели моральное право смотреть на проблему преступности как на борьбу за самое личность, как за возрождение в ней нравственного начала. В этом большая ценность Вашей книги. Этим Вы сыскали любовь тысяч сердец, которые невольно потянулись к Вам со своей жаждой к истине.

Многочисленными письмами читателей и заключенных Вы убедительно доказали, что «уважать человека нужно»; что проблема личности имеет сложную и многогранную зависимость от состояния общества, от жизненных обстоятельств и, главное, от своего нравственного начала.

Рассматривая вопрос преступности с позиции гуманизма, Вы приходите к выводу, что путем насилия над человеческой личностью зло не уничтожается, а лишь видоизменяется, принимает новый, еще более зловещий характер.

И здесь нравственное начало в каждом человеке становится краеугольным камнем, решающим в деле торжества добра над злом.

Таким образом, Вы вплотную подошли к формуле: *эгоизм побеждается каждым человеком внутри самого себя.*

Но поскольку эгоизм олицетворяет в человеке все его физиологические потребности, Вы не можете отрицать всю его важность. *Тогда бы Вы не могли быть материалистом. Сущность материализма и состоит в том, чтобы в материальных потребностях видеть весь смысл человеческой жизни.*

Признавая вышеуказанную формулу, Вам бы пришлось признать в человеке высшую духовную силу, олицетворяющую собой нравственное начало. С одной стороны, Вы не можете отрицать всю важность нравственного начала; с другой стороны, Вы не можете противопоставлять эгоизму наличие другой, высшей силы, которая фактически только одна и может одолеть эгоизм».

Передо мной открывался, таким образом, довольно умный и ловкий противник, с которым вульгарной формулой «бога нет» не обойдешься, и затронутые им вопросы о материализме, эгоизме и нравственном начале приобретали некую глубину, остроту и... запутанность. Все это заставило меня изложить свое понимание всех этих проблем.

«Прежде всего два слова насчет «Америки», которую я якобы решил открыть. Нет, Сергей Александрович, никаких «Америк» я открывать не собираюсь, я просто хочу осмыслить вопрос о нравственности с позиций нашего времени,— ведь Вы не можете отрицать, что вопросы эти вечные, и каждая эпоха, и каждое поколение решает их заново, что-то принимая и что-то отбрасывая от опыта, прежнего опыта человечества, и что-то привнося свое. Также это приходится делать и нам, особенно сейчас, когда вопросы нравственности силою вещей выдвигаются на первое место. Вот в этом и заключается моя цель: поставить вопросы нравственности в фокус общественного внимания.

Тем более не могу я принять Вашего положения: «С древнейших времен известно, что человек — духовное существо». Откуда это Вам известно? Нам известно одно: что со времен древней греческой философии идет борьба между одним и другим пониманием человека. Да, сначала

мысль о материалистическом понимании и толковании мира и человека только лишь слабо брезжила, не имея для этого пока достаточных фактических обоснований, но ведь и восходящий день сначала только чуть брезжит где-то на краешке неба, а потом разгорается, и ничем его уже не остановишь, потому что непобедимы материальные законы его пришествия — вращение Земли.

Так же непобедимы и законы развития человеческого разума, которые, по мере накопления знаний, неумолимо подтачивали казавшееся вначале крепким, как вечность, здание идеализма и обосновывали шаг за шагом, век за веком, укрепляли, может быть, слабую вначале, но гениальную догадку первых материалистов.

Нет, человек — существо материальное. Но в том и заключается его величие, что в развитии своем он поднимается над своей материальной, животной, как Вы сами выражаетесь, природой. Кроме еды и прочих физиологических потребностей у него появляются высшие понятия и стремления, вернее — развиваются, так — как в элементарной, примитивной форме что-то подобное можно наблюдать и у животных (инстинкт долга и преданность у собаки, супружескую верность у орла, самоотверженность птицы в защите своих птенцов и т. д.). Это все, конечно, инстинкты, зародыши, но зародыши, открывающие возможность подняться над чисто биологическим инстинктом самосохранения и стремления выжить. И вот вы входите в лес, и у вас перед глазами назойливо вертится птица, усиленно чирикает, пищит, чтобы обратить на себя ваше внимание, с опасностью для своей жизни стараясь отвлечь вас от спрятанного где-то поблизости гнезда. Хотя в то же время есть кукушки, разбрасывающие яйца по чужим гнездам, и есть свиньи, поедающие своих детей.

И не здесь ли нужно искать начало того водораздела, который много позднее у человека превратится в водораздел между добром и злом? Это будет тогда, когда он, живя в обществе, придет к мысли, что на поедании детей и вообще себе подобных жизнь строить нельзя. Это будет тогда, когда, живя в обществе, он разовьет в себе общественные, высшие понятия, чувства и стремления — к знанию, к добру, справедливости. А так как эти понятия и чувства будут находиться в вопиющем противоречии с биологической первоосновой человеческого бытия, то они будут казаться чудом, божественным наитием, законом,

данным свыше. Ведь и гром с молнией казались тогда тоже голосом с неба. Таким же голосом неба показались ему и заповеди любви: «Все, что желаете, чтобы делали для вас люди, то делайте и вы им». Это закон общественной жизни, которому религия дала свою религиозную форму. Но эта форма распалась, пусть не распалась, распадается, но она исторически обречена, это процесс, который никакими заклинаниями не остановишь. Но общественная жизнь остается, и нам нужно строить ее на новых началах, на сочетании нравственного начала, выработанного в процессе развития человечества, и тех новых условий и обстоятельств, в которых современному человеку приходится продолжать свое великое дело создания духовных ценностей.

Это не противоречие в суждении, как кажется Вам, а противоречие жизни. И это не принижает человека, как утверждаете Вы, а, наоборот, возвышает. Он не бессильный исполнитель свыше данного ему закона, а создатель собственных нравственных ценностей, по которым пусть медленно, с ошибками, но строит он свою жизнь и строит самого себя.

Повторяю: я не собираюсь открывать никаких «Америк» и ничего не хочу ни утверждать, ни отвергать догматически. Тем более я понимаю, что если Вы верите в Иисуса и духовное начало, то убедить в обратном Вас невозможно: вера на то и вера, она логики не признает. Я просто размышляю, излагаю мой ход мысли. Но в ходе этого размышления мне искренне хочется понять и Вашу позицию.

Итак: в признании роли и значения нравственного начала мы с Вами в основном, на мой взгляд, сходимся. Расходимся мы, кажется, в понимании истоков этого нравственного начала. Вы, как и я, отвергаете библейского бога с седой бородой, восседающего не то на облаках, не то на троне. Это явный и глупый примитив. Отвергаете Вы, кажется, насколько я Вас понял, и бога как стоящего над человеком духовного законодателя нравственных норм, которые человек обязан выполнять в силу своего положения. В чем же тогда источник нравственного начала? «Это его духовное существо, его разум»,— пишете Вы. «Разум — это та божественная искра, которая дана, заложена в человеке для его спасения». «Дана», «заложена», «для спасения»... Кем дана? Кем заложена? Кто заботится о спасении человека? По-

чему? А перед этим Вы упрекаете меня, что я, сосредоточивая внимание на следствиях, оставляю в тени причину, «т. е. личность, в которой, собственно, и рождается добро и зло». Так что же: *«дано»* или *«рождается»*? Да, источник нравственных ценностей — в личности. Но что это — заложенная «божественная искра» или человеческая искра, рождающаяся из мрака животного бытия? Вот тот вопрос, который нас, кажется, разделяет. Мое понимание этого вопроса я изложил выше.

Это — рождение искры в процессе общественной жизни, искры, возвышающей человека. А почему этого не можете принять Вы? Что дает Вам «заложенная» искра? Чем она лучше «вспыхнувшей искры»? Чем это может помочь нам в борьбе за нравственное начало?

Вот тот единственный вопрос, на который мне хотелось бы получить от Вас ответ».

Я повторил его в следующем письме, но ответа так и не получил, мой оппонент потонул в словесной шелухе типа:

«Любовь есть бог, бог есть дух. Если в нас пребывает любовь, то мы живем в боге и бог живет в нас — в этом единственное познание нашей жизни здесь на земле».

А потом он и совсем переходит в контратаку, по какой-то совершенно непонятной логике соединяя несоединимое: концепцию атеизма и учение церковников.

«Вам кажется,— пишет он,— что Вы утверждаете что-то новое, на самом деле Вы действуете с тех же избитых позиций, что и церковники всех мастей и окрасок... и Ваше «нравственное начало» чем лучше библейского бога с седой бородой?»

Дискуссия начинала переходить в перебранку, и тогда я поставил главный вопрос, из-за которого вообще пошел на эту переписку.

«В прошлом письме я у Вас спросил: а может быть любовь без бога? Вы мне не ответили, уклонились.

А вот что отвечает на это жизнь, история.

«Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни»,— это писал Дзержинский из тюрьмы, которая отняла у него 19 лет жизни.

«Надо уметь понять величие *сознательного отдавания себя*... Революционеров никто не принуждает терпеть лишения и презирать смерть, они идут на подвиги по велению сердца ради счастья других»,— это писал Чичерин,

дворянин, аристократ по происхождению, получивший богатейшее наследство и отдавший его на дело революции, а сам живший впроголодь в маленькой, заваленной книгами каморке.

«Если бы был рай и ад,— пишет он в другой раз,— то я, несомненно, плюнул бы на все райские увеселения и пошел бы в ад, разделить страдания несчастных... Я был бы подлецом, если бы остался в раю, когда несчастные мучаются в аду».

А ведь это говорят принципиальные, непоколебимые атеисты, безбожники. Значит, может быть нравственность без бога? Может!

А с другой стороны, возьмите Кирилла Белозерского. Это был несомненный подвижник. Бросив видный московский пост, покой, благополучие, он ушел на север, в глухие леса, и поселился в пещере на берегу дикого Сиверского озера, положив начало монастырю. А потом этот монастырь стал крупнейшим крепостником, опорой царизма и тюрьмой для многих лучших сынов России.

А возьмите организаторов и главарей разных сект, тоже проповедовавших «истинную религию», а связавших ее с преступлениями и убийствами, не говоря уже о всей истории «святой» инквизиции.

Значит, обязательно ли нравственность связывается с религией? Нет и нет, далеко не обязательно.

Значит, все дело в том *подлинном,* что лежит в основе человеческого *поведения,*— во имя чего он живет, как он относится к людям и обществу и как он строит свою жизнь!»

Позднее, в другом месте и по другому поводу, я опять возвращаюсь к этому же вопросу.

«К сожалению, вечный вопрос — как жить? — практически не имеет одного решения. Когда-то этот вопрос решался просто: над всем стоял высший надмирный закон, исполнение или неисполнение которого было мерилом поведения и критерием нравственной ценности. За выполнение или невыполнение этого закона причиталась определенная мзда (райское житие) или кара (адские мучения). Классическая религиозная концепция нормативной этики, построенная, кстати сказать, по прямому образцу столь же классических, чисто земных, юридических норм:

сделаешь то — получишь это, сделаешь это — получишь то.

«Но существует иная мысль, вытекающая не из лживого отрицания земной жизни, а из любви и привязанности к этой жизни, мысль о победе на земле... Любовь к страдающему человечеству, вечная тоска в сердце каждого о красоте, счастье, силе и гармонии толкает нас искать выхода и спасения здесь, в самой жизни, и указывает нам выход. Она открывает сердце человека не только для близких, открывает его глаза и уши и дает ему исполинские силы и уверенность в победе. Тогда несчастье становится источником счастья и силы, ибо тогда приходит ясная мысль и освещает мрачную дотоле жизнь. С этих пор всякое новое несчастье не является более источником отречения от жизни, источником апатии и упадка, а лишь вновь побуждает человека к жизни, к борьбе и любви».

Это писал Феликс Дзержинский, будущий «железный чекист». А писал он в тюрьме, в то решающее предгрозовое время, когда утверждалась новая философия и поэзия жизни. Жизнь без бога. Она когда-то пугала Достоевского, а за ним многих и многих других тем, что в человеке, лишенном бога, исчезнет нравственное начало, и чувство любви, и все высшее, что якобы внушено человеку религией. И Лев Толстой не представлял себе нравственности без бога.

И вот — жизнь без бога. Иные, даже многие, даже очень многие и действительно склонны делать из этого свои прямолинейно-упрощенные выводы: значит, жизнь для себя, лови момент, бери от жизни все, что можно, живешь один раз и т. д.

Но есть, оказывается, и другой вывод: можно жить без бога и жить для людей, любить людей, и не просто, не платонически, не на словах любить, не сентиментально, а активно, действенно, бороться за них, за их счастье и благо, и страдать ради этого, и жертвовать, сознательно жертвовать какими-то своими интересами и благами.

Ярким примером и доказательством этого и является напряженная, натянутая, как струна, жизнь Дзержинского, как, впрочем, и других воспитанных Лениным рыцарей революции,— жизнь, полная вдохновения, и беззаветной самоотверженности, и кристальной, совершенно стерильной нравственной чистоты.

Но если это может один, почему не может другой? По-

чему одни устанавливают высокие образцы и критерии жизни, другие опошляют и даже подрывают их, прикрываясь к тому же авторитетом первых? Почему одни во имя высоких нравственных требований отказываются от каких-то житейских благ, а другие ради материальных, часто корыстных, а то и низменных интересов или житейского благополучия готовы попрать все, и самые высшие законы и требования совести? Как вообще усилить роль и влияние нравственного начала в жизни, без чего она никак не поднимется до уровня наших идеалов? Что для этого нужно? От чего и от кого это зависит? Как построить жизнь, работу, воспитание и самовоспитание, чтобы обязательность нравственных требований стала обязательным законом и потребностью каждого? А ведь только это является идеалом, конечной целью и в конце концов условием коммунистической перестройки мира и человека в ее подлинном и совершенном виде.

Таковы вопросы, вытекающие из всего этого хода мысли».

Получилась любопытная ситуация: исследование проблем преступности привело к вопросам нравственного воспитания, а это, в свою очередь, совершенно неожиданным рикошетом снова возвращало меня к вопросам религии, потому что для ряда читателей и то и другое связывалось воедино.

«Я человек, который хотел быть атеистом и даже в свое время оспаривал верующих, но я не переставал ловить и читать разные книги, а внутри у меня шла сортировка, и получился вывод, что я не смог стать атеистом. Я верующий человек».

Это пишет анонимный читатель, который одно время обрушил на меня целую очередь — больше десятка — пространных писем, продолжающих от одного к другому исповедь своего, как он выражается, «прозрения».

«Я Вам доверяю и осмеливаюсь быть откровенным, как человеку, который избрал себе путь к свету, спасать и выводить людей из мрака. Мне так хотелось бы скорей закончить мое письмо, которое я пишу уже дней двадцать, и вроде уже виднеется конец, хотя до сих пор не знаю — нужно ли то, что я пишу. А пишу потому, что с этим связано то, что, мне кажется, Вам неизвестно, так как в «Трудной книге» это остается тайной, она не все

охватывает, а только односторонне, но о ней нужно подумать и порассуждать».

Письма были интересные, но ни подумать, ни порассуждать с автором о них я не мог, так как все они были без подписи и шли почему-то из разных мест — Кустанай, Алма-Ата, Иссык. А если попытаться выкристаллизовать их центральную мысль, то я бы указал на следующую фразу: христианство умирает, но пока еще живет.

Никак не могу обойти стороной в связи с этим и еще одну переписку.

«Уважаемая Зинаида Васильевна!

Скажу честно: мне очень некогда, я дорожу своим временем, так как осталось у меня его меньше, чем у Вас, и в свои годы я спешу закончить большую итоговую работу.

Но Вам я не могу не ответить. По Вашему описанию я очень ясно представил Вас в деревенской избе, когда в «длинные зимние вечера в трубе завывает ветер и окна задувает снегом, когда в каждом углу притаилась жуткая пустота, от которой так страшно», и в этой избе, в этой пустоте Вы одна со своими одинокими страшными мыслями о смысле жизни, о смерти и бессмертии, с мыслями о боге.

Я Вас очень понимаю: «Как тяжело одиночество!»

Могу представить себе, как ночью, во время бессонницы, навеянной и этими мыслями, и воем ветра в трубе, Вы встаете и молитесь «господу своему» и плачете от радости.

Но отчего же эта радость и отчего Вы плачете перед лицом господа своего?»

И Вы отвечаете:

«А радость моя в том, что вот сейчас я пенсионерка, у меня нет больше ни прав, ни обязанностей, когда я с каждым днем все больше и больше *теряю реальность*, и у меня есть что-то свое реальное, которое дает мне возможность опереться в *страшный час моей смерти*. Это вера в то, что у Христа все живы — и живые и мертвые. И отсюда я могу *создавать для себя будущее*.

А у Вас этого нет».

Мне кажется — это центральное место в Вашем письме и в том озлобленном споре со мной как представителем атеизма, или, как Вы выражаетесь, «живым атеи-

стом». «И пишу я Вам со злорадством,— читаю я в этом письме,— потому что на атеистов я очень сердита и хочется мне высказать Вам правду в лицо до конца». Таков весь тон Вашего письма.

Но я не хочу отвечать Вам тем же. Наоборот, мне Вас, повторяю, по-человечески жалко, это во-первых. А во-вторых, я вижу в Вас мыслящего — неправильно, но мыслящего — человека, и в Вас, в ходе Ваших мыслей, я вижу *логику веры*. Обычно ведь вера бывает слепа, абсолютно слепа и нелогична, а Вы в своих письмах обнаруживаете именно эту *логику веры,* которую можно, так сказать, прощупать и обнажить.

В чем она?

В своем письме Вы подчеркнули две фразы: *«в страшный час моей смерти», «создавать для себя будущее».* А несколькими строками выше Вы сообщаете: «Ответ о смысле жизни я нашла, и *мне ни до кого нет дела».*

А как Вы пришли к этому выводу? Вернемся несколько назад:

«В чем же смысл *моей* жизни, — если я вижу, как автомобили, самолеты и всевозможные несчастные случаи и болезни уносят огромное количество жизней. А как же я могу знать, может быть, сегодня вечером настанет и *моя* очередь? А ложась спать, я не знаю — может быть, меня разбудит смертный приговор, и *тело мое,* которое я *так берегу и холю,* пойдет в пищу червям? Где же тогда и в чем смысл *моей жизни,* где тот смысл, который не уничтожается страданием и смертью, который *поможет мне идти навстречу смерти* со спокойствием и даже с радостью?»

«Этого ответа у вас, атеистов, нет! — уверяете Вы.— Что атеист сможет противопоставить *своей смерти* и разрушению? Потому что *перед лицом смерти* и прогресс, и полеты в космос — все это оборачивается вздором и чепухой».

Перечитайте теперь все, что здесь выписано, обратите особое внимание на подчеркнутые слова — и Вы не сможете не заметить, как навязчиво, как до болезненности настойчиво и упорно говорится здесь: «я», «мое», «моя», «мое тело» и «моя смерть». Какой болезненный, почти животный страх перед неизбежностью смерти! Согласитесь с этим!

А это значит, что чувством, движущим Вашу мысль, является *эгоизм.* Да! Не удивляйтесь и не возмущайтесь—

эгоизм, чувство, совершенно противоположное той любви, которую Вы называете первым свойством бога. А что такое любовь? Это — способность положить «душу свою за други своя». А Вам «ни до кого нет дела», и «радость моя в том, что нет у меня теперь ни прав, ни обязанностей» и Вы можете «создавать для себя свое будущее». Это все Ваши слова.

Не вяжется у Вас, дорогая Зинаида Васильевна, никак не вяжется одно с другим! *Вы хотите избавления* от всех страхов своих, и не только от них, но и от всех тревог и забот, от всех прав и обязанностей, от всякой реальности вообще, и во имя этого, для этого уходите от правды жизни.

Вторым свойством бога Вы называете «правду» и тут же, не связывая одно с другим, продолжаете: «эта правда страшна, человеку трудно ее вынести, поэтому мы всегда прячемся за иллюзии».

Вот за такую иллюзию прячетесь и Вы, и иллюзия эта и есть бог, которого Вы называете «правдой».

В чем подлинная правда жизни? Человек смертен — да! Пришел и ушел — «земля еси и в землю отыдеши», и никуда от этого не спрячешься, ни за какие иллюзии. И только Ваша озлобленность по отношению к атеистам позволяет или заставляет Вас говорить, что «атеисты скрывают от людей правду о человеке» и что «только религия ставит человека лицом к лицу с неприкрытой реальностью».

На самом деле все обстоит как раз наоборот. Атеизм, только атеизм, в отличие от религии, основывает свое мировоззрение на неприкрытой реальности мира и жизни: человек — это сын природы, часть природы, ее порождение и ее вершина, человек — это природа, познающая самое себя. И на этой реальности мира атеизм хочет построить реальную, а не иллюзорную жизнь человека. Но Вы не только не признаете ничего этого, но в своем «злорадстве» изыскиваете разные «каверзы», вплоть до утверждения, что «цель у атеистов — погубить людей».

«Вот я Вам задам,— пишете Вы,— один каверзный вопрос, на который обычно атеисты не отвечают. Если нет бога, нет бессмертия, то в чем же тогда смысл моей жизни? Какими силами и зачем я вызвана из небытия в эту жизнь, которая обессмысливается моей смертью, и эта смерть может наступить каждую минуту? Атеисты отняли у людей бога, который обещает нам бессмертие. А что же

вы, атеисты, даете человеку взамен царствия небесного и чем его заменяете? На этот вопрос, я уверена, вне религии ответа не существует».

Существует!

Вы говорите, что, «отняв веру в бессмертие души, атеисты унизили человека, превратили его в тленный, никому не нужный прах». Наоборот, совсем наоборот!

Унижает человека именно религия, ее учение о том, что, получив якобы от бога «божественную» душу, человек не только не сохранил ее, а осквернил, размотал, продал ее дьяволу, и ему нужно совершить какой-то необычный подвиг, чтобы вернуться к божественным истокам и этим спасти себя.

В противоположность этому именно атеизм возвышает человека: ты вышел из небытия, из природы, прошел через зверя, сохранив в себе остатки звериной натуры, но ты, преодолев все это, *именно ты* породил в сознании своем идею добра, справедливости, любви, создал в воображении своем и идею «бога», которого наделил высшими достижениями человеческого духа, и теперь ты бьешься, мучительно бьешься над тем, как эти высшие идеи добра, любви и справедливости воплотить в жизнь. Пусть это у тебя плохо получается и ты то и дело соскальзываешь с этого святого пути в болото своих животных инстинктов и пережитков, но ты спохватываешься и снова вступаешь в борьбу со злом.

Так иди же по ней, этой стезе, не изменяй себе, своим человеческим идеалам, и ты придешь, куда зовет тебя твоя человеческая совесть. Не изменяй ей! Иди! Удачи тебе! Успеха тебе! Доброго пути тебе!

Вот что говорит человеку атеизм.

Я не понимаю и не принимаю и Ваше определение совести как частицы бога в человеке («Бог есть любовь... Бог есть источник любви» и т. д.). Но мы знаем множество примеров, когда неверующий человек является носителем большой любви к людям и даже жертвует ради них жизнью, и, наоборот, самые богомольные люди бывают жестоки, несправедливы и даже преступны. Ведь и в Евангелии сказано: «Не всякий, говорящий «Господи, господи!», войдет в царство небесное».

Ведь так?

Дело не в словах, дело в поведении, в жизни человека, в его отношении к людям и к обществу. А это отношение воспитывается, накапливается и воспитывается — тут я

с Вами согласен — не одними словами. Нужны дела, пример, жизненный и нравственный опыт. Этот опыт накапливается годами, десятилетиями, даже столетиями и, передаваясь от поколения к поколению, составляет то, что люди называют совестью. Но Ваше требование, чтобы «ученик ежедневно стоял на молитве 2—3 часа в безмолвии перед распятием Христа»,— это просто нелепость. Это даже в царское время не делали — а я его помню.

Как Вы, учительница, можете предлагать такую нелепую и жестокую систему (жестокую, потому что без ремня и палки ее нельзя осуществить), как Вы можете утверждать, что вместо законов природы, законов жизни необходим «закон божий»,— а я его тоже учил, а потом 15-летним мальчишкой отказался от него, но никакого преступления никогда не совершил, потому что для меня суть нравственности — это поведение человека в жизни, на практике, в его отношении к людям, и ближним и дальним, и к обществу, и к самому себе.

Вы пишете: «Вот когда ученик заучит заповеди божьи...» Их учили и вдалбливали две тысячи лет, а что из этого получилось?

И заповеди и всякие другие принципы нужно осуществлять, жить и жизнью своей доказывать и показывать — как жить. Да, это трудно, да, не все нам в этом удается, но это — единственный путь, и будем его искать и осуществлять.

Вот на этом пути человека ждет бессмертие. Нет, не то, не иллюзорное, которое ты придумал себе ради своего эгоистичного страха перед смертью, твоей *личной* смертью, а бессмертие твоего высокого духа, твоих дел и свершений.

«Что атеист сможет противопоставить *своей* (опять «своей») смерти и разрушению?» — спрашиваете Вы. Отвечаю: дела!

В ответ на это Вы утверждаете, что «все, что мы делаем сегодня, завтра превращается в ничто, в прах». Какой убийственный пессимизм! Неверно все это! Неверно! Это, вероятно, вызвано одиночеством, тоской и страхом перед неизбежностью смерти. И Вы обращаетесь ко мне: «Если Вы думаете иначе, возьмите в свидетели свой собственный жизненный опыт, он — неподкупный судия».

Беру. Я написал не так много, но и не так мало книг, по которым люди учились жить, сознавали свои жизнен-

ные ошибки, исправляли их и становились лучше. Об этом у меня есть многие десятки и сотни их собственных признаний и благодарностей. Одних я предостерег от грозивших им опасностей, других выручил из беды, и они выходили на свободу, женились, присылали мне фотокарточки своих жен в свадебном наряде, потом — карточки своих детей, делились своими жизненными, трудовыми успехами.

Не сочтите это за нескромность, но вслед за Пушкиным я могу повторить: «Нет, весь я не умру!» Я тоже оставлю в жизни какие-то искры добра и разума и в этом вижу свое личное бессмертие.

Рядом со мной вот уже шестьдесят лет идет моя жена. Более сорока лет она отдала школе, ее ученики делают в жизни большие дела, передают своим детям и даже внукам те искры добра и разума, которые она когда-то вложила в них. «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье» — так написала ей давно, еще до войны, ее ученица при окончании школы, дочь мусорщика — была такая профессия. Она стала крупным инженером-самолетостроителем, а когда она недавно ушла на пенсию, ее дело продолжает дочь Наташа. Другой ученик Марии Никифоровны участвовал в создании лунохода, третий стал крупным хирургом, четвертый — наш посол в одной из стран Азии. Все это — тоже бессмертие.

А возьмите себя. Вы не один десяток лет работали в деревенской школе. Вы научили грамоте и пустили в жизнь, вероятно, не одну сотню людей, которые где-то что-то делают — возводят дома, строят дороги, мосты, выращивают хлеб. Наконец, Вы сами дали жизнь четырем своим детям, они и их дети тоже трудятся для людей, для жизни. Разве все это не бессмертие? Причем реальное, настоящее. Так зачем же создавать себе иллюзии? Зачем это, Зинаида Васильевна?

Человек бессмертен в делах своих. Большие они или малые, но, если они совершены во благо людей, они остаются в жизни — не обязательно монументы, но и дома, мосты, книги, картины или просто добрая память: «Вот был человек!» И только те, кто ничего не совершил в жизни, кто ее прожег, проиграл, пропил, тот уходит в полную безвестность — был и нету, как сухой лист с осенней березы. Ну что ж! Значит, заслужил.

Так я понимаю бессмертие, я, атеист с 1915 года, и сейчас, в свои 80 лет, я спокойно смотрю в лицо неминуе-

мого. Но я не унываю и не паникую и не ищу никаких иллюзий. Я только просил бы у несуществующего бога еще лет пять жизни, чтобы закончить ту большую, завершающую работу, которую сейчас делаю. Говорят, что «человек умирает изнутри». А если так, то и живет он изнутри — своими собственными силами, делами, желанием и стремлением сделать что-то еще и еще для людей.

А в заключение хочу привести Вам то, что написал в свое время наш великий композитор Римский-Корсаков не менее великому критику Владимиру Стасову:

«Смерти я не боюсь, хотя расставаться с жизнью всегда жалко... Стоит только подумать, что может быть ужаснее вечной жизни? Все будут умирать, а я буду жить! Да это ужасно! А если никто не будет умирать и все будут жить вечно, так ведь это станет похоже на рай земной или на царствие небесное. Боже, какая неинтересная скука! Для чего же тогда жить? Чтобы не развиваться, а стоять на месте? Рождение и развитие нельзя себе представить без умирания, а чего нельзя себе представить — так и не надо. А как хорошо, что нет будущей загробной жизни (я верю в то, что ее нет). Каково было бы смотреть оттуда, как то, над чем ты трудился и что любил, умирает — и забывается, или, если не умирает, то рассеивается и испаряется. Любил я, положим, Глинку, и вот пришло время, когда Глинку забыли, и он стал никому не нужен. И какая справедливая эта смерть, этот абсолютный ноль! Да это лучший акт милосердия божия. Ну, а пока живется, надо жить и жизнь любить надо, и я ее люблю и умирать не желаю».

Вероятно, все, что я здесь пишу, Вы не примете. Дело Ваше. Но я все-таки пишу, потому что мне по-человечески жаль Вас в Вашем одиночестве и потому что желаю, искренне желаю Вам добра.

Всего Вам хорошего. *Г. Медынский*».

Перед нами раскрылась одна человеческая душа, и мы услышали ее тревожный стон, стон малодушный и растерянный, до отчаяния. Конечно, раскрылся перед нами человек старый, стоящий на грани жизни. Но это и есть как раз та грань, когда подводятся последние и решающие итоги не только и не просто прожитой жизни, но и ее внутренней сущности. И чтобы яснее и реальнее все

это было понято и прочувствовано, расскажу о другой жизни и другой сущности.

Это старая тоже, семидесятилетняя женщина, тоже бывшая учительница, прожившая, не в пример первой, тяжкую, очень тяжкую, полную бед и испытаний жизнь. И все это не написано даже, а высечено на ее лице: складки скорби, суровость и сосредоточенная выдержка.

На фотографии — компания старых друзей, окончивших школу много лет назад, и среди них — она одна. И это бросается в глаза. Нет, это не одиночество, не отчуждение, это — обособленность мысли и характера. Это — личность.

Расскажу, хотя бы вкратце, историю этой личности, по ее собственным письмам.

«В раннем детстве жила у людей в няньках. В школу пошла поздно, девяти лет. Изучали мы «закон божий», и я всему верила, и Иисуса Христа видела во сне, он помогал мне учить уроки, но училась я отлично, без помощи Иисуса, а потому что сама каждый день готовила все уроки не как-нибудь, а именно на отлично! Школу закончила в 1924 году. В 1921 году вступила в комсомол. Будучи комсомолкой, работала заведующей библиотекой, выступала с докладами о происхождении земли, о религиозных праздниках и т. д. Потом меня послали в Вологодский пединститут. Там на историческом факультете подробно изучали историю всех религий. А евангелие и библию я сама читала для антирелигиозной пропаганды...

В комсомоле мы очень увлекались диспутами с анархистами, тоже молодыми, главным образом учащимися. Рассаживались комсомольцы налево от сцены, анархисты — направо. Аплодировали анархисты своему оратору, мы — своему. Для меня эти диспуты были захватывающими.

Много тогда было диспутов еще о вере в бога. Я на все бегала. Выступали настоящие попы и архиереи. Как правило, помещения всегда были переполнены.

Вообще все комсомольцы чувствовали себя переделывающими жизнь. Так и было.

Теперешний комсомол и вся молодежь тоже продолжает переделывать жизнь вместе с коммунистами. Особая борьба идет за то же, что и в первые годы советской власти, а именно — за Человека с большой буквы, за активного борца коммунистического общества...»

«Каждого члена партии я сравниваю с первой когортой коммунистов-подпольщиков, и, если сравнение окажется не в его пользу, я во всеуслышание говорю: «Так коммунисты не должны поступать!» И я не согласна трусливо молчать или говорить не то, что чувствуешь, в угоду таким «авторитетам».

Вот какая она, Татьяна Дмитриевна Мошкина, обратившаяся ко мне с письмом после прочтения «Трудной книги». В нем и в последующих письмах она подробно и обстоятельно рассказывала, как через детскую комнату милиции она взяла шефство над одним «трудным» подростком, Сережей, ходила к нему на дом, в семью, на фабрику, где он работал, в школу, где учился, как приглашала его к себе домой, беседовала, показывала копии картин из Эрмитажа, из Третьяковки, как учила его бороться с ленью и добилась того, что «сам он за ум взялся, слава аллаху».

Потом у этой неугомонной семидесятилетней женщины появилась еще забота: две девочки, у которых отца нет, а мать пьянствует. Опять хлопоты в горисполкоме, обсуждение поведения матери в комиссии по делам несовершеннолетних. А здоровье ухудшается, отказывают ноги, ей уже трудно ходить, и эти девочки ходят к ней на дом.

Когда вышла моя книга «Разговор всерьез», я послал ее Татьяне Дмитриевне и получил письмо:

«Нет подходящих слов благодарности за присланную книгу. Я сначала прочитала ее сама и снесла бывшему моему подопечному Сереже и их семье. Потом передам семейству девочек. А потом Вашу книгу, как другие интересные и редкие, я предложу читать всем своим знакомым по Великому Устюгу».

Какая щедрость души! Какая неиссякаемость и неутомимость добра! Не проповеди, *а делания добра!* И такая же ненасытность в работе собственной души. Ей уже за семьдесят, пора бы, кажется, успокоиться и отдохнуть. Но нет! Вот она получила 7-й том подписного собрания сочинений такой же неуемной Мариэтты Шагинян.

«В этом томе,— пишет она в одном из писем,— мне особенно понравилась статья «Коротко о книгах и рецензиях». Из этой статьи я узнала, как надо понимать все существующее в нашей жизни, но несоответствующее нашей идеологии».

Вот она присылает мне статью «Красота поднебесная» из местной газеты — о реставрационных работах в Вели-

ком Устюге, о прошлом и будущем этого города — и отчеркивает такой абзац: «Наступит время, когда «поднебесная красота» предстанет в первозданном виде. Красота эта не только веселит и умиляет сердце, но и укрепляет любовь к Родине, к ее истории, от которой судьбу Великого Устюга не отделишь... Как же нужно было жить нашим предкам, чтобы и в наш век, благодаря только их давнему и ставшему бессмертным труду, Устюг Великий почитался знаменитым не только на Севере, но и во всей стране».

«И гордость меня обуяла за свой городишко, и захотелось похвастаться им с надеждой, что Вам тоже захочется навестить наш Великий Устюг».

Нет! Кто скажет, что автору всех этих писем — восьмой десяток? Пусть ей отказывают ноги, но душа у нее молодая, нестареющая. Сопоставим ее с той, немощной, изнывающей в тоске и тревоге под вой уральской вьюги и припадающей в этой тоске «ко господу своему»...

Я пересказал вкратце историю и философию этой моей корреспондентки Татьяне Дмитриевне, и вот что она написала в ответ:

«Меня очень удивила бывшая учительница с Урала. Для меня бог существует только в воображении людей, как всякие другие легенды, создаваемые народами. А как это она, учительница, верит в Христа?»

Две судьбы, два характера, два мироотношения и, соответственно, две философии. Сопоставим их, и мы придем к гениальной формуле Маркса: «Религия есть самосознание и самочувствие человека, который еще или не отыскал себя или снова уже потерял себя».

Конечно, с религией связано очень много, целый комплекс проблем — исторических, и политических, и социальных, философских и психологических, потому глубоко прав Сухомлинский, называя примитивизмом попытки одним махом расправиться с религией, объявив ее тьмой и мракобесием. «Без понимания религии невозможен настоящий атеизм,— говорит он.— А без атеизма, без настоящего свободомыслия, невозможна коммунистическая идейность, убежденность в справедливости благороднейших идеалов человечества», но «понять религию нельзя, не осмыслив сложного исторического пути развития

человечества...» «Я старался, чтобы к «отрицанию» бога мои воспитанники пришли, поняв религию».

А что значит — понять религию?

Впрочем, послушаем лучше самого Сухомлинского, который в своей глубоко продуманной философски-педагогической концепции нашел проблеме атеистического воспитания смелое и мудрое решение: вместо узкого догматизма и вульгаризаторства — широта и историчность мышления.

Сославшись на слова В. И. Ленина, что для того, чтобы стать настоящим атеистом, «Герольдом Нового Света», нужно пройти самому через всю историю, Сухомлинский продолжает:

«Надо, чтобы вместе со мною мои воспитанники *прошли через всю историю и прежде всего через историю человеческого духа.* Нужно, чтобы вместе со мной они пришли на берега Нила к строителям древних пирамид, к людям, которые поклонялись солнцу, создали поэтическую легенду о солнцеликом Ра, чтобы мы вошли в театры Древнего Рима вместе с первыми христианами и вслушивались в их гневные слова против насилия и угнетения... Только таким *вхождением в историю* человек поймет, что такое религия и что такое настоящее свободомыслие».

И дальше — вдохновенная страничка об этом самом, о подлинном героическом свободомыслии, преступающем через вековые предрассудки и догмы. Я помню, как Константин Симонов в одной из своих статей обмолвился о прогрессивной на каком-то этапе роли церкви (например, хотя бы в создании славянской азбуки — кириллицы) и какой критический душ пришлось ему принять по этому поводу. А Сухомлинский, говоря о науке и религии, их непримиримости и несовместимости, решительно подчеркивает именно эту, другую сторону вопроса.

«С большим интересом подростки слушали рассказы об ассиро-вавилонских и египетских жрецах — первых астрономах и создателях календаря. Я рассказал также о том, что католический священник Николай Коперник доказал несостоятельность геоцентрической системы Птоломея, создав новую картину вселенной; иезуит Секки стал отцом астрофизики; чешский пастор Ян Амос Коменский — признанный всем миром отец современной педагогики; монаха-доминиканца Джордано Бруно сожгли за создание учения о безграничности миров; монах-доми-

никанец Томазо Кампанелла, томившийся тридцать лет в застенках и темницах инквизиции, там, в заключении, написал поразительную книгу «Город Солнца», которая стала предвестницей научного социализма; убежденный католик Томас Мор — творец гениальной «Утопии», которая дала название целому направлению в философии, приблизила человечество к идеалам социализма; французский священник Жан Мелье, настоятель маленького сельского прихода, оставил после смерти «Завещание», которое волнует человечество и сегодня; мятежный священник Томас Мюнцер поднял крестьянские «Евангельские полки» на борьбу с феодалами и епископами; чешский монах Грегор Мендель своими опытами положил начало новой науке — генетике».

«Если правильно подать суть этих фактов, то они ярко раскроют мятежный дух человеческой мысли»,— делает из этого исторического обзора свой вывод Сухомлинский, правильный вывод: «без знания исторического пути борьбы за свободомыслие невозможно настоящее духовное богатство современного человека».

Или — вопрос о христианстве. По себе знаю, сколько мы в своих антирелигиозных лекциях на ходовую тему «Был ли Христос?» говаривали всякой вульгаризаторской чепухи и пропагандистской тенденциозности, которая потом, в сознании наших слушателей, превращалась в тот же прямой примитив: «Попы выдумали». Этому вульгаризаторству Сухомлинский противопоставляет свое, подлинное понимание христианства, как сложного исторического явления в духовной жизни человечества.

«Я раскрывал суть этой качественно новой религии не только как новое духовное угнетение, но и как смелый протест человека-бунтаря. В образе всемогущего и вездесущего Христа раб жаждал найти какую-то, *хотя бы и призрачную, надежду на освобождение...* как представление раба о правде».

Подростку, говорил Сухомлинский, нужно было осмыслить христианство как бунтарские устремления человеческого духа, чтобы понять потом уже, как обмануты были эти поиски правды, когда церковь пошла в услужение господствующим классам и христианство приняло тот вид, против которого подняла борьбу прогрессивная человеческая мысль.

«Кто ты, человек, что споришь с богом? Изделие скажет ли сделавшему его — зачем ты меня сделал? И не

властен ли горшечник из одного материала сделать сосуд для высокого употребления, а из другого — для низкого?»

В этих словах апостола Павла, одного из главных идеологов исторического христианства, выражается его подлинная сущность: человек —«изделие», человек — раб не только в социальном и политическом, но и в глобальном, высшем, философском и нравственном смысле. Вот почему эта идеология, идеология человеческой беспомощности, неприемлема для нас и для нашей эпохи, эпохи, когда человек становится не «изделием», а «делателем» и хозяином жизни. И здесь главный водораздел — в понимании человека, в отношении к нему как творцу и носителю нравственного начала.

Таким образом, борьба с религией — это не столько или, во всяком случае, не простое разоблачение и отрицание, не голая и тем более вульгарная, малограмотная и оскорбительная критика ее, ведущая к нигилизму, а замещение ее высокими принципами и идеями нашего атеистического мировоззрения и миропонимания, а главное — воплощение их в жизни.

«Разве можно видеть атеистическое воспитание *только* в том, чтобы без конца твердить: никакого бессмертия нет, все мы превратимся в прах?..— ставит вопрос Сухомлинский.— А почему бы не призывать каждого воспитанника утверждать свою личность в чем-то вечном, призывать обессмертить себя делом, которое жило бы много веков? Почему бы не утверждать на этом основании, что, в отличие от лошади, человек бессмертен, душа его бессмертна, но не в том понимании, как это проповедуют церковники».

С этой точки зрения Сухомлинский даже опасается, что, к примеру, такая закономерность, как объективный характер исторического развития, может вызвать в юных головах мысль, что все идет само собой, как по рельсам, а человек — ничтожная капля в беспредельном море истории. И если чрезмерно и неумеренно подчеркивать эту объективность исторических закономерностей, то можно заронить мысль о фатальности жизненных процессов и оттеснить на второй план творческое начало человека.

«Нужно было донести до сердца и разума воспитанников истину, что исторические события объективно закономерны, но человек — творец истории, хозяин своей судьбы... Я стремился, чтобы мои воспитанники осмысли-

ли и пережили истину: да, человеческий дух бессмертен! Человек бессмертен. Он не безвестная пылинка в вихре времени, а творец».

В этом вдохновении педагогикой чисто горьковского возвеличивания человека Сухомлинский не останавливается даже перед поэтическим преувеличением, ссылаясь на слова немецкого поэта Гёльдерлина: «Человек — это бог, *если он* Человек. А если он бог — он прекрасен». И не будем смущаться этим преувеличением — бог здесь ни при чем, это — поэтический образ того Великого и Высокого, что призывает человека быть Человеком с большой буквы, и не в пустых мечтаниях, а в самой жизни. И духовность его это нечто тоже совсем другое, далекое от религии,— это его идейная сердцевина и нравственное начало, его отношение к добру и злу, к идеалу, его внутренняя готовность бороться за одно против другого, это — взволнованность, высота и трепет личных чувств и переживаний человека, это — возвышенное ощущение жизни и предотвращение пустоты душевной, сводящейся к обывательской формуле — «выпить и закусить».

Здесь Сухомлинский вплотную подходит к вдохновенной формуле Маркса об очеловечении человеческих чувств как конечной цели коммунизма.

...Все это, конечно, решение принципиальное, можно сказать, идеальное, я понимаю, а жизнь материальна, груба, сложна и многообразна, хотя в этом, собственно говоря, и заключается ее прелесть. Но идеалы на то и идеалы, чтобы двигать жизнь, а не ограничиваться пустым суесловием о них, открывающим дорогу нигилистическому отрицанию всяких сдерживающих нравственных начал — «крой, Ванька, бога нет». А это страшно!

Вот почему атеизм является серьезнейшей философской и нравственной проблемой эпохального характера. Тысячелетия люди жили верой и надеждой на некую высшую, всеведущую, всемогущую и благую силу, и вдруг — жизнь без бога, нравственность без бога, но воплощенная в жизни. Да, это революция, болезненная революция, но исторически необходимая, потому что «религия — это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, дух безвременья» (Маркс), и, естественно, поднявшись на борьбу против бессердечности старого мира, мы не могли оставить в неприкосновенности его самосознание и самочувствие, как идеологию человеческой беспомощности. Таков был дух времени, дух веры в красоту и силу

человеческих стремлений. «Великие перевороты не делаются раздуванием дурных страстей» (Герцен).

Однако преодоление и изживание религии, при учете ее многовековой давности и психологической глубинности, с одной стороны, и определенных сложностей и трудностей, возникающих и в новой жизни,— с другой, это тоже очень сложный и длительный, а порой мучительный социально-психологический процесс, исторический процесс, требующий и вдумчивости, и душевности, и большого такта, и времени, а ошибки в том, в другом или третьем ведут к очень нежелательным последствиям, иной раз даже и к обратным результатам. Все это нужно глубоко понять и усвоить, потому что речь идет о самом главном — о душе человека.

Пришлось мне как-то побывать в древнем, стертом с лица земли во времена татарского нашествия и вновь воскресшем, как сказочная птица Феникс, русском городе Рязани. В поисках нужного адреса я обратился к встречному молодому человеку.

— А вот, батя, дойдешь до той каланчи, там спросишь,— с развязностью подвыпившего человека ответил он.

— Так это же не каланча,— попробовал я поправить его.— Это колокольня, собор вашего рязанского кремля.

— Ну, все равно! Один черт!

В этом «один черт» заключается весь сгусток пустоты и опасность того нигилизма, который через потерю чувства истории, внутренней связи с веками, прошедшими и будущими, и ведет к душевной опустошенности. А «пустая душа подростка,— как великолепно сказал Сухомлинский,— большая беда». Сказал он это о преступности, но в какой-то мере это можно отнести и к религии, которой он занимается с такими же открытыми глазами, пристальным вниманием и мудростью.

В своих «Письмах к сыну» Сухомлинский показывает и убеждает нас, насколько сложна и многостороння эта проблема. С одной стороны, он рассказывает историю своей ученицы, родители которой, сектанты, пытались обратить ее в свою веру, но она, по выражению Сухомлинского, «проявила подлинное идеологическое мужество», заявив, что «я не могу верить неправде», и, уйдя даже на время из дома, отстояла себя.

А с другой стороны, он приводит такое письмо одной девушки в ответ на его статью: «Я пока еще не верую-

щая, но, кажется, скоро стану верующей... Я начинаю уходить в религиозный мир, ищу в нем, если хотите, спасения от беспощадного материализма, который кажется мне бездушной, слепой силой».

Таков фронт борьбы, ее диапазон!

А вот Сухомлинский рассказывает историю женщины, которая, окончив в свое время вуз по естественному факультету, не удовлетворилась этим и, заблудившись в поисках «высших духовных ценностей», ушла в религию и даже стала монашкой, а потом... а потом прозрела и проделала весь ход своих исканий в обратном направлении.

«Атеисткой сделало меня там, в монастыре, чтение религиозных книг и думанье,— рассказывает она о себе.— Я стремилась найти в «божественных» книгах возвышение человека, но с ужасом все больше убеждалась, что религия унижает человека, низводит его к пылинке, к праху, к ничтожеству».

Как все сложно, если не сводить все к официальной отчетности и, что того хуже, к административным мерам и распоряжениям!

...Редакция получила письмо. Нет, это не письмо, это крик одинокой души, мольба о помощи, это мечта о счастье, и не просто мечта, это тяга к счастью, стремление к счастью, настоящему, высокому, правильно понятому счастью: «Я так хочу быть счастливой! Я хочу быть полезной людям! Я хочу жить в коллективе, отдыхать хорошо, ходить в походы, а потом и в комсомол вступить. Как трудно быть одной!»

Что это? Глас вопиющего в пустыне? Но разве у нас есть пустыня? Разве может быть у нас пустыня?

Итак, девушка с детства была искалечена фанатической религиозностью малограмотной матери и окружавших ее каких-то «бабушек». Впрочем, нет, это не совсем так. Она не просто, не пассивно подчинялась этому тлетворному влиянию и в конце концов не подчинилась. Натура активная, она старалась переубедить мать, доказать свое, то, что несла из школы, вступая в единоборство с деспотической, видимо, силой матери. А как ответила на это школа? Как помогла она ей в этой неравной борьбе? Она не только не помогла, она предала ее, подвергнув осмеянию из-за икон, которыми мать увешала все стены дома. В результате девушка ушла в себя, замкнулась,

изнемогая в непосильной борьбе за свое, а точнее — за наше, советское понимание жизни. Как можно было создавать вокруг нее поистине пустыню безразличия?

Во всей красе встает здесь перед нами теоретическая и педагогическая неграмотность в сложнейшем деле научно-материалистического воспитания, сводя его к примитивнейшей антирелигиозной пропаганде: «Бога нет!» — вот и все, вся премудрость. Так, видимо. А что там переживает какая-то девчонка, этим заниматься некогда, если и без того душат разные планы, программы и проценты успеваемости. А внимание к человеку, индивидуальный подход, это — так, для официальных деклараций. А девчонка-то мучается над самым главным — чем жить? Как жить? Как строить свои отношения с матерью, с товарищами, с учителями и вообще со всей нашей жизнью?

В результате — уход из дома.

«Уж слишком я нереально смотрела на жизнь»,— оценивает она теперь сама себя.

Она уехала в город, поступила на работу, поселилась в общежитии, но больше десяти дней не могла там прожить.

«Мне стала противна эта реальная жизнь,— пишет она.— Я лучше уеду домой, к маме и «бабушкам», уйду от мира сего и стану молиться богу. Противно! Девочки в комнате курили, пили, а одна приходила каждый вечер из ресторана и хвалилась тем, о чем стыдно писать. Неужели это жизнь? Ведь действительно, прожив так, перед смертью будет больно за бесцельно прожитые годы. Я так думаю».

Она так думает потому, что прочитала это у Николая Островского и приняла в свою душу это, наше, понимание всего бытия — чувство стыда и чувство ответственности за себя, за свое поведение, за свою жизнь и за свою смерть. «Я хочу быть нужной людям!» А сравните ее с той, которая мало того, что творит, а еще бахвалится своими ресторанными непотребствами, о которых *этой* стыдно писать. Той не стыдно, а этой стыдно. Вот граница нравственных уровней. Грань!

Я знаю, что найдутся люди, которые тут же, с радостью, используют и объяснят эту грань по-своему: «Вот вам и отрицание бога! Вот до чего довели!» Как будто бы и при боге не было разных похабств, как будто их нет и сейчас там, где именем бога совершаются насилия и

убийства и ведется торговля женским телом и человеческой кровью, где готовятся и ведутся войны во имя Христа или Аллаха. Значит, дело не в учении, или, во всяком случае, не в одном учении, а в его практическом осуществлении, в жизни, в поведении. А тогда зачем, повторяю, «выдумывать» бога? Нужно просто жить «по простой человеческой совести», которую выработало человечество в ходе своего исторического развития; как очень хорошо сказал в одном письме один мой корреспондент, чистейшей души человек, которого я прозвал про себя Павкой Корчагиным наших дней:

«Воспитывать нужно не голыми идеями, а жизнью своей при помощи идей».

«Добро от бога!» — вслед за Владимиром Соловьевым твердят сторонники религии и тем иной раз соблазняют жаждущие чистоты юные — и не только юные — души.

Нет, нравственное начало — это не закон бога, стоящего над человеком и тем самым угнетающего и уничтожающего его. Нравственное начало — это порождение самого человека, его поднявшегося на громадную высоту духа, его «святыня», его внутренние законы и критерии, по которым он сам регулирует нравственное начало, свое поведение и свою жизнь. Только в религии оно, это нравственное начало, приобретает мистическую оболочку, отлетающую тогда, когда человек осознает себя, на практике, в жизни, осознает себя человеком, хозяином, вершителем и творцом своей судьбы.

И добро и зло — все это от людей. Человек насоздавал себе достаточное количество богов, и идолов, и идеалов, учений и принципов, божественного и не божественного характера, нужно только не искажать, не извращать их, а практически, в делах, поступках, в поведении, осуществлять их, эти идеалы и принципы и те «простые законы нравственности», о которых говорил и Маркс, и Энгельс, и Ленин и которые одинаково обязательны и для человека и для общества.

И это тоже нужно понять. А понять — значит осуществлять. Потому что в этом самое главное — в осуществлении.

Религия вырастает из чувства бессилия и страха перед несовершенствами, несправедливостями и непонятностями жизни и переносит на небо решение тех проблем,

которые человек не может или отказывается решать здесь, на земле. «Слабость всегда спасала верой в чудеса».

Вот почему религиозный человек с таким трудом поддается логическим аргументам. Веру — если по-настоящему — нужно изгнать из самого глубинного ее прибежища — из области чувств и надежд. А окончательно победить ее может только одно доказательство: что нравственная, справедливая и высокодуховная жизнь, о которой издревле мечтал и мечтает человек, возможна без какой-то помощи свыше, своими силами.

У Герцена в его лучшем произведении «Былое и думы», произведении горькой, но честной мысли, на одной из первых страниц мы находим мудрое признание:

«Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть труд... Труд — наша молитва».

Хорошо сказано. Да, потому что труд души, труд мысли — это тоже труд. Больше того — это высшая форма труда и вообще человеческого проявления.

«Проникать мыслью в событие, освещать его не для того, чтобы наказывать и награждать, не для того, чтобы прощать, а для того, чтобы, внося свет в тайники и подземельные ходы жизни, из которых вырываются иногда чудовищные события, мы из тайных делаем их явными и открытыми. Зло — темнота; оно не имеет никакой внутренней силы, чтобы противостоять свету. Оно сильно только, пока не взошло солнце разума и мы, не видя его, придаем ему фантастические чудовищные образы».

Глубокие тоже и мудрые слова.

И в связи с этим мне хочется в заключение привести еще одно очень интересное письмо с Дальнего Востока.

«Мне давно хочется понять — как, откуда и почему пошла религия, в чем ее сила и ее слабость, чем привлекла она к себе людей, чем пленила и вдохновила выдающиеся умы человечества на создание немеркнущих в веках произведений искусства... Когда я бываю в Эрмитаже и смотрю картины великих мастеров эпохи Возрождения на библейские сюжеты, то постоянно к чувству радости, восторга и наслаждения примешивается и чувство настоящей человеческой злости и бессилия. Да и действительно, как же можно понять художника, его замысел, когда ты ничего не соображаешь в теме? А теперь я понял, что никакой я не атеист. Все мое атеистическое убеждение заключено в одной фразе, что «бога нет».

Письмо исключительной важности! Пишет не какой-то ханжа или религиозный проповедник, пишет молодой сравнительно по возрасту, 1931 года рождения, и вполне зрелый по развитию человек, инженер-геофизик, член КПСС с 1961 года, и делает откровенное признание: «И вот я, завзятый материалист, пропагандист с немалым стажем, могу вести занятия почти по любой программе и считаю себя вроде бы эрудированным, антирелигиозную пропаганду, оказывается, вести не смог бы, потому что в этом деле чувствую себя полным профаном. Да и все, кого я знаю и встречаю на своем пути, также ничего не смыслят в вопросах религии, хотя считают себя людьми культурными, даже имеют ученые степени».

И он обращается ко мне с совершенно парадоксальной, на первый взгляд, просьбой помочь ему, «если можно так выразиться, в религиозном самообразовании». «Поймите меня и не посчитайте мою просьбу за абсурд: я не верю в бога, но чувствую, что религия это неотъемлемая часть истории любого народа, любой нации, и я считаю, что не может быть человек культурным, если он не знает истории религии... Я, конечно, понимаю, что Библия отнюдь не какое-то священное писание... Так же как и Евангелие, ну и вообще история христианства, и у нас на Руси, откуда пошли всякие «святые», что означают разные обряды, как к этому шла церковь и т. д.».

Все это ставит перед нами, перед нашим атеистическим движением серьезнейшие задачи, задачи не формального, не пустопорожнего, не хлестко-агитационного и только негативного характера, а глубинного, исторического, психологического и философского значения.

Мало, следовательно, доказывать, а в некоторых, даже многих, случаях и не нужно, может быть, доказывать, что «бога нет»,— это постепенно, само собой, входит в сознание нашего человека. Важно, чтобы это отрицание было осознано, не вело и не порождало нигилистического отрицания духовных ценностей. И во избежание этого духовного вакуума нужно подводить под наше атеистическое мировоззрение серьезную философскую, историческую и современно-фактическую базу, которая и создавала бы убежденность человека в его собственном миропонимании, давала бы ему силу и аргументированность в пропагандистской работе, в том «споре о вере», который каждому, в той или иной форме, приходится вести.

Вот какие вопросы ставит интереснейшее письмо этого «дальневосточного человека».

Все написанное уже готовилось к печати, когда я получил еще письмо, которое никак не могу оставить без ответа.

Есть в современной технике приспособление для определения морских глубин — эхолот: корабль посылает в глубину моря звуковую волну, которая, отражаясь от поверхности дна, возвращается через какое-то время обратно на корабль, и по продолжительности этого времени определяется глубина моря под его килем. Нечто подобное представляет собой переписка писателя с читателем: она тоже определяет собою и глубину проблем, волнующих того и другого, и силу воздействия писателя, и остроту реакции читателя, и показатель их взаимного доверия. Именно таким «эхолотом» оказалось для меня письмо, которым я хочу закончить эту главу.

«Вас я ощущаю не посторонним себе человеком, поскольку нас обоих волнуют одни и те же проблемы. Вы родились и выросли в семье священника и стали атеистом. Поскольку Вы ведете активную атеистическую пропаганду и делаете это с большой искренностью — а в ней я, в отличие от многих Ваших верующих корреспондентов, ни на йоту не сомневаюсь,— Ваше материалистическое мировоззрение Вас удовлетворяет. А я родился и вырос в семье убежденных коммунистов, меня с детства воспитывали в материалистическом духе, прививали мне это мировоззрение и в школе, и в институте и в результате, общими усилиями, достигли своей цели, сделали из меня атеиста, будучи искренне уверены в своей правоте и неопровержимости (мне даже разрешили читать библию — до такой степени были уверены в верности и всесильности этого учения) и в том, что оказывают человеку великое благодеяние. Но ни у кого даже не возникло сомнения: а хочет ли он, этот человек, быть атеистом, позволяют ли ему его душевные силы нести такую тяжесть, не сведет ли его в конце концов с ума беспросветный пессимизм этого несомненно и объективно единственного правильного мировоззрения, пессимизм тем более страшный, что он зачастую довольно успешно рядится в костюмчик оптимизма».

Глубина? Глубина. Да еще какая! Сверхмерная!

«А кому это нужно? Зачем?» — восстанут благомыслящие.

Как — «зачем»? Во имя — говоря стародавним языком — спасения души, заблудшей, запутавшейся души, в жизни, может быть, рядящейся в фальшивый «костюмчик оптимизма» и носящей под ним свой «беспросветный пессимизм».

«Да мало ли что бывает?» — скажут благомыслящие.

Что значит — «мало ли что»? Значит, пускай он и остается таким, как есть, со всеми своими вопросами и проблемами, с голой, как обтесанная жердь, истиной, что «бога нет»?

«А может, это какой-нибудь поп или проповедник — из недобитых?» — скажут благомыслящие.

Позвольте, но ему только 31 год, он 1948 года рождения, не только после революции, а после всего дальнейшего, после индустриализации, коллективизации, после войны и нашей победы, после «возрождения» и «целины», после школы и института, и после обстоятельной домашней идеологической обработки в семье «убежденных коммунистов». Каким же образом из него мог получиться поп?

Да и не поп он! Послушайте, что он говорит о христианстве, о религии, «которая уже при зарождении несла в себе все необходимое для последующего упадка и разложения: философски — отсутствие стройной монистической системы; фидеистически — откровенное идолопоклонство; нравственно — ни с чем не сравнимую антиморальность, провозглашенную признанием прощения любого греха, включая богохульство, и главное — любого проступка в отношении твоего ближнего».

Нет! Какой же это поп? Да он и в бога-то не верит и сам об этом говорит:

«Вот так, Григорий Александрович! Ничего хорошего, кроме плохого, мой атеизм мне не дал и, конечно, не даст,— мы с ним душевно несовместимы. И верить в бога — тоже не могу. Пушкин был велик:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...

А Тютчев гениален:

Он жаждет веры, но о ней... не просит.

Он за сто с лишним лет предвидел появление подобных мне людей, а их очень много, куда больше, чем твердых

атеистов и идеалистов. Они только боятся об этом говорить даже наедине с собой».

Так заканчивается это потрясающее письмо, а дальше — почтовый индекс и подробнейший адрес и собственноручная подпись человека с русским именем и фамилией. В открытую! Пусть человек ошибся в лабиринте сложнейших философских проблем: непостижимость бога и непостижимость абсолютной истины, неизменность установленных богом законов и неизменность законов природы,— но он задумался и заговорил об этих проблемах, перешагнув через выстроганную жердь голого догмата, что «бога нет».

Хочется верить и будем верить, что этот, видимо, недюжинный по сути своей человек, заблудившийся в дебрях отвлеченной философии, со временем сам или при помощи хороших и умных друзей сумеет найти в себе силы, чтобы разорвать круг проблем и противоречий, затемнивших его ви́дение мира, а пока из всего этого клубка проблем я возьму, пожалуй, самую главную и центральную — проблему оптимизма и пессимизма.

Подводя итоги своим поискам и размышлениям, он приходит к выводу, что «идеализм и религия человечнее материализма и атеизма, независимо от того, что эти последние объективно истинны», что «религия, вернее даже, не религия, а просто вера в высшее существо, высший разум, к которому разум человеческий может, при выполне́нии определенных условий, приобщиться,— не в пример оптимистичнее неверия, о том, что искренне верующему человеку несравнимо легче живется на этом свете,— и говорить нечего» .

Вот и обнажается еще раз на живом, конкретном и кровоточащем примере подлинная сущность религии, как идеологии человеческой беспомощности. Я не знаю жизненной истории этого человека, но ясно одно: человек устал, изнемог и надломился в напряженной внутренней работе, в плохо увязываемых друг с другом обстоятельствах и противоречиях жизни и мысли, мысли и жизни, и сдал. Одни в этих случаях уходят в водку, или, по ленинскому выражению, в сивуху, другие — в разгул и преступления, а этот — в веру в «высшее существо», в «вечный мировой разум». Кому что с руки.

«Я не вижу для человека ничего унизительного в сознании, что его разум, его душа является частицей вечного разума, вечного существа — существования».

Как же это так получается, дорогой друг и товарищ?

Ведь главный вопрос бытия — это: кто ты, человек?

Разумное существо, «гомо сапиенс», или отблеск неведомого вечного существа, растворенного в мире? Что унизительнее, что возвышеннее и что человечнее?

Но что значит — «человечнее»?

Да, возможно, верующему человеку в каком-то смысле и легче живется на свете. Господи, помилуй, господи, помилуй, подай, господи. Мольба слабых, ослабевших, обессиленных, согласных и идущих на унижение.

А атеизм — да, это тяжесть, тяжесть мысли и тяжесть жизни. Это — мировоззрение и жизненная позиция сильных, не сдающихся и верящих — да, по-своему верящих — в человеческие силы и торжество светлых начал жизни. Пассивная и активная (нравственно активная) жизненная позиция — вот в чем их суть. И в чем разница.

Да, но как и почему у нас все это получилось? Как понять и как осмыслить? Вот какие проблемы перед нами стоят, если по существу, по-настоящему.

Вот в чем главный вопрос и его глубина.

А закончить эту сложную и такую трудную главу мне хочется словами, сказанными столетие тому назад Иосифом Дицгеном, современником Маркса и одним из его популяризаторов и пропагандистов, особенно занимавшимся вопросами философии, морали и религии.

«Для наших противников мы — «материалисты», то есть люди без идеального размаха, тупо преклоняющиеся перед тем, что можно съесть и выпить. Чтобы представить нас в жалком виде, они суживают и опошляют самое понятие материализма. Этому мы противопоставляем свою нравственную правду — идею или идеал, облеченный плотью или стремящийся воплотиться в жизнь. Где, на небе и на земле, вы найдете еще такой истинно разумный, моральный и возвышенный идеал, как идея международной демократии? В ней слова о христианской любви должны воплотиться в материальные формы».

...«Материальные формы» — вот что решает.

ЭПИЛОГ

Вот, кажется, и все.

Нет, конечно, не все — за пределами этого повествования остается еще многое и многое, что хотелось бы сказать и додумать, остаются те самые мешки с письмами, которые так взволновали моего друга Линевского, и отложившиеся в них исповеди и размышления, очень сложные и мудрые, а порой больные, даже тяжкие, над которыми нужно еще думать и думать, и мне, и тем, кто решит пойти по этому мучительному, усыпанному терниями пути.

А сейчас, «под вечер жизни моей», мне хочется ответить другому моему старому другу и постоянному оппоненту в наших, иной раз очень непростых спорах, который прислал нам семейное поздравление с Новым годом — и там, после обычных пожеланий, была приписка: «а персонально тебе желаю больше оптимизма». В ответном письме я спросил его: «А что ты разумеешь под оптимизмом и как его понимаешь? Бывает ведь оптимизм философа и оптимизм теленка, пасущегося на зеленой лужайке». От прямого ответа он уклонился, подменив его сентенциями типа — «нужно искать и видеть доброе, чистое, светлое», «чтобы яд неверия в идеалы человечества не парализовал весь организм». Это дало мне новый толчок мысли, за который я ему глубоко благодарен.

«Не кажется ли тебе,— пишу я ему,— что само время наше все больше становится новым по сравнению с тем, что мы с тобой привыкли в молодости называть «нашим» и «новым», что на исторической сцене одна де-

корация сменяет другую, а вместе с нею и свет, освещение, и весь ход происходящей на этой сцене жизненной драмы меняет свою поступь и свою окраску и колорит. Меняет колорит и «океан проблем». Борьба с природой, к примеру, у нас на глазах превращается в проблему защиты природы, от которой не милости нужно ждать, а которой нужно оказывать милость. На кумачовые лозунги социальной революции, лозунги нашей молодости, наслоились отсветы и тени революции уже другой, научно-технической. А теперь формируется и приобретает все большую силу такое, совершенно новое понятие, как экологическая проблема и вытекающая из нее перестройка всей ситуации в мире. Так же, на мой взгляд, все с большей силой и ясностью высвечивается в наши дни роль нравственного начала в трех основных его аспектах — личность, общество, власть,— начала затененного и, в значительной степени, вульгаризированного в результате трудно преодолеваемого догматизма мышления. И не думаешь ли ты, что оно, это благородное, одно из опорных начал природной сущности человека, теряет свою императивность, приобретая вместо этого черты релятивизма и прагматизма — «глядя по обстоятельствам». И не в этом ли коренятся истоки и причины многих наших несчастий и бед, даже преступлений, от которых, оказывается, не спасает ни звание, ни образование, ни положение, ни партийный билет, ни марксистско-ленинская идеология.

Да! и идеология, потому что идеология — это строй и система мыслей, а жизнь — это практика, поведение и взаимоотношения людей. И именно здесь вырисовывается главное направление дальнейших путей и поисков: «Нравственное начало». Я понимаю и сознаю, что мною сказано много неприятного, тяжелого, порой страшного, но это отнюдь, поверь мне, отнюдь не означает, что я ничего другого не вижу и не понимаю. Как выразился, если ты помнишь, один из моих корреспондентов: «Не слепые!»

По рождению я сын еще XIX века и помню многое — и лапти, и курную избу, соху, и урядника, и мордобой, и церковноприходскую школу, помню всю дичь и немощность царской России, когда даже ученические перья и карандаши ввозились из-за границы, или, положим, наш сувенирный гимназический альбом был сделан фотографом Случевским из Парижа. Ну, разве можно сравнить со всем этим нашу теперешнюю, действительно могучую, почти неузнаваемую Родину, превратившуюся из той нищей, лапотной Руси в великую державу мира, носительницу идеалов человечества? Не слепые!

Как можно не видеть коренной перестройки всей страны, ее размаха, масштабности и перспектив?

Как можно не видеть осуществления чеховской мечты о превращении каторжной и ссыльной, почти пустой Сибири в источник неисчислимых материальных богатств народа? Как можно не восхищаться, к примеру, подвигом, который возложила на свои плечи наша молодежь, принявшись за строительство комсомольской БАМ? Как можно не замечать страны Тюмении?

Как можно не оценить исторический подвиг нашего народа в деле разгрома всечеловеческой фашистской опасности? Как я могу не преклонить перед ним свои колена, когда я этому великому делу отдал своего единственного сына?

Как можно не видеть осуществления гениальных замыслов и расчетов нашего великого калужанина К. Э. Циолковского, породнившего мечту Икара с математической формулой. А я, кстати, помню его по моим гимназическим годам — он был учителем моей сестры. Правда, судьба не свела меня с ним тогда, в годы моих юношеских исканий, и от него остался в моей памяти только внешний облик — бородка и легкая разлетайка с большой бронзовой бляхой на груди. И только потом, уже после его смерти, я был в его музейном домике на крутом спуске к Оке, видел его слуховую трубочку, его кресло и станки с ин-

струментами — все то, из чего рождалась наша атомно-космическая эра. Разве можно не гордиться этим?

Как можно не замечать этого, если оно на виду, если само бросается в глаза и звучит на весь мир?

Не слепые!

Вот я иду мимо строящегося дома и вижу размашистую надпись белой краской: «Здесь работал Афонин». Это не казенная Доска почета, это подлинный, нутряной голос трудовой гордости.

«Что им надо? Мы хотим жить. Мы хотим работать. Мы никому не хотим зла!» — так в одном из колхозов сказала по адресу наших недругов простая женщина-колхозница. В Великой Отечественной войне она потеряла мужа и с помощью колхоза воспитала четырех сыновей и дочь, и потому вырвался из ее груди этот возглас — сплав боли, упрека и гнева.

Разве к этому возгласу не присоединяются все матери мира, все честные граждане земли? И разве не эту идею мы несем в мир?

Да, люди хотят жить! Люди хотят работать! Люди хотят украшать землю! Люди хотят видеть в нашей планете мирный дом с чистым, ясным и дружелюбным небом над головою. Чтобы звенел детский смех на земле, чтобы на вечерней заре слышалась девичья песня и чтобы утром запевал симфонию труда хотя бы символический фабричный гудок. Потому что только тот, кто трудится, кто создает, может ценить то, что создано, только тот может по-настоящему любить землю, и то, что есть на земле, и жизнь, и человека.

Ведь что такое земля сама по себе, без человека? Материя. Пылинка во Вселенной, подобная многим и многим. Астрономический объект. И только человек выделяет землю из ряда небесных тел, только его существование поднимает ценность ее; потому что человек — это мир, познающий самого себя, человек — это мир, совершенствующий самого себя, это — вершина развития мира.

А потому весь смысл развития земли, вся его философия и подлинная романтика заключается в ее преобразовании в интересах человека, трудом человека и его разумом. Потому-то человечество в свое время и увидело в нас себя, свое достоинство, свои возможности и надежды, стрелку, указывающую направление движения. Теперь это уже не стрелка. Это — сила, это — сама жизнь, реальность, это существует и действует. Это — наши стройки, индустриальный рост и вообще полное, до неузнаваемости, преображение страны, полеты в космос, но прежде всего, по-прежнему, наши великие принципы и идеалы. И я в это верю.

Но я вижу «то» и вижу «это», потому что я не слепой, но я и не хочу быть слепым, ограничиваясь только внешними, «казовыми» сторонами жизни. Веришь? — я от многого стараюсь при этом отвлечься, отвлекаюсь от одного, отвлекаюсь от другого, от третьего, я даже создаю себе теорию, что нельзя, чтобы все было хорошо, без сучка и задоринки — это было бы сверхъестественно, этого не может быть. Но есть вещи, отвлекаться от которых нельзя, несовместимо с человеческим достоинством и от которых нельзя закрыться никакими розовыми очками, как вслед за восторженным «Ах!» нельзя иной раз не сказать честное и мужественное «но»... Но тогда выступают «ревнители»:

— Ах, тебе все не нравится?!

Почему все? Все хорошее нравится, все плохое — нет. И не нравится все «оптом», «гамузом», когда в одну кучу втискивают и плохое и хорошее и все это объединяют одним святым, неприкосновенным словом.

Мне не нравится, когда забывают или не замечают, что одни строят социализм, другие — безобразия в социализме. Этим приемом пользуются проходимцы и близорукие невежды. Первые используют его для маскировки своих темных дел и махинаций, а вторые... О них очень хорошо словами Крылова сказал Ленин: «Услужливый дурак опаснее врага». И когда такой «умник» сталкива-

ется со сложностями, он, смешивая критику с клеветой, начинает истошно вопить: «Не трогайте социализма!» «Умнику» объясняют, что анализ недостатков делается именно для социализма, чтобы навоз и грязь не залежались и не начали смердеть. Разве от улучшения того-то и того-то социализм становится хуже или перестает быть социализмом? Но тот упрямо стоит на своем или отмалчивается.

На то он и «умник»...

Поясню примером.

Когда я прочитал, что в Узбекистане строится гигантский текстильный комбинат, на котором горы собранного хлопка будут перерабатываться в эшелоны ситца,— мне это нравилось. А когда я узнал, что один из корпусов этого комбината, почти накануне пуска, сгорел в течение какого-то часа, потому что одни начальники не сговорились с другими начальниками и потому не была своевременно готова противопожарная система,— разве могло это мне понравиться? А разве кому-нибудь это может нравиться? Значит, можно ли тогда обойтись без этого корректирующего «НО»?.. Ведь это же элементарно! Азбука мысли и азбука логики. И я не знаю, как назвать того, кто пренебрегает этой азбукой? Может, ты знаешь?

А отсюда во всей своей сложности вырастает понятие и понимание патриотизма в его двух исторически сложившихся у нас толкованиях: патриотизм застоя и патриотизм развития. Первый — это славянофильство:

Кто царь-колокол подымет,
Кто царь-пушку повернет?

а второй — противостоящая этому хвастовству, прогрессивная и единственно разумная концепция, которая проходит через всю историю русской общественной мысли, начиная с Карамзина:

«Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть».

И дальше — Белинский:

«Патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в горячем чувстве любви к Родине, которое умеет высказываться без восклицаний, и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в болезненной враждебности к дурному, неизменно бывающему во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве».

Некрасов:

«Любовь к отечеству заключается прежде всего в глубоком, страстном и небесплодном желании ему добра и просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и самую жизнь; в горячем сочувствии ко всему хорошему в нем и в благородном негодовании против того, что замедляет путь к совершенствованию».

То же самое — и Чаадаев, и Герцен, Менделеев и многие другие. Ну и, конечно, прежде всего Ленин.

Но не со зла и не для зла повторяю я все эти мудрости мудрых, не для ослабления, а для усиления значимости наших, видимых всему миру достижений. Потому что по этому принципу, по этим критериям, всеобщим критериям, происходит и всеобщее колебание стрелки — «там» и «тут», внутри и вне.

Мы живем в эпоху великого размежевания — человечество на распутье. Две воли, две силы, два направления, два начала борются в мире, в истории и во всей жизни. Злой воле, тысячелетиями давившей их, люди противопоставляют свою, крепнущую, подлинно человеческую волю, добрую, нравственную, единую во множестве ее проявлений.

Да, добрую, потому что жизнь показала, что только добрая воля решает судьбу всех принципов и учений. И единую, потому что человечество становится, все более становится — ну, пока, конечно, если не семьей, то организмом, системой, совокупностью, в которой, вопреки всем противоречиям, все сопряжено и все взаимосвязано, и события на одном полюсе эхом отзываются на

другом. Внешнее и внутреннее, «наше» и «ихнее», общее и частное, экономическое и психологическое, научное и художественное, политическое и этическое, высокое и низкое, честное и подлое включаются в общую цепь, в общий процесс преодоления — в той или иной форме — классовых и нравственных барьеров и вызревания того нового, к чему сложно и натужно, но неизбежно идет человечество, и я уверен, что придет. А все это тем более и в первую очередь относится к нам, стоящим на самом виду, на самом ветру, на самом «бую» мировой жизни. На нас смотрят и по нас измеряют колебания «стрелки». История возлагает на нас ведь не только лавры, но и бремя ответственности за воплощение возвещенной нами Правды Века.

Возвращаясь к себе, могу ли я пройти мимо письма, начинающегося словами:

«Я обращаюсь к Вам, потому что одолела тревога, даже смятение, возникают вопросы, на которые никто не может или не хочет ответить».

Могу ли я его просто положить в стол?

Да, такова судьба писателя,— по выражению Блока, «трудная, жуткая, коварная судьба».

«Писатель больше всех должен тревожиться и волноваться,— продолжает он дальше,— он волнуется за многих людей, он бунтует для многих».

И хотя иной раз его роль стараются сузить до границ слепого проводника и пропагандиста сиюминутных и общеизвестных истин, но от этого сплошь и рядом получается только то, о чем так точно сказал Твардовский:

Слова-труха, слова-утиль
В иных устах до пошлой сказки
Низводят сказочную быль.

А я бы сравнил наше строительство этой «сказочной были» с работой скульптора, который берет глыбу мрамора и, отсекая от нее ненужные куски, овеществляет свой замысел, идею и образ, лежащий в основе всей ра-

боты. И как бы ни была глубока идея и как бы ни был величествен замысел наших великих предков и провидцев будущего, начиная с Кампанеллы, Томаса Мора и кончая Марксом и Лениным, он остается и останется неосуществленным, пока не будут отсечены и устранены искажающие и мешающие его осуществлению осколки.

Так же решается, на мой взгляд, и проблема оптимизма, на котором ты поставил ударение. Нет, не биологического, как у Мечникова в его «Этюдах оптимизма», а жизненного, социального и исторического, столь естественного с точки зрения принципов нашего общества и в то же время столь осложненного в практике жизни. А принципиальное решение этой проблемы с наибольшей, по-моему, полнотой и точностью дал наш советский академик, физиолог, лауреат Ленинской премии А. А. Ухтомский:

«Слепой оптимизм без страха и упрека есть такой же самообман легкомыслия, как пессимизм есть гнилостный самообман малодушия; тогда как здоровая жизнь человека — оптимизм зрячий, учитывающий все, что известно страшного в жизни и в людях, и, при всем том, сохраняющий веру в них, несмотря ни на что!!!»

Так будем же оптимистами, дорогой мой! Вот в этом именно смысле — зрячими. И — несмотря ни на что!

А для этого нужно быть личностью, т. е. человеком с выстраданными и твердыми убеждениями, и столь же твердыми и чистыми нравственными принципами жизни и поведения, и способностью отстаивать их от тяготеющих над ними враждебных сил. Только в этом случае человек проявляет себя как человек, как творческое начало жизни, как духовный фактор прогресса. Потому что дух действительно огромная сила, от полного и всестороннего раскрытия которой зависит дальнейшее развитие человечества.

Как великолепно сказал Альберт Швейцер:

«Дух — громадная сила в преобразовании вещей. До

сих пор мы знали злой дух, видели его за работой... Теперь мы хотим иметь дело с духом добра и возлагаем на него надежды».

Но «дух добра» есть все-таки только дух, а победить он может только действием, в ходе и в результате борьбы, той диалектики жизни, которая, по выражению Ленина,— душа марксизма: все развивается и в своем развитии все изменяется, обнажая сокрытые в себе противоречия.

«Единство противоположностей и есть признание (открытие) противоречивых, *взаимоисключающих,* противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы *(духа и общества в том числе)»* — таков «путь диалектики».

Эти «взаимоисключающие противоположности» не нужно специально выискивать, но и бесполезно скрывать, они открываются сами во всех своих плюсах и минусах, в благородстве и подлости, в правде и неправде, лжи и честности, на всех ступенях и поворотах развития «духа и общества». Все дело в том, чтобы видеть их или не видеть, признавать или не признавать, и в этом заключается честность и подлинная партийность мысли. Я за эту партийность, я за то, чтобы видеть и признавать и все, что еще не «открыто», что прячется за внешней мишурой, «открывать», преодолевать и выкорчевывать, чтобы во всей красе и блеске вырисовывалось перед миром подлинное лицо нашей жизни и ее идеалы: «Все и всех понимать и всегда видеть добро и ненавидеть зло» (Дзержинский).

Ведь «если не свести... идеалы к фактам, то эти идеалы останутся невинными пожеланиями, без всяких шансов на принятие их массой и, следовательно, на их осуществление».

Это сказал Ленин, «прекраснейший представитель человечества», как назвал его на конгрессе Коминтерна один индийский делегат.

Одним словом, проблемы, проблемы, проблемы. С преодолением одних возникают другие, еще более глубокие

и острые, требующие и большего напряжения мысли и сил.

«Хочется поразмыслить над коренными вопросами века: что происходит с человеком на протяжении длительного исторического периода? Как меняются жизненные ценности для человека? Все ли довольны одним тем, что сыты, одеты? Как возникает тоска по духовным ценностям? Вероятно, всяческие материальные блага, когда они маячат, как цель,— вещь необыкновенно притягательная, а когда они приходят наяву, от них хочется оттолкнуться, устремиться к чему-то высшему.

Я мечтаю поразмышлять о судьбах страны, о сути глубинных исторических процессов».

Это говорит Федор Абрамов, один из наиболее вдумчивых и связанных с жизнью народа наших писателей.

А вот выходец из самых недр народа — светлой памяти Василий Шукшин:

«Теперь надо выходить на дорогу более широких размышлений, требуется новая сила и смелость, требуется мужество открывать новую глубину и сложность жизни».

Все это отнюдь не капризы и не прихоть суемудрых одиночек.

Это — голос времени, это — требование жизни, внутренняя потребность народа, который живет и творит эту жизнь, который все видит, все чувствует и сам все переживает и думает в глубинах своих — о правде и неправде, о ходе и смысле вещей, о соотношении материальных благ и духовных ценностей, о судьбах страны и всех прочих коренных вопросах века. В этом подлинная диалектика развития «духа и общества», «сведение идеалов к фактам», утоление «тоски по духовным ценностям» и «устремление к чему-то высшему». «Такова воля души, воля, которая двигает и толкает жизнь и дает силу» (Ф. Дзержинский).

Да, народ думает, широко, масштабно, многосторонне, как широка и многостороння сама жизнь. И пусть думает! Значит, народ живет.

Продолжается исторический процесс, диалектический процесс, а диалектика — это, повторяю Ленина, «раздвоение единого, познание противоречивых частей его». Этот процесс не укладывается в десятилетия, но он идет. Народ, совершивший такую революцию, выдержавший такую войну, проливший столько крови, переживший такую ломку, перенесший столько бед, горя и зла и в то же время принявший от ленинского учения в душу свою такую дозу и силу таких великих идей, которые вынашивались всем человечеством в течение многих и многих веков,— превращает эти идеи в бытие. Происходит сложный, отнюдь не только экономический, но внутренний, социально-психологический процесс, исторически беспрецедентный процесс воплощения, оценки и переоценки идей, проверки и примерки идей к жизни, и жизни к идеям, и людей — и к тому, и к другому, и ко всей прошедшей истории, и к вековой народной совести, и к неугасимым маякам будущего. Душа народа не может не искать путей, и выходов, и решений, и в конце концов она находит их. Это — закон Истории. Непреложный, как всякий закон. Он воплощается во времени, но воплощается, и в этом основа нашего исторического оптимизма.

И неправы, глубоко неправы те, кого это чем-то пугает и кто вольно или невольно, в той форме или иной, силится притупить, приглушить это определяющее, родовое качество человеческой натуры: самородную силу мысли, залог и источник движения и прогресса.

Глубоко неправы и те, кто считает, что дело народа только работать и выполнять задания. Ведь и выполнение — это далеко не простой, чисто механический акт. В него включаются все обстоятельства, и ситуации, и проблемы, от разрешения которых зависит нравственная атмосфера жизни и, следовательно, характер и направление усилий человека, живущего в этой жизни. Если уже Суворов понимал, что каждый солдат должен знать свой маневр, то для нашего времени это должно быть

азбукой жизни и залогом выполнения как генеральных предначертаний, так и отдельных «солдатских» маневров. Эту азбуку нам преподал Ленин: «Государство сильно сознательностью масс. Оно сильно, когда массы всё знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно».

В этом и заключается внутренняя духовная жизнь народа. Сила этой духовной жизни не в том, чтобы повторять заученные, пусть даже правильные формулы. Сила духовной жизни заключается в том, чтобы человек сам, внутренним усилием своего ума, чувства и воли постигал, осмысливал и определял свое отношение к жизни. И сам вносил в него какие-то свои крупицы, потому что человек только тогда выявляет и проявляет себя как человек, как свободное и деятельное начало.

«У народа тысяча глаз»,— говорит казахская пословица. И он, этот мудрый и вечно живой народ, главный субъект истории, смотрит во все эти тысячи глаз и вокруг себя, и внутрь себя и все видит. И думает. И мыслит.

И то, что он усилиями таящихся в нем — по Ленину — «положительных противоположностей» ищет и находит в себе силы и возможности противостоять испепеляющему влиянию живущих в нем же самом всякой грязи, и подлости, и прочих «отрицательных противоположностей», противопоставляя им нечто «свое», «нутряное», «духовное»,— это и является условием и залогом его жизни и его роста.

И пусть горит в нем, не угасая, по выражению Маркса, эта священная «лампа мысли»!

Течет время, сбрасывая из живого потока жизни в каменеющие закрома истории один год за другим, и так же год за годом, своими грузными и грозными шагами, непреклонно и неостановимо, жизнь идет дальше, из прошлого в будущее. Многое пройдено нами за это время, и еще больше, видимо, придется пройти, прежде чем за-

вершатся наши возвышенные, завещанные историей планы, усилия и поиски — совершенного человека в совершенном обществе.

Завершатся ли?

Иные, разуверившись в том-то и том-то, отвечают на это сомнением, другие вовсе не думают, а просто живут, как живется, абы жить, а третьи ищут и стараются, негодуют, страдают и ошибаются, но все-таки ищут и надеются. И то, что такие водятся и, несмотря ни на что, множатся, вселяет надежду и уверенность: дорогу осилит идущий.

Я думаю обо всем этом, оглядываясь назад, на все пережитое и перечувствованное, и перед глазами, по закону стариковской памяти, встает давно уже не существующая Пятница-Городня, овраг, переполненный цветами и запахами, «его боков такая ж крутизна, ковра из одуванчиков такая ж желтизна», и белая метель черемухового цвета, и опрокинутая над всем этим в своей первозданной девственной чистоте бездонная голубая чаша, которая тогда еще не была космосом, а называлась просто небом. Я стою, вдыхаю смолистый запах корявых, раскидистых сосен, смотрю на стеною стоящий за оврагом лес и по старой памяти спрашиваю: «Кто была первая дева?» И лес по старой дружбе отвечает: «Е-ева!» Я явственно слышу его раскатистый, словно живой голос, хотя и понимаю, что все это мне только кажется.

...Все было, все прошло, осталась память.

И сосны.

1974—1979 гг.

Григорий Александрович МЕДЫНСКИЙ

СТУПЕНИ ЖИЗНИ

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **И. Горячева**

ИБ 799

Сдано в набор 24.02.84. Подписано в печать 4.05.84. А 06056.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Печ. л. 12,00. Усл. печ. л. 20,16. Усл.
кр. отт. 20,37.
Уч.-изд. л. 20,66. Заказ 4-91. Тираж 268 000 экз.

Цена 1 руб. 60 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
103791 ГСП Москва, Пушкинская пл., 5.

Киевская книжная фабрика, 252054, Киев, ул. Воровского, 24.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Юрий Киршин, Вадим Ковский,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

В 1984 году
издается 15 книг
библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

В. Богомолов. Момент истины. Роман. Повести. Рассказы.

Г. Глазов. Расшифровано временем. Повести. Рассказы.

Д. Гусаров. За чертой милосердия. Цена человеку. Романы.

Ю. Давыдов. Две связки писем. Судьба Усольцева.

М. Заринь. Фальшивый Фауст. Перевод с латышского.

Т. Каипбергенов. Сказание о Маман-бии. Роман. Перевод с каракалпакского.

М. Карим. Долгое-долгое детство. Повесть. Пьесы. Перевод с башкирского.

И. Кашафутдинов. Глубина. Повести. Рассказы.

А. Коптелов. Точка опоры. Роман.

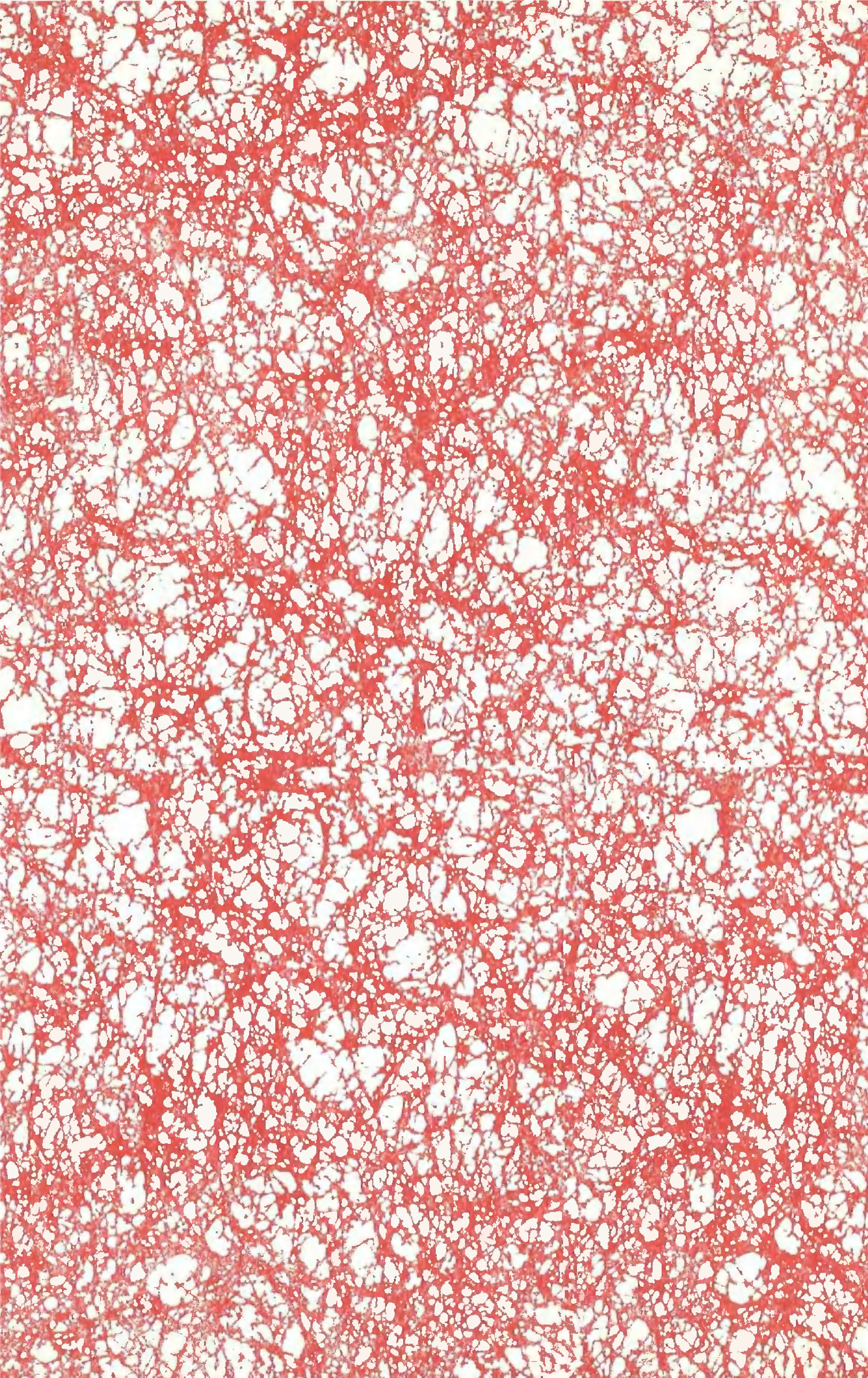
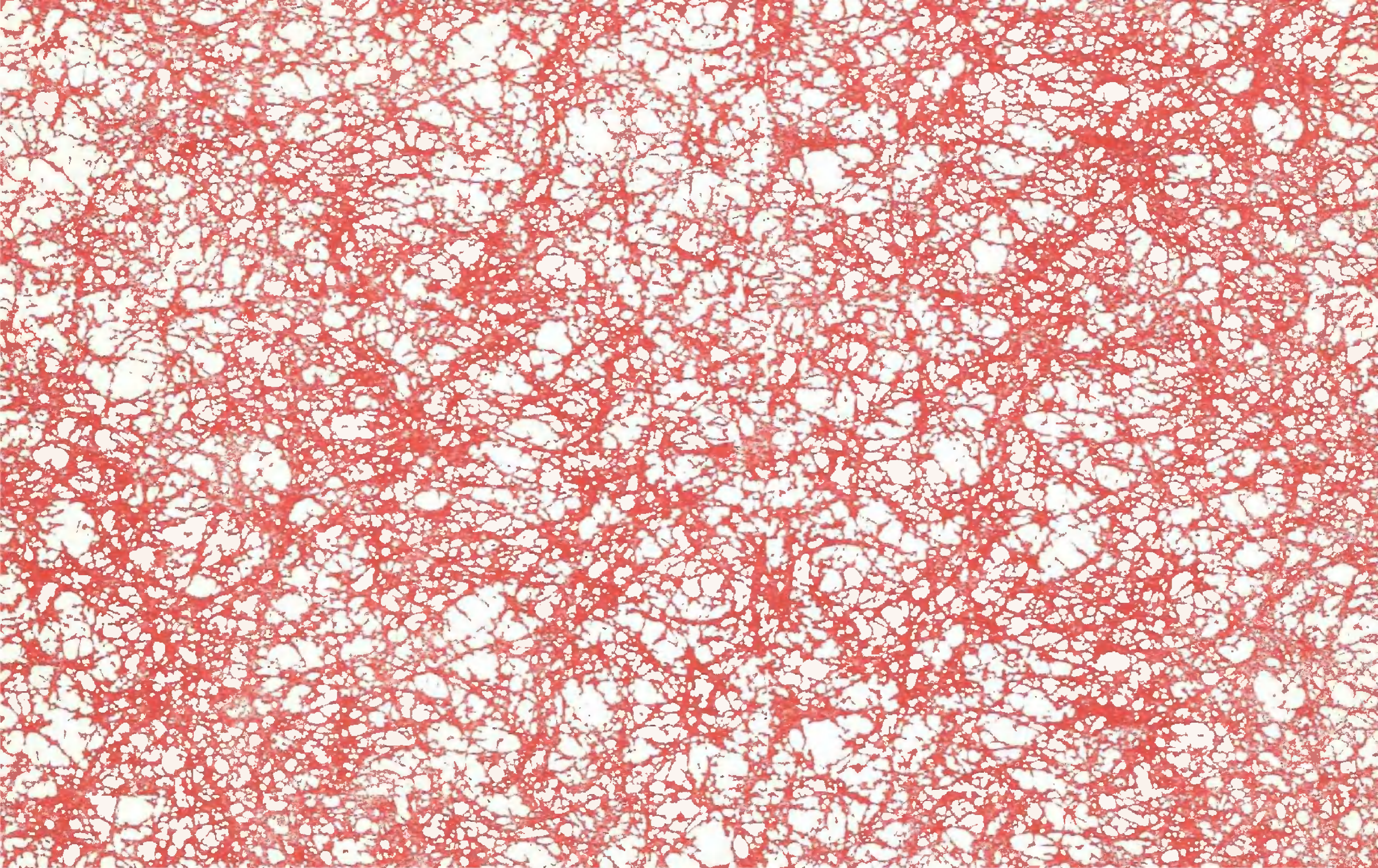
Г. Медынский. Ступени жизни.

Ю. Мушкетик. Позиция. Романы. Перевод с украинского.

В. Петросян. Одинокая орешина. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

Ю. Пеэгель. Свет в родном окне. Роман. Рассказы. Перевод с эстонского.

Ю. Семенов. Альтернатива. Романы.

Узбекские повести.

Scan Kreyder - 11.07.2017
STERLITAMAK